монограмма

БУНИН и КУЗНЕЦОВА

Искусство невозможного

ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА

ГРИФОН М

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале XX века.

http://ruslit.traumlibrary.net

- Иван Алексеевич Бунин
  - Олег Михайлов. Бунин в своих дневниках
  - Дневники 1881-1953
    - 1881
    - 1885
    - 1886
    - 1888
    - 1891
    - 1893
    - 1894
    - 1895
    - 1896
    - 1898
    - 1899
    - 1900
    - 1901
    - 1902
    - 1903
    - 1905
    - 1906
    - 1907
    - 1908
    - 1909
    - 1911
    - 1912
    - 1913
    - 1914
    - 1915

- 1916
- 1917
- 1918
- 1920
- 1921
- 1922
- 1923
- 1924
- 1928
- 1929
- 1931
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- 1938
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- 1946
- 1949
- 1951
- 1953

- Олег Михайлов. Разорванная правда
- Окаянные дни
  - Москва, 1918 г.
  - Одесса, 1919 г.
- Олег Михайлов. В споре со временем
- Воспоминания
  - Автобиографические заметки
  - Рахманинов
  - Репин
  - Джером Джером
  - Толстой
  - Чехов
  - Шаляпин
  - Горький
  - Его Высочество

        - Куприн
        - Маяковский
        - Гегель, фрак, метель
        - Нобелевские дни
    - А. Бабореко. Галина Кузнецова
    - Галина Кузнецова. Грасский дневник
    - Примечания
        -
        - Дневники 1881-1953
        - Окаянные дни
        - Автобиографические заметки
        - Рахманинов
        - Репин
        - Джером Джером
        - Толстой
        - Чехов
        - Шаляпин
        - Горький
        - Его Высочество
        - Куприн
        - Маяковский
        - Гегель, фрак, метель
        - Нобелевские дни
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

Иван Алексеевич Бунин
Галина Николаевна Кузнецова
Искусство невозможного
Дневники, письма

Олег Михайлов. Бунин в своих дневниках

1

Писательница и последняя любовь Бунина Галина Кузнецова рассказывает в своей книге «Грасский дневник»:

«Зашла перед обедом в кабинет. И[ван] А[лексеевич] лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим, как литературным материалом… «К народу, к прошлому, к будущему…» Замечательно! И как хорошо сказано, что она была «промокаема для всех неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня!» (запись от 28 декабря 1928 года).

Конечно, категоричность этого (как и многих иных) утверждения объясняется обычной страстностью Бунина. Но верно и другое: дневник как способ самовыражения он ценил необычайно высоко и недаром сам писал: «…дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие» (запись от 23 февраля 1916 года).

И вот перед нами бунинские дневники, охватывающие более семи десятилетий его жизни.

2

От полудетской влюбленности пятнадцатилетнего юноши в гувернантку соседа-помещика Эмилию Фехнер и до последних, предсмертных ощущений и мыслей ведет, правда с большими перерывами, Бунин книгу своего пребывания на земле.

Замкнутый, можно даже сказать, всю жизнь одинокий, редко и трудно допускавший кого-либо в свое «святая святых» — внутренний мир, Бунин в дневниках с предельной искренностью и исповедальной силой раскрывает свое «я» как человек и художник, доверяет дневникам самые заветные мысли и переживания. Он выражает в них свою преданность искусству, выявляет высочайшую степень своей слиянности с природой, остро, почти болезненно чувствуя ее, ее красоту, увядание, возрождение, говорит о муках творчества, о предназначении человека, тайне его жизни, выражает собственное страстное жизнелюбие и протест против неизбежности смерти. Это и замечательный, с контрастными светотенями, автопортрет, и «философский камень», погружающий читателя в глубины бунинских замыслов, и свидетельства зоркого пристрастного очевидца исторических событий (переданных в резко субъективных тонах), и стройная эстетическая программа.

Дневники дают нам — с невозможной ранее полнотой и достоверностью — полученное «из первых рук» представление о цельном мироощущении Бунина, доносят непрерывный, слитый воедино «восторг и ужас бытия», наполненного для него постоянными «думами об уходящей жизни». Его возмущает отношение к жизни и смерти на уровне спасительного эгоистического инстинкта, которым в большинстве своем довольствуется в своих трудах и днях человек, его «тупое отношение» к смерти. «А ведь кто не ценит жизни, — пишет он там же, — животное, грош ему цена».

Очень многие записи по сути своей — отдельные и законченные художественные произведения, с собственным сюжетом, композицией и глубоким внутренним смысловым наполнением, в редкостной для Бунина крайне исповедальной форме. […]

Скрытая сюжетная пружина сжимает начало и конец — два полюса: счастливо, прекрасно — и безвозвратно утеряно, бесплодно. Разве не законченное произведение? Но что перед нами? Рассказ? Нет, нечто большее, объявшее многое, что рассказу недоступно уже в силу условности сложившейся литературной формы. Вспомним, как резко протестует Бунин против этой условности, например, в этюде-размышлении 1924 года «Книга»: «А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа,

воплощения и сохранения хотя бы в слове!» И кажется, лишь в дневнике Бунин находит такие неожиданные смелые связи.

Свобода переходов, доступная, пожалуй, только сновидению, но, в отличие от него, несущая и генерализующую, скрепляющую идею. Тут и стиховорение в прозе, и философские ламентации, и неожиданно вписывающаяся в контекст грозного времени тень тирана Тиверия, и песенка маленькой девочки, — все вместе. А ведь меньше трех страничек машинописного текста!

Что касается пейзажных картин в дневниках, то они подчас не уступают в изобразительной силе лучшим бунинским рассказам. Только, пожалуй, еще более настойчиво, чем в «чистой» прозе, проводится (на протяжении десятилетий!) контраст между величием и красотой природы и убожеством, грязью, нищетой, жестокостью, даже дикостью деревенского человека, глубоко прячущего и стесняющегося своих добрых чувств как чего-то потаенного, запретного.

Навестив 108-летнего Таганка, живущего в богатой крестьянской семье, Бунин с горечью отмечает: «И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку». И вправду, «невыдуманное» страшнее написанного. В выросшем из этой «прогулки» прекрасном рассказе «Древний человек» (законченном уже через три дня — 8 июля 1911 года) трагизм все-таки смягчен «формой» — пространными диалогами, художественными подробностями, тюканьем сверчка, появлением дымчатой кошки («сбежала на землю — и стала невидима»). Здесь же, в дневнике, ничто не отвлекает от главного, все обнажено до степени телеграфной строки, извещающей о человеческой беде: сам Таганок — «милый, трогательный, детски простой» и — «Ему не дают есть, не дают чаю — «ничтожности жалеют»…»

В прекрасном мире, на прекрасной земле живут доведенные или доведшие себя до отчаянного положения люди — Лопата, оголтело пропивающий землю и мельницу, себя; отец бессмысленно убитого Ваньки Цыпляева («Шея клетчатая, пробковая. Рот — спеченная дыра, ноздри тоже, в углах глаз белый гной») или тот мальчишка-идиот у Рогулина, который бьет конфоркой от самовара об стену «и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее». И тут же: «Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-сизые ягоды

на можжевельнике». И вот еще одно и немаловажное значение дневников. Оказывается, в них откладывались не только сюжеты, материал, подробности будущих рассказов и повестей (скажем, генеалогия душевно нездоровых бунинских предков, ставшая потом фабульной основой «Суходола»), но и выкристаллизовываются, отливаются почти готовые формулы для будущих стихотворных строк. Через одиннадцать дней после этой записи, 23 июля 1912 года, появляется стихотворение «Псковский бор», с его эффектной и уже знакомой нам концовкой:

И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

Возвращаясь к одной из главных тем дневников Бунина — теме смысла жизни перед неизбежным приходом смерти, — следует сказать, что русский человек, русский крестьянин воспринимается им, однако, не просто через «тупое отношение» к тайнам бытия (прочитайте хотя бы такие бунинские рассказы, как «Худая трава», «Веселый двор»). Все было, конечно, гораздо сложнее и достойнее огромного бунинского таланта. Как отмечал один из зарубежных исследователей, «Бунин неоднократно, с какой-то нарочитой настойчивостью обращается к теме смерти в применении к русскому простому православному человеку — и останавливается перед ней в недоумении. Он останавливается перед общечеловеческой тайной смерти, не смея в нее проникнуть — но одновременно перед ним встает и другая тайна: тайна отношения к смерти русского человека. Что это — величие, недоступное его, писателя, пониманию — или это варварство, дикость, язычество?»[1].

Ответа на этот вопрос Бунин, кажется, так и не находит. Впрочем, вероятно, рационального, логического ответа и не может быть найдено. Однако жалкость человеческого прозябания вообще, несправедливость такой жизни, которая просто недостойна породившей ее природы, — неотступно волнует его. Отсюда мысль его распространяется дальше и выше, достигая размахов диалога со Вселенной, космосом, в трагическом, неразрешимом противоречии между вечной красотой земного мира и краткостью «гощения» в этом мире человека.

1 июня 1924 года в Грасе, на юге Франции, заносит в дневник: «Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке… Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас! И чувство это еще ужаснее оттого, что я так

беспечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и вообще на земле!» Из одиноких, горестных и с годами, в изгнании, все обостряющихся размышлений, доверяемых дневникам, это прорывается в творчество, прорастает в такие шедевры, как, например, пронзительно исповедальный рассказ «Мистраль».

3

Дневники — и это, пожалуй, главное — дают нам как бы «нового» Бунина, укрупняя личность художника. В то же время они еще резче подчеркивают его бытовую, житейскую «неприкаянность». Он, дворянин с многовековой родословной, любивший вспоминать, что делали его предки в XVIII, а что — в XVII столетии, — вечный странник, не имеющий своего угла. Как ушел из родного дома девятнадцати лет, так и мыкал «гостем» всю жизнь: то в Орле, то в Харькове у брата Юлия, то в Полтаве среди толстовцев, то в Москве и Петербурге — по гостиницам, то близ Чехова в Ялте, то у брата Евгения в Васильевском, то у писателя Федорова в Одессе, то на Капри с Горьким, то в длительных, месяцами продолжавшихся путешествиях по белу свету (особенно влекомый к истокам древних цивилизаций или даже на мифическую прародину человечества), наконец, в эмиграции, с ее уже «узаконенной бездомностью», с уже повторяющимся трагическим рефреном: «Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!» (запись в дневнике от 9 сентября 1924 года).

Дневники доносят нам отзвуки бушевавших в жизни Бунина страстей. Под датой 4 ноября 1894 года читаем: «бегство В.». В глухой, «запечатанной» форме Бунин говорит об окончательном разрыве с В. В. Пащенко (1870–1918), мучительный роман с которой оставил неизгладимый отпечаток в его душе, вызвал к жизни позднейший рассказ «В ночном море» (1924) и образ Лики в «Жизни Арсеньева». О силе и глубине этого чувства рассказывают многочисленные письма Бунина к любимому, старшему брату Юлию Алексеевичу («Я приехал в орловскую гостиницу совсем не помня себя. Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настрочил ей предикое письмо: я, ей-Богу, почти не помню его. Помню только, что умолял хоть минутами

любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза — слышу громкие голоса, шорох платья около меня… Даже вскочу… Голова горит, мысли путаются, руки холодные — просто смерть! Вдруг стук — письмо! Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать» и т. д.). Против брака был решительно настроен отец Пащенко, считавший, что Бунин, человек без средств, без образования, без профессии, не создаст сносных условий для дочери. Впрочем, и сама Пащенко, видимо, в прочности своего чувства не была уверена. Отношения тянулись, перемежаясь ссорами и разрывами, более четырех лет. 4 ноября 1894 года Пащенко покинула Полтаву, где они тогда жили с Буниным, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом». В следующем же году она вышла замуж за приятеля Бунина А. Н. Бибикова. Не поэтический ли отзвук этих событий мы найдем в известном стихотворении 1903 года «Одиночество»:

> Но для женщины прошлого нет:
> Разлюбила — и стал ей чужой.

Все-таки свет любви к Пащенко был для Бунина главной, всезатмевающей звездой; это подтверждается и признанием, единственным в его биографии: «мое чувство к тебе было и есть *жизнью* для меня». Преображенные продолжения чувства в творчестве были многообразны и неожиданны, вплоть до трагических переживаний Мити (повесть 1927 года «Митина любовь»).

В конспект дневника за 1898 год Бунин заносит: «23 сентября — свадьба. Жили на Херсонск[ой] улице, во дворе. Вуаль, ее глаза за ней (черной)». Речь идет о женитьбе Бунита на А. Н. Цакни (1879–1963). Когда, уже в 1932 году, в Грасе Галина Кузнецова расспрашивала его о Цакни, он рассказал, что «она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорит, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет»[2]. Недоразумения и ссоры начались скоро. Бунин исповедуется (в 1899 году) своему брату Юлию Алексеевичу: «*Буквально с самого моего приезда Аня не посидела со мной и получасу* — входит в нашу комнату только переодеться <…> Ссоримся чрезвычайно часто <…> Для чего я живу тут? Что же я за презренный идиот — нахлебник. Но главное — *она беременна* <…> Юлий, пожалей меня. Я едва хожу. Ничего не пишу, нельзя от гама и от настроения. Задавил себя, но не хватает сил — она груба на

самые мои горячие нежности. Я расшибу ее когда-нибудь. А между тем иной раз сильно люблю». От этого брака родился единственный сын Бунина Коля, умерший пяти лет после скарлатины. Можно подумать, что Анна Николаевна Цакни не могла оставить сколько-нибудь глубокого следа в бунинской душе. Но вот когда этот заведомо неудачный брак распался, как, оказывается, мучился Бунин, как тяжко страдал от чувства утраты! И вовсе не случайна неожиданная на первый взгляд запись от 17 сентября 1933 года (через тридцать три года после разрыва с Цакни!): «Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе — и такая жалость, что… А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот». В. Н. Муромцева-Бунина не без оснований утверждает, что роковую роль в отношениях молодоженов сыграла теща Бунина и мачеха Анны Александровны Элеонора Павловна, которая испытывала к своему зятю тайную страсть…

10 апреля 1907 года новая запись: «отъезд с В[ерой] в Палестину». В жизнь Бунина вошла Вера Николаевна Муромцева (1881–1961), которая стала его добрым гением, ангелом-хранителем и верным другом. Этот брак уже иной, чувство и рассудок теперь уравновешены. Бунину, безусловно, нравится «его Вера», но он видит и другое: прекрасная дворянско-профессорская старомосковская семья; уютный особняк на Большой Никитской; сама невеста учится на естественном факультете Высших женских курсов! Современники в один голос говорят, что она была хороша собой, красотой несколько застывшей — в ней находили облик мадонны. Это же подтверждают фотографии и портреты. Но какова она была внутренне? Ровная, спокойная, рассудительная. Вот свидетельство друга Буниных писателя Б. К. Зайцева. 12 мая 1961 года он писал мне: «Вы, вероятно, знаете, что скончалась В. Н. Бунина, от неожиданно проявившейся сердечной болезни. Моя больная жена очень это тяжело приняла, они были приятельницами с юных лет, еще по Москве. В нашей квартире Вера и с Иваном Алексеевичем встретилась. Она была хорошая женщина, много добра делала, всегда была несколько вялая и малокровная, в молодости очень красивая, но всегда холодноватая».

Примечательно, что даже в тяжелый час Зайцев все же отмечает «вялость», «малокровность», «холодность» Веры Николаевны. Но быть может, это как раз и предполагало для «судорожного» Бунина счастливый брак? В натуре ее кротость, чистота, способность к милосердию. Но еще и прямота, желание

правды, достоинство, гордость. И холодноватость природная, о которой говорил Зайцев. Она будет спорить всю жизнь с бунинским прошлым, бороться с ним, с тенями Варвары Пащенко и Анны Цакни. Даже имя ему придумала, совсем к нему не идущее: «Ян» — «потому что ни одна женщина его так не называла». А потом придет опасность и другая, вполне живая, «материальная», в образе женщины, которая моложе ее на двадцать лет. И, пожалуй, только те черты характера, о которых упомянул Зайцев, помогут ей выстоять, не потерять себя, остаться и — благодаря времени — победить. Но все это будет потом — через два десятилетия.

В конце 1920 — начале 1930-х годов Бунин очень редко обращался к дневнику. Возможно, тому были особые причины. Но вот читаем запись от 10 марта 1932 года: «Темный вечер, ходили с Галиной по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг — подвал пекарни, там топится печь, пекут хлебы — и такая сладость жизни».

Об этой, последней страсти Бунина следует также рассказать, ибо она резко и сильно отразилась и на жизни, и на творчестве писателя. О Г. Н. Кузнецовой (1900–1976) сообщала советскому критику и писателю Н. П. Смирнову поэтесса И. А. Одоевцева в письме от 30 сентября 1969 года: «Постараюсь, правда, коротко, ответить на Ваши вопросы об отношениях Бунина и Галины Кузнецовой. Сведения эти вполне достоверны — автор их бывший муж Галины, Д. М. Петров.

Летом 26-го года в Жуа-ле-Пэн Петров и Галина жили на одной даче с Модестом Гофманом — пушкинистом. Он и познакомил их на пляже с Буниным, и они стали часто купаться в море вместе с ним. Бунин отлично плавал, по словам Галины. «У Ивана Алексеевича такое сухое, легкое тело!» — рассказывала она мне.

Через две недели Петрову пришлось вернуться в Париж — он, юрист по образованию, был шофером в эмиграции. Галина захотела продлить свои каникулы и вернулась в Париж только через пять недель. И тут сразу пошли недоразумения и ссоры.

Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала считаться с ним, каждый вечер исчезала из дома и возвращалась все позже и позже. Однажды она вернулась в три часа ночи, и тут между ними произошло решительное объяснение. Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула:

— Конечно, Иван Алексеевич!

На следующее утро Петров, пока Галина еще спала, сложил

свои чемоданы и уехал из отеля, не оставив адреса…

Петров носился с мыслью об убийстве Бунина, но пришел в себя и на время покинул Париж».

В письме от 6 февраля 1970 года И. В. Одоевцева продолжила свой рассказ:

«Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем, она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда два раза в день навещал Бунин, живший совсем близко.

Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и жаловалась: «Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать!»

Даже у портнихи и у парикмахера она, не считаясь с тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это длилось довольно долго — почти год, если я не ошибаюсь.

Но тут произошло чудо, иначе я это назвать не могу. Бунин убедил Веру Николаевну в том, что между ним и Галиной ничего, кроме отношений учителя и ученика, нет. Вера Николаевна, как это ни кажется невероятно — поверила. Но я не уверена, что действительно поверила. Поверила оттого, что хотела верить.

В результате чего Галина была приглашена поселиться у Бунина и стать «членом их семьи».

Кузнецова оказалась среди «подопечных» Бунина, молодых литераторов (Н. Рощин, а позднее — Л. Ф. Зуров, 1902–1971). И все же мы не можем согласиться с Одоевцевой до конца. Появление Кузнецовой, безусловно, нарушило семейное равновесие Буниных; атмосфера нервности, скрытой напряженности надолго воцарилась в их доме.

Отношения Бунина и Кузнецовой надолго стали предметом пересудов русской колонии Парижа. В своем обычном, светлом и юмористическом духе упоминал об этом в письме ко мне от 24 февраля 1964 года Б. К. Зайцев, рассказывая о своей дочери Наталье Борисовне: «Раз были мы с ней вдвоем в театре (довольно давно, 7 лет я вообще нигде не бываю, читаю вслух больной жене и ухаживаю за ней). Так вот тогда дама одна увидала меня с Наташенькой в театре и говорит: «Хороши наши писатели! Нечего сказать. Бунин завел себе Галину, а этот вон какую подцепил». О том, как переживала все это время В. Н. Муромцева-Бунина, свидетельствует А. Бахрах: «Удочерение» (так этот акт официально назывался при поездке в Стокгольм за получением шведской премии) сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее внедрение в бунинскую квартирку было, конечно, тяжелым ударом по

самолюбию Веры Николаевны, по ее психике. Ей надо было со всем порвать или все принять — другого выхода у нее не было»[3]. Она замкнулась, стала искать утешения в вере, в Боге.

Между тем постепенно чувство Кузнецовой к Бунину менялось, восхищенное отношение к замечательному писателю нарастало, но человеческое, женское — таяло. Однажды, когда Бунин получил очередную хвалебную статью о себе, она записала: «Странно, что когда Иван Алексеевич читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное, это кажется плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце»[4].

Слова эти оказались провидческими.

Кузнецова покинула Бунина в зените его славы, после присуждения ему Нобелевской премии. На обратном пути из Стокгольма в декабре 1933 года Бунин (вместе с которым были Вера Николаевна и Кузнецова) навестил в Берлине философа и литературного критика Федора Степуна. И. Одоевцева писала Н. П. Смирнову 12 апреля 1970 года: «В дороге Галина простудилась. Обеспокоенный Бунин <…> просил Маргу (сестра Ф. Степуна, оперная певица. — *О. М.*) свозить ее к доктору». Встреча Кузнецовой с Маргой Степун оказалась роковой, Галина покинула Бунина. «Бунин, — писала Одоевцева, — обожавший Галину, чуть не сошел с ума от горя и возмущения. В продолжение двух лет — о чем они обе мне рассказывали — он ежедневно посылал ей письмо…»

Кузнецова, однако, довольно скоро приехала к Буниным в Грас и поселилась у них вместе с М. Степун, растравляя и без того горько страдавшего Бунина. Он еще пытается спасти положение. 8 марта 1935 года заносит в дневник: «Разговор с Г[алиной]. Я ей: «Наша душевная близость кончена». И ухом не повела». В это время на вилле «Жаннета», которую снимал Бунин, жили еще, помимо Кузнецовой и «Марги» (М. Степун), молодые писатели Рощин и Зуров. 6 июля 1935 года Бунин пишет: «Вчера были в Ницце — я, Рощин, Марга и Г[алина]… Без конца длится страшно тяжелое для меня время». Вера Николаевна чутко улавливает его состояние. Она, очевидно (о чем уже говорилось), не так уж искренне «поверила» в чисто литературные отношения Бунина и Г. Кузнецовой, как утверждала И. Одоевцева. А теперь, после разрыва, сама переживает и волнуется за него. 26 апреля 1936

года отмечает в своем дневнике: «Все мои старания примирить Яна с создавшимся положением оказались тщетными»[5].

Да и как мог он примириться! Терзания длятся у него годами, непрерывно, люто. 22 апреля 1936 года горько пишет: «Шел по набережн[ой], вдруг остановился: «да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность». 7 июня того же года: «Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, — душевнобольной». С маниакальностью впервые влюбленного возвращается он к одному и тому же. 20 апреля 1940 года: «Что вышло из Г[алины]! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм[ысленная] жизнь! Вдруг вспомнилось — «бал писателей» в январе 27 года, приревновала к Одоев[цевой]. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках *одна* в свой отельчик».

После вторжения Гитлера во Францию оставшиеся на вилле «Жаннета» Г. Кузнецова, М. Степун, Л. Зуров, а также поселившийся там литератор Александр Бахрах переходят окончательно на иждивение Бунина, который сам едва перебивается и с печальной иронией пишет в дневнике 11 марта 1941 года: «Сейчас десять минут двенадцатого, а Г[алина] и М[арга] и Бахрах только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 фр[анков] «. Но если бы дело было только в скудости средств, хотя и это мучает: «Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, — хоть шаром покати!» (23 февраля 1941 года). Или вот еще: «Дикая моя жизнь, дикие сожители М[арга], Г[алина] — что-то невообразимое» (26 февраля 1941 года). Это самое страшное: «Во многих смыслах я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу» (21 апреля 1940 года).

Любовь прошла, оставив чувство безнадежности, почти отчаяния. 18 апреля 1942 года, как бы подытоживая пережитое, Бунин записал в дневнике: «Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор отравляет! 15 лет!»

Но, быть может, и не стоило уделять столько места отношениям Бунина и Галины Кузнецовой?

Было, однако, одно веское обстоятельство, придающее этой поздней бунинской страсти особый характер. Галина Кузнецова

была *душевно близка* Бунину (его же определение), понимала его как художника, оставила во многих отношениях замечательный «Грасский дневник», где проникновенно показала Бунина именно как творца, художника, писателя. Кроме того, мы ей обязаны многими страницами «Жизни Арсеньева», в том числе и образу той Лики, какой она выведена в романе.

Стало общим местом утверждать, что Лика — это Варвара Пащенко. Но это было бы крайним упрощением. Недаром сам Бунин так сердился, когда близорукие критики называли роман «Жизнь Арсеньева» — автобиографическим. Самый близкий Бунину человек — Вера Николаевна с полной правотой писала 30 января 1959 года Н. П. Смирнову: «Очень меня радует, что Вы поняли, что Лика имеет отдаленное сходство с В. В. Пащенко. Она только в начале романа. В Лике, конечно, черты всех женщин, которыми Иван Алексеевич увлекался и которых любил. Мне кажется, что Иван Алексеевич не вел тех разговоров с В[арварой] В[асильевной], какие вел Алеша Арсеньев с Ликой. Эти разговоры были с другой женщиной»[6].

Не трудно понять, что эта *другая* женщина и была Галина Кузнецова. В конце двадцатых годов, в Грасе, на вилле у Буниных, образовалась своего рода маленькая «академия литературы». Под наблюдением Бунина здесь трудились Рощин, Зуров, Г. Кузнецова. Но Кузнецова еще и «муза» бунинская, сопереживающая в его работе над «Жизнью Арсеньева». «Счастлива тем, — пишет она, — что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал — была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах»[7]. Или: «…я слишком много сил отдаю роману И[вана] А[лексеевича], о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главку, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда он диктует мне, тут же меняем по обсуждению то или иное слово»[8].

Г. Кузнецова запечатлевает на страницах «Грасского дневника» особенность художественной натуры Бунина, необычайно свежо и остро воспринимающего мир. «Нет, мучительно для меня жить на свете! Все мучает меня своей прелестью!» Или: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь!»[9] Он и был от природы прежде всего художником, мучеником словесного искусства, истинно страдал от красок и запахов, от пейзажей, от промелькнувшего женского лица или

встреченного человека «с особинкой» — все тотчас просилось «в рассказ».

4

С помощью дневников, о чем уже говорилось, мы можем проследить, как с юношеских лет Бунин вырабатывал в себе художника. Он непрерывно наблюдал, впитывал все увиденное, и оно, кажется, готово было превратиться у него в «литературу» — луна на ночном небе, пашня под солнцем, старый сад, внутренность крестьянской избы. Но есть одна принципиальная межа, разделившая всю его жизнь на две половины. Начиная с «германской», с 1914 года («Теперь все пропало», — сказал ему брат Юлий Алексеевич, едва услышав об убийстве эрц-герцога Фердинанда — что и послужило поводом для развязывания мировой войны), впечатления словно прорвали оболочку творчества, стали терзать его человечески, как утрата близких.

И чем дальше, тем больше.

В его дневниках 1914–1917 годов мы читаем о лживо-пафосных речах и тостах, разнузданном веселье «господ-интеллигентов» в столичных ресторациях — и о горе, унынии в деревне, об осиротевших детях и вдовах, обезлюдевших деревнях, о сгущении мрака. Только природа, в своем вечном великолепии, способна на время успокоить душевную боль, и в дневниках этих лет можно наблюдать постоянный контраст в изображении красоты первозданной природы и бедности, скудости, мучений народных.

Буржуазная революция 1917 года, падение империи только усиливают пессимизм Бунина в отношении будущего России как национального целого. В охваченной брожением деревне Глотово, в августе 1917 года, он мрачно размышляет: «Разговор, начатый мною опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. п.». Прослеживая тему эту в бунинских дневниках, идя против течения времени, вспять, видишь, что занимала она писателя задолго до наступления революционного семнадцатого года.

Бунин много и настойчиво размышлял о том, что же такое *народ* как данность, кого включать и почему в это несколько аморфное, по его мнению, понятие. Порою он сердился: «Хвостов, Горемыкин[10], городовой это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ?

Народ-то это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство, и нечего все валить на самодержавие». Запись эта сделана за год с лишним до предыдущей, 22 марта 1916 года, задолго до прихода к власти Гоцов и Керенских. Но еще раньше, в самом начале 1910-х годов, наблюдая каждодневно за «мужиками», то есть всеми и официально признаваемым «народом», Бунин ощущает прежде всего тот огромный резервуар спящих и, по его мнению, еще совсем диких, разрушительных сил. И — пока еще как видение, как страшный сон — чудится ему пора, когда произойдет то, о чем «орет», едва войдя в избу и не глядя ни на кого, некий странник:

Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем померкнут,
И пропустит Господь огненную реку…

Эту «огненную реку» Бунин вполне ожидал.

Октябрь он встретил враждебно и свое отношение к новому строю не менял никогда. Но, разделив с другими «хождение по мукам», путь эмигранта, сохранил свою и совершенно особенную судьбу. Изгнанные из России, они в большинстве своем могли впасть (и впали) лишь в отчаяние, неверие и злобу. Не то Бунин. Именно на расстоянии с наибольшей полнотой ощутил он то, что потаенно и глубоко жило в нем: Россию.

Ранее, занятый литературой, поглощавшей главные его заботы, он испытывал надобность как художник — в постижении некоей чужой трагедии. Ни крах первой, самой страстной любви, ни смерть маленького сына, отнятого у него красавицей женой, ни даже кончина матери еще не потрясли и не перевернули его так, не помешали упорной и самозабвенной работе над мастерством, стилем, формой. Теперь словно гарпун пронзил его насквозь, боль объяла его всего: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь. России — конец…» (рассказ 1921 года «Конец»).

«Конец» и «погибель» — любимые слова в записях этих лет: «Уже три недели со дня нашей погибели» (дневник от 12 апреля 1919 года). Впечатления этой поры отложились в цельную книгу — «Окаянные дни», написанную с поэтическим блеском и пронизанную желчью и горечью. Со многими оценками политических событий и фигур у Бунина читатель не согласится,

но выслушать его должен. И странно: он повторял о России с мрачной убежденностью: «конец», а Россия настигала его всюду. Даже посреди веселой ярмарки, в Грасе — толпа французов, мычание коров — «И вдруг страшное чувство России» (запись в дневнике 3 марта 1932 года). Оно не отпускало его, и в конечном счете помогло выстоять вопреки всему, написать великие книги: «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого», «Темные аллеи». Это «страшное чувство России» понудило его в мае 1941 года отправить два послания — Н. Д. Телешову и А. Н. Толстому со словами: «Очень хочу домой».

Дневники отражают все сомнения и колебания Бунина, вплоть до желания, при вступлении немцев во Францию, уехать, как это сделала меценатка М. С. Цетлина или писатель М. А. Алданов, в Соединенные Штаты. Но ведь не уехал!

Остался в Грасе, с волнением следил за событиями на советских фронтах, думал о возвращении в Россию и с необыкновенной, молодой жадностью писал в дни творческих озарений: «20. IX. 40. Начал «Русю». 22. IX. 40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой». 27. IX. 40. Дописал «Русю». 29. IX. 40. Набросал «Волки». 2. X. 40. Написал «Антигону». 3. X 40. Написал «Пашу» и «Смарагд». 5. X. 40. Вчера и сегодня писал «Визитные карточки». 7. X. 40. Переписал и исправил «Волки». 10, 11,12, 13. X. 40. Писал и кончил (в 3 ч. 15 м.) «Зойку и Валерию». 14, 17, 18, 20, 21, 22. X. 40. Писал и кончил (в 5 ч.) «Таню». 25 и 26. X. 40. Написал «В Париже» <…> 27 и 28. X. 40. Написал «Галю Ганскую» <…> 23. X. 43. Дописал рассказик «Начало» <…>

29. X. Вчера в полночь дописал последнюю страницу «Речного ресторана». Все эти дни писал не вставая и без устали, очень напряженно, хотя недосыпал, терял кровь и были дожди. 1. XI. Вечером писал начало «Иволги» <…> Нынче переписаны «Дубки», написанные 29-го и 30-го» и т. д.

Приветствуя нашу победу над гитлеровскими полчищами, торжествуя, занес в дневник 23 июля 1944 года: «Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело!»

Были приливы и отливы чувств; случались приступы не только отчаяния, но и враждебности, и об этом надо тоже сказать прямо. «Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — Ленинград, Нижний — Горький, Тверь — Калинин…» — в ожесточении вырывается у него 30 декабря 1941 года. Но все это порывы знаменитой бунинской запальчивости. Куда сокровеннее запись Веры Николаевны от 29 августа 1944 года: «Ян сказал — «Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я

отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!»[11]

5

В сомнениях и твердости своей, в отчаянии и надежде, в окаянном одиночестве, какое надвигалось на него — вместе с болезнями, старостью, бедностью, — «страшное чувство России» только и спасало Бунина. Эти последние годы его жизни были и самыми мрачными. Он был жестоко обманут в своей последней любви, о чем оставил в дневниках горькие свидетельства; вынужденно делил кров с тяжелым, по-видимому, психически нездоровым нахлебником; наконец, познал на исходе жизни и враждебность эмиграции, которая в большинстве своем отвернулась от него, иные из прежних друзей (например, М. С. Цетлина) прямо осыпали его бранью, обвиняя в том, что он «продался Советам». (После того как руководство союза русских писателей и художников в Париже исключило из числа своих членов всех, кто принял советское подданство, Бунин в знак солидарности с исключенными вышел из его состава. Ответом был бойкот.) Друг его жизни, В. Н. Муромцева-Бунина, как могла, старалась облегчить последние дни. Но жажда жизни, ощущение, что он еще не взял «все», не покидало умирающего писателя. В год своей кончины, в ночь с 27 на 28 января 1953 года, уже изменившимся почерком Бунин заносит в дневник:

«— Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего об одном и том же в прошлом; об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!»

Героико-трагический автопортрет Бунина, возникающий в его дневниках, завершается этим последним, драматическим откровением.

Дневники 1881-1953

1881

В начале августа (мне 10 лет 8 мес.) выдержал экзамен в первый класс елецкой гимназии. С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Ник. Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне «Озёрки») у мещанина Бякина на Торговой ул. в Ельце. Мы тут «нахлебники» за 15 рубл. с каждого из нас на всем готовом.

1885

Конец декабря.

<…> ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике… и много еще хорошего…

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться… Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми: в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно… Что меня ждет? — задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня к ней влечет? Может, оттого, что про нее много рассказывала сестра…

Наконец я задремал и не слыхал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с бóльшим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

…Потребность любви!.. Но кого? В Озёрках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка — но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и, верно, тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины… Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце! На крыльце я увидал Дуню и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она

симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» — проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, думал я, я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя <…> и натянуто и почти не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью… Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял, и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! Хотите?» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, — сказала она, — я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Я уже влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас, уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит… но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», — шепчут мои губы.

Исполнились мои ожиданья.

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем верно будут из Васильевского и в том числе гуверн[антка], в которую я влюблен не на шутку.

<…> Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..

Да! пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», — скажут они. Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком <нрзб.>. Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь

тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем пэстам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе эти напевы.

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит…

* * *

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору, и прижимал ее ручки к своим губам, и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. «Милый, — шептала она, — милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцеловал я ее, и мы расстались.

* * *

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым — да еще вдвоем только… Впрочем, ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, чтобы она с кем-нибудь даже разговаривала… Да, глупость, глупость это», — разуверял я себя…

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки… пробовал стихи писать, — звуки

путались, и ничего не выходило… передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы бог знает что, а возьмешь перо — и становишься в тупик… Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая… Я все еще не спал… Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная… Я был тогда в саду… И снова все перемешалось… Я глядел в угол. Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет… Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озёрках. Вечер. Пруд дымится… Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня… Вдруг они нагнулись все и подняли… гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятья и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико… Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне… Вдруг все потемнело… Кругом поле насколько можно разглядеть, на руках у меня Мила… она шепчет и целует меня: «милый, милый»… Далеко где-то звенит колокольчик… и… я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит. Эк! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять…

1886

27 января 1886 г.

Вечер. Сижу один в зале и хочу записать то, что за неимением… да нет, впрочем, даже по небрежности, не внес в свой журнальчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святок.

30-го декабря я встал уже с сладким мучением влюбленного и опять с ревностью в груди, но не только к Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать, и, что всего удивительней, даже хотя говорили о ней что-то хорошее, и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уверен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подобные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из…

Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озёрках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием.

20 декабря 1886 года.

Вечер. На дворе не смолкая бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный резкий ветер бьет в лицо снегом. В непроглядной крутящейся мгле не видно даже строений. Едва-едва, как в тумане, заметен занесенный сад. Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает метель да мурлыкает какую-то песенку Маша. Прислушиваешься к этим напевам и невольно отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Лень шевельнуться, лень мыслить.

А на дворе все так же бушует метель. Тихо и однообразно проходит время. По-прежнему лампа горит слабым светом. Если в комнате совершенно стихает, слышно, как горит и тихонько сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно. Всю ночь будет бушевать метель и к рассвету нанесет высокий снежный сугроб.

1888

[Без даты]

Поезд, метель, линия сугробов и щитов.

[Без даты]

Изба полна баб и овец — их стригут.

На веретье на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

1891

[26 июля]

Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас на бору! Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним.

1893

В июле (?) приехала в Огнёвку В. С ней к Воргунину.

Осенью в Полтаве писал «Вести с родины» и «На чужой стороне» (?).

Конец декабря — с Волкенштейном в Москву к Толстому.

3 июня 1893 г. Огнёвка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, выколосились. В колеях блестела вода. Впереди передо мной, на востоке, неподвижно стояла над горизонтом гряда румяных облаков. На западе — синие-синие тучи, горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними — и золотые столпы уперлись в них, а края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом. Деревня Ба́сово в хлебах.

1894

В начале января вернулся из Москвы в Полтаву. «Аркадий». От Николаева (?).

В апреле в «Русском богатстве» «Танька» (?).

Вечер 19 мая, Павленки (на даче под Полтавой), дождь, закат.

Вечер 19 мая 94 г. Павленки (предместье Полтавы).

Пришел домой весь мокрый, — попал под дождь, — с отяжелевшими от грязи сапогами. Прошел сперва с нашей дачи к пруду в земском саду, — там березы, ивы с опущенными длинными мокрыми зелеными ветвями. Потом пошел по дороге в Полтаву, глядя на закат справа. Он все разгорался — и вдруг строения города на горе впереди, корпус фабрики, дым трубы — все зажглось красной кровью, а тучи на западе — блеском и пурпуром.

15 авг. 94, Павленки.

Солнечный ветреный день. Сидел в саду художника Мясоедова (наш сосед, пишет меня), в аллее тополей на скамейке. Безоблачное небо широко и свежо открыто. Иногда ветер упадал, свет и тени лежали спокойно, на поляне сильно пригревало, в шелковистой траве замирали на солнце белые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями плавали в воздухе, твердые темно-зеленые листья сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начинался шелковистый шелест тополей, с другой стороны, по вершинам сада, приближался глухой шум, разрастался, все охватывал — и свет и тени бежали, сад весь волновался… И снова упадал ветер, замирал, и снова пригревало. В[аря] в Ельце.

Осенью квартира на Монастырской.

20 окт. (с. стиля), в 2 ч. 45 м. смерть Александра III в Ливадии.

Привезен в Птб. 1 ноября. Стоял в Петропавловском соборе до 7 ноября (до похорон).

4 ноября — бегство В[ари].

Вскоре приехал Евгений. С ним и с Юлием в Огнёвку, Елец, Поповская гостиница.

Я остался в Огнёвке. До каких пор?

1895

В январе в первый раз приехал в Птб. Михайловский, С. Н. Кривенко, Жемчужников.

Потом? Москва, Бальмонт, Брюсов, Эртель, Чехов (оба в Большой Московской гостинице).

Март: Москва, номера в конце Тверского бульвара, с Юлием. Солнце, лужи.

В «Русской мысли» стихи «Сафо», «Вечерняя молитва».

«Старая, огромная, людная Москва», и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение…

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. <…>

Летом — Полтава (?). Поездка на отправку переселенцев с Зверевым. Написал «На край света» (когда?). Напечатали в «Новом слове» в октябре.

В декабре — Птб., вечер в Кредитном Обществе. Номера на Литейном (?).

Привез «Байбаки».

Федоров, Будищев, Ладыженский, Михеев; Михайловский, Потапенко, Баранцевич, Гиппиус, Мережковский, Минский, Савина (это на вечере в Кред. О-ве); Сологуб (утром у Федорова), Елпатьевский, Давыдова («Мир божий» на Лиговке). Муся, Людмила (дочь Елпатьевского). Васильевский Остров. Попова, ее предложение издать «На край света».

1896

Из Птб. был в Ельце на балу в гимназии (?) — уже «знаменитостью».

Когда познакомился и сошелся с М. В.?

29 мая вечером с М. В. приехал в Кременчуг. Почти всю ночь не спали. На другой день уплыл в Екатеринослав (она — в Киев?).

31 мая из Екатеринослава через Пороги по Днепру.

1 июня — Александровск — и вечером оттуда в Бахчисарай.

Бахчисарай, Чуфут, монастырь под Бахчисараем.

Байдары, ночевка в Кикинеизе. Ялта; Аю-Даг. В Ялте Станюкович, Миров (Миролюбов).

Днепровские Пороги (по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года).

Екатеринослав. Потанинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринославом, на пологом берегу Днепра, Лоцманская Каменка. В верстах в 5 ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галаганка — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну в землю и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — Пороги: первый, самый опасный, — Неяситец (или Ненасытец); потом, тоже опасные: Дед и Волнич; за Волничем, в 4 верстах, последний опасный — Будило, за Будилом — Лишний; через 5 верст — Вильный; и наконец — Явленный. <…>

С 15 на 16 сент. из Екатеринослава в Одессу. Лунная ночь, пустые степи.

Вечером 16. Одесса, на извозчике к Федорову в Люстдорф.

Ночью ходили к морю. Темно, ветер. Позднее луна, поле лунного света по морю — тусклое, свинцовое. Лампа на веранде, ветер шуршит засохшим виноградом. (Киппен?)

17 сент. Проводил Федорова в Одессу, ветер, солнце, тускло-блестящее море, берег точно в снегу. <…>

21 сент. Тишина, солнечное утро, пожелтевший плющ на балконе, море ярко-синее, все трепещет от солнца. Хрустальная вода у берега. Сбежал к морю, купался.

26 сент. Уехал на Николаев. Синее море резко отделяется от красных берегов.

Птб., Литейный, номера возле памятника Ольденбургского в снегу. Горничная. <…>

24 мая 1897 г.

Из Полтавы в Одессу к Федорову.

Кременчуг, мост, солнце низкое, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых только хлебами. Думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя. Пшеницы, черная грязь дорог.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега. Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды, бегут сквозь решетку палубы. Впереди море, строй парусов.

29 мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом — в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустыню моря.

1898

Начало зимы, зима — где?

Ранней весной, кажется, в Москве, в «Столице». Лопатина.

Где весной?

Начало лета — Царицыно.

Прощание поздним вечером (часу в одиннадцатом, но еще светила заря, после дождя), прощание с Лопатиной в лесу. Слезы и надела на меня крест (иконку? и где я ее дел?).

В конце июня уехал в Люстдорф к Федорову. Куприн, Карташевы, потом Цакни, жившие на даче на 7-й станции. Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон их дачи (со 2-го этажа). Аня играла «В убежище сада…». Ночуя у них, спал на балконе (это уже, кажется, в начале сентября).

23 сентября — свадьба.

Жили на Херсонской улице, во дворе.

Вуаль, ее глаза за ней (черной). Пароходы в порту. Ланжерон.

Беба, собачка. Обеды, кефаль, белое вино. Мои чтения в Артистическом клубе, опера (итальянская).

«Пушкин», Балаклава. Не ценил ничего!

Ялта, гостиница возле мола. Ходили в Гурзуф. На скале в Гурзуфе вечером.

Возвращение, качка.

В декабре (или ноябре?) в Москву с Аней. Первое представление «Чайки» (17 дек.), мы были на нем. Потом Птб., номера на Невском (на углу Владимирской). Бальмонт во всей своей молодой наглости.

Первое изд. «Гайаваты».

Лохвицкая?

«Без роду-племени» — где и когда писал? Кажется, в Одессе, после женитьбы. В «нивском» издании этот рассказ помечен 97-м годом.

Когда с Лопатиной по ночлежным домам?

16 ноября — юбилей Златовратского в Колонной зале в «Эрмитаже» (в Москве).

1899

Весной ездил в Ялту (?). Чехов, Горький, Муся Давыдова и Лопатина.

<…> Летом — в «Затишье», в имении Цакни. Разрыв. Уехал в Огнёвку. Вернулся осенью (кажется, через Николаев, в солнечное раннее утро). Род примирения. Солнечный день, мы с ней шли куда-то, она в сером платье. Ее бедро. <…>

1900

Зимой репетиции у Цакни «Жизни за царя».

В январе ее беременность.

В начале марта полный разрыв, уехал в Москву.

Доктор Рот.

Весна в Огнёвке. «Листопад».

Лето в Ефремове? Письмо Горькому из Ефремова в конце августа.

В Москве осенью дал ему «Листопад» для «Новой жизни». Поссе. Писал «Антоновские яблоки». «В Овраге» Чехова в «Новой жизни».

В октябре я в Одессе. Отъезд с Куровским за границу: Лупов — Торн

— Берлин — Париж — Женевское озеро — Вена — Петербург.

Потом я в Москве. «Среда» художников.

В конце декабря я у Чеховой. Чехов за границей. Ночь у какой-то.

1901

В «нивском» изд. помечены этим годом: «Новый год», «Тишина», «Осенью», «Новая дорога», «Сосны», «Скит», «Туман», «Костер», «В августе». Когда писал «Перевал»? <…>

В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г., я у Чеховой… Су-Ук-Су…»

31 янв. в Москве первое представление «Трех сестер». Арсений (чеховский слуга) из Ялты Марье Павловне по телефону: «Успех агромадный». <…>

Числа 15 февр. Чехов вернулся из-за границы. Я переехал в гостиницу «Ялта». Покойница. <…>

Как-то в сумерки читал ему его «Гусева». Он сказал: «я хочу жениться».

Кульман, Елпатьевский, Массандра. Вера Ивановна. (В сентябре, в Ялте.)

Паша-гречанка. «Грузинская царевна» (уже забыл, как звали!). Бегство в Москву через Симферополь (до С. на ямщицкой тройке). В ноябре в Крыму Толстой. <…>

Крым, зима 1901 г. На даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское. Провалы в облаках — там какая-то дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).

Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице женской ялтинской гимназии, Варваре Константиновне Харкеевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую, к пасхальному столу, и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять, и я написал:

В столовой у Варв. Константинны

Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки,
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.

1902

В январе репетиция «Мещан» Горького. 20 янв. Чехов пишет кому-то: «Умер Соловцов… Оч. болен Толстой… Я привез «Детей Ванюшина»…

Я в Ялте?

31 янв. Чехов кому-то: «Осенью» Бунина написано несвободно…»

Я в Птб.? Предложение Куприна Мусе Давыдовой?

Февраль. Чехов кому-то: «Горький в Крыму» (кажется, у Токмаковых, на даче «Нюра»). Я в Одессе. Приезд туда «молодых» Андреевых (в конце февраля). <…>

24 марта. Чехов: «В Ялту приезжают Бунин и Нилус». С нами в Ялте был Телешов. Нилус писал портрет Чехова. — Художник Ярцев, Варв. Конст. Харкеевич. Привезли больную Книппер.

Июль. Я под Одессой, на даче Гернета (есть запись).

Когда Вера Климович?

В сентябре: умер Зола; в Одессе чума. Очевидно, это тогда (в августе, вероятно) уплыл от чумы на пароходе из Одессы в Ялту.

Чехов, *26 сент.*: «Был Куприн, женатый на Давыдовой. Жена беременна».

20 дек., Чехов: «На дне» имело большой успех». Я был на первом представлении. Был весь конец осени в Москве?

Макс Ли? «Белый Негр»?

Карзинкин издал мои «Новые стихотворения».

2 1/2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладным ветром. Каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрестанно понижающийся и повышающийся шум и плеск. С юга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая, еще дальше — лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега на виду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут острыми крыльями, с резким криком взлетят и опять опустятся. <…>

1903

1 янв., Чехов: «Бунин и Найденов в Одессе. Их там на руках носят». Мы с Н. Жили в «Крымск. гост.» — Федоров и Лиза Дитерихс.

1 февр., Чехов: «Андреева «В тумане» хорошая вещь». Когда Андреев рассказывал мне тему этого рассказа?

16 февр., Чехов: «Бунин почему-то в Новочеркасске». Я был там у матери и Маши.

Март — я в Ялте.

14 марта, Чехов: «Тут М-me Голоушева». Я там с Федоровым и Куприным.

В начале апреля я с Федоровым уплыл в Одессу. Чехов: «Куприн тоже уехал — в Птб.» (кажется, в Ялте был и Андреев).

Когда Елена Васильевна?

9 апреля я уплыл из Одессы в Константинополь.

Где я весной и летом? В Огнёвке? Летом, конечно, в Огнёвке, переводил «Манфреда».

Конец сентября — я в Москве: Чехов из Ялты сестре (или Книппер?): «Скажи Бунину…»

В октябре — я тоже в Москве: Чехов 28 октября: «Бунину и Бабурину привет». Бабурин — Найденов.

<…> Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава, — именно свалилась, — быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу… В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской наивности. <…>

Любочка?

Декабрь — я в Москве, последние встречи с Чеховым. Репетиции «Вишневого сада». Макс Ли. (В номерах Гунста первая ночь — в это время или раньше?) Тут, кажется, «Чернозем».

24 дек. мы с Найденовым уехали в Ниццу. Макс с нами — до Варшавы. Мы в Вену, она в Берлин.

1905

«Ксения», 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки, и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят… Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел наконец манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса, 19 октября.

Возле Гарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе, неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет, и эти зеленые горы воды, и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — «Почему?» — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в

панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба… Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой, трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства». В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу.

Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики…

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами — идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке, — «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, всё с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп по всему фасаду.

— Я спросил: по ком это вы? — «На всякий случай». Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдварде. Говорили:

— Да, с хуторов идут…

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски…

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

«Южное обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли…

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке подымаются и отвечают: «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на слободке Романовке «почти не осталось жидов!».

Эдвардс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук… «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, Господи! Трусятся, позамерзли. Их сами козаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели…»

Русь, Русь!

1906

Глотово (Васильевское). 14 мая 1906 года.

Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью недавно вышедшей из-под снега земли, прелого жнивья. На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом облачные розоватые горы. Темнеет — в Острове кукушка, за Островом зарницы. И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого вечного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к себе самому), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. Господи, Господи, за что Ты так мучишь нас!

Из окна кухни блестели куриные кишки — петух сорвался с места и, угнув голову, быстро, мелко, деловито подбежал, сердито рвет, клюет, отматывает кишку от кишки. Отбежал — и опять набежал, рвет.

16 июня 1906 г. Ефремов.

Переезд с подворья Моргунова в дом Проселкова, который мы сняли весь за 18 рублей в месяц. От Моргунова впечатление гнусное. Двор в глубоком сухом навозе. Мрачная опухшая старуха, мать хозяина, в валенках… Такие горластые петухи, каких, кажется, нет нигде, кроме постоялых дворов.

Вечером в городском саду. Есть кавалеры и девицы с подвязанными гусками — зубы болят. Некоторые из девиц перед отправлением в сад моют полы, корову доят, а в саду для них гремит кекуок.

1907

До середины января я в Васильевском. Потом в Москве.

Вечер в Воронеже?

Сборники «Новое слово», Крашенинникова. Я их редактор. В феврале был в Птб. Зачем? Потом Москва. Вечер в Консерватории, читал «Джордано Бруно» и другое. Приезд Федорова. «Стена» Найденова (?).

Во второй половине февраля уехал в Васильевское. В марте возвратился и ездил в Птб. Зачем?

10 апр. отъезд с Верой в Палестину.

Возвратились в конце мая.

23 апреля 1907 г.

На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленную мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться.

Наш извозчик еврей из Америки. Когда вышли, услыхали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни малейшего внимания на гробницу своей праматери.

6 мая 1907 г.

В час дня от ст. Raijak. Подъем. Среди голых гор дико-кирпичного цвета. Вдоль пути шум потока, деревья в зелени. Идет дождь. Все время теснина. Высоко на горах точно развалины крепостей.

1 ч. 45 м., ст. Serehaya. Зеленая покатая круглая равнина. Деревья, посевы, деревни с плоскими глиняными крышками. Кругом горы. Сзади огромная голая гора на фоне дождевой тучи и далекая лиловая гора. Возле станции, налево, тоже горы, дико-фиолетовые, в пятнах снега. Прохладно, скоро перевал.

По долине в зеленых посевах. Справа глиняные холмы. Слева скалистые горы. Впереди — исполинский величавый кряж — серебро с чернью. Перевалы пошли вниз…

Спуск. Земля <?> кирпично-глинистая. В посевах — женщины в чем-то цвета мака.

Ст. Zebdani, вся в садах. Женщины в шароварах, в синих юбках и туфлях, на головы накинуты куски темно-лиловой материи.

3 ч. 15 м. Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. Сады. Перед станцией большие <?> горы, каменно-серо-красноватые.

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит зелено-мутная река. Мы едем — и она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят — сейчас Дамаск.

4 ч. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов, и в них — весь желто-<нрзб.> город, бедный, пыльный, перерезанный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hôtel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Ерусалиму, три сопки (две рядом, третья — дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки — ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра.

На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стрижи — кружат, сверлят воздух. Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой, шли за гробом.

Магазин Hassan'a.

В 3 часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище.

Большая мечеть — смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучше всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к гиду.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синева неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там же. Полумесяц над самой головой.

8 мая.

Проснулся в 5. Выехали в 6.

Путь поразительно скучный — голые горы и бесконечная глинистая долина, камень на камне. Ни кустика, ни травки, ни единого признака жизни.

9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно-серыми камнями. Вдали фигура араба в черной накидке.

10 ч. Строящаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных

черными жгутами, босые. Потом опять глинистая пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью — цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

2 часа. Туннель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (да́фля по-арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром.

6 часов. Самак. Пустынно, дико, голо, просто.

Нашли лодку с 4 гребцами (за 10 фр.). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочного цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно — ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть.

В Тивериаде отель Гросмана, оказалось, весь занят. Пошли ночевать в латинский монастырь. После ужина — на террасе. Лунно, полумесяц над головой, внизу в тончайшей дымке озеро. Ночью в келье-номере было жарко. Где-то кричал козленок.

9 мая.

Утром на лодке в Капернаум. Когда подходили к нему (в десятом часу), стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебряными поблескивающими брюхами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах-итальянец.

Из Капернаума в Табху, на лодке же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал. в валяной ермолке. Тишина, солнце, пустынно. Холмы между Капернаумом и Табхой сожженные, желтоватые, кое-где уже созревший ячмень. Возле Табхи что-то вроде водяной мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных. Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприимном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно-сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая. Ближе — водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота!

Завтрак, сон.

Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цвету, пальмочка.

На террасу вышел работник в черной накидке на голове и черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубахе, которую завернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного прибрежья, из-за которых встало круглыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако. Там, с тех холмов, сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая.

Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Табхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. Гер Антон, милый Ибрагим. Подъем, с которого видно все озеро и Тивериада. На востоке синева туч слилась с синевой гор, и в ней едва видными серебряными ручьями означается Гермон. Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посевы.

Кана. Кактусы, гранаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах. Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. Отель «Германия». Мальчик-проводник в колпачке на макушке. Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь.

11 мая.

Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина, и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный вечер, — это уже возвратясь в Кайфу, — ходил за вином.

12 мая.

Рано утром на пароходе. Жарко, тяжелое солнце. До Порт-Саида сто франков. В три часа снова Яффа. Опять Хаим и кривой.

Закат во время обеда.

13 мая. Порт-Саид.

Купил костюм. В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир — пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей.

Ночью почти не спал. Жажда, жара, москиты. В час ночи ходил пить в бар. Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам — они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. На возвратном пути Зоологический.

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой.

15 мая.

Выехали в семь с половиной часов утра. Равнина. Рамле. Александрия. «Император Николай Второй». Все загружено русскими богомольцами из Палестины. Та же каюта.

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнистые линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман.

1908

<…>

15 мая. Белые облака яблочного цвета с розовым оттенком на фоне нежной зелени. Во всех комнатах запах ландышей.

1909

26 мая 1909 г.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий… Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. «Вы что гово́рите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное, «кляп на животе, как двустволка». Потом перешли к мужицкой нищете, грязи, к мужицкому бессмысленному и грубому разврату с женами, следствие которого невероятное количество детей. «Конечно, каждую ночь. А то как же? Потушат огонь, сейчас за подол и пошел чесать…» Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы написать, но чего не вытерпит ни одна бумага в мире. Еще Евгений рассказывал, как какой-то новосельский мужик привязывал свою жену, всю голую, за косу к перемету и драл ее вожжами до потери сознания.

11 июня 1909 г., возвратясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медвежьи ушки), красное (кашка, гвоздика, иначе Богородицына трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышиный розовый горошек… А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом.

21 июня 1909 г.

Полмесяца грозы и холодные ливни, вчера и нынче первые хорошие дни.

Поразительная лунная ночь, светлый дым, туман в саду и на огороде, все мокро, коростель; под Колонтаевкой, на лугу — густой белый слой тумана. Двенадцатый час, на северо-востоке уже затеплилась розоватая Капелла, играет зеленым и красным. Петухи.

У лавочника Сафонова на ковре над постелью был изображен тигр, тело в профиль, морда en face — и подпись:

Ягуар, краса лесов,
Чует близость стаи псов.

Плотники часто пакостят при постройке домов: разозлятся на хозяина и вобьют, например, гвоздь от гроба под лавкой в переднем углу, а хозяину после того все покойники будут мерещиться.

1911

1 марта ночью.

<…> Последняя ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо.

«Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих и следы Твои неведомы…» И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое! <…>

9/22 *марта 1911 г.* В вагоне.

В 2 ч. 20 м. дня выехали из Анарадхапуры в Коломбо.

Длинный вагон третьего класса, два отделения. В одном:

1. старик, в профиль губастый, похожий на Шуфа, хотя с более крупными чертами, бронзовый лицом, бритый, как актер, с сережками в ушах; на голове платок чалмой, до пояса голый, грудь в волосах, до пояса закутан в белое;

2. не старик, хотя с сединой в стриженой голове, похожий на Победоносцева, на шее ожерелок из чего-то вроде сухого чернослива, в ушах сережки, очень худой, тоже до пояса весь голый, ниже окутан ярко-оранжевой тканью;

3. старуха, очень обыкновенная, — как банщица;

4. малый лет двенадцати, голый до пояса;

5. миловидная молоденькая (лет четырнадцати) женщина.

В другом (где мы):

1. старый милет, весь бритый, в седой щетине, ноги и ж… закутаны белым, прочее все голое;

2. дикий малый, очень темный (тамил), чернозубый от бетеля, похожий на индейца, верхняя губа в черной щетине (давно не брита), половина головы синяя (бритая), половина — в черных конских волосах, голый, закутаны в простыню опять-таки только ноги; жевал бетель и дико глядел; потом, достаточно окровавив пеной бетеля рот, лег; возле — медный кувшин с водой — как у многих, потому что пить из общей посуды нельзя, да нельзя даже и к собственному кувшину прикасаться губами — слюна считается нечистой;

3. старуха в серьгах, очень черная, похожа на еврейку, голая, но через одно плечо и на ногах — красная ткань;

4. «мужик», лысоватый, черная борода, страшно волосатая грудь, вид рабочего, похож на Петра Апостола.

На станциях продавцы кокосовых орехов кричат «Курумба!».

14 мая, село Васильевское-Глотово.

Приехали одиннадцатого.

Нынче прохладно. Еще по-ранневесеннему кричат грачи в глотовском саду на старых голых березах. Наш сад одевается. Зелень свежая, густая, мягкая даже на вид. На яблонях еще видны ветви, — не совсем еще опушились зеленью, особенно мягкой и сероватой (по сравнению с более зеленой и гораздо более яркой на кленах). Кисти сирени уже серо лиловеют. Густая трава усыпана голубенькими цветочками.

Весь день трезвонят на колокольне — лавочник Ив. Лаврентич нанял мальчишек и велел звонить с утра до вечера, чтобы прошел слух, что он, новый староста, чтит царские дни. Безобразит церковь, — обивает стены железом дикого цвета. <…>

Как дьявольски густы у некоторых мужиков бороды исподнизу! Что-то зоологическое, древних времен.

Царствие Божье, радость внутри нас самих. Для радости порою надо удивительно мало. Бывало, в гимназии, зацепится у учителя панталона за заднее ушко штиблета, — какой смех!

20 мая 1911 г.

Молились о дожде мужики, потом Бахтеяров, было отдание Пасхи, Вознесение — по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвоном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным.

Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был 14 лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: «выгнали за девочек, игумен поймал за *работой*…Я провиненный монах, значит». Почему хвастается? Думаю, что отчасти чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. «Что ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?» — «Черт меня теперь заставит работать!» В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, с длинными жидкими волосами, — и моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. «Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?» Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. «Ну, я теперь надолго житель!»

Ездили недавно в Скородное. Как чудесно! Был жаркий день, и какая свежесть и густота трав и зелени деревьев, какая прелесть полураспустившихся дубков! Великое множество мелких желтеньких цветов, — целые поляны ярко-желтые, — и желтых лилий, а больше всего все искраплено какими-то голубенькими, вроде незабудок. И уже много лиловых медвежьих ушек на их высоких стеблях.

Как-то вечером гуляли в Острове. Левитановские мягко-лиловые тучки, нежно-алые краски на закатном небе. И прелесть соединения свежести, сочности молодой зелени с запахом прошлогодней листвы. Необыкновенно тонкое время.

Вчера холод, осенние тучи. Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем.

Нынче ясно, весело, но ветрено и холодно.

Карпушка говорит вместо фокстерьер — фокстерьерц. Конечно, это гораздо более по-русски.

28 мая 1911 г.

Все последние дни лил дождь, холод ужасный.

Сейчас пять часов, резко потеплело. Заходила огромная лилово-синяя туча с юга, гремел гром. Против солнца она стала металлической, зелень сада на ее фоне необыкновенна. Мы с Колей смотрели к югу от людской. Глотовский сад, бахтеяровский, зеленая долина под Колонтаевкой — все образовывало чудеснейший пейзаж, теплый, весенний. Зелень кленов яркая, лозин и берез — нежная, бледная; на зеленях возле Колонтаевки — чуть синеватый налет. Прелестная серебристость старых тополей в лугу под глотовской усадьбой.

— Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж?

Молчит.

— Ну что ж ты молчишь? Немой, что ли? Что такое пейзаж?

— А я знаю?

— Ну, все-таки?

Помолчав:

— Лапша.

— Ты очумел!

— Ну матерко́м что-нибудь…

Стряпуха, его мать, ходила возле ограды, собирала в фартук желто-пуховых кривоногих утят, боясь нового дождя.

В церковной караулке часы часто останавливаются: мухи набиваются. Сторож бьет по ночам иногда черт знает что, — например, одиннадцать вместо двух.

5 июня 1911 г.

Настасья Петровна привезла в подарок Софье Петровне Ромашковой огромный белый платок, весь в черных изображениях черепов и костей, с черными надписями: «Святый Боже, Святый Крепкий».

Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. «Сюжет для небольшого рассказа». На варке у нее одна овца. Хороша жизнь и

овцы этой!

Мужик с култышкой (уродливый большой палец) и узким когтем вместо ногтя.

Ярыга, циник печник.

Дворянская близость с дворовыми и усвоенная, конечно, от них, дворовых, манера потешаться над собой, забавлять собой.

7 июня.

Приехал Юлий

Первый хороший день, а то все лютые холода и проливные дожди.

8 июня.

Юлий привез новость — умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли дрочить и покатывались со смеху, глядели, как он «старается», — а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие… Тоже «сюжет».

Монахиня, толстая старуха, белое лицо обрезано черным клобуком; в очках, в новых калошах.

20 июня.

Третий день хорошая погода.

Вчера ездили кататься на Знаменское. Лощинки, бугор, на бугре срубленный лес, запах костра. Два-три уцелевших дерева, тонких, высоких; за листвой одного из них зеркальная луна бобом (половинкой боба). Ехали назад мимо знаменского кладбища — там старики Рышковы и уже Валентин с ними. А на кладбище возле Знаменской церкви — наши: дед, бабка, дядя Иван Александрович, на которого я, по словам матери, будто бы разительно похож.

Нынче опять катались, на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается.

3 июля.

Изумительно — за все время, кажется, всего два-три дня хороших. Все дождь и дождь.

Ездили с Юлием и Колей в Слободу.

Нынче опять был дождь, хотя клонит, видимо, на погоду. Сейчас 6 часов, светло и ветрено, по столу скользят свет и тени от палисадника. Речка в лугу как огромное ослепительное, золотое зеркало. Только что вернулись от Таганка, стовосьмилетнего старика. Весь его «корень» — богачи, но грязь, гнусность, нищета

кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку.

Мужики «барские» называют себя, в противовес однодворцам, «русскими». Это замечательно.

Таганок милый, трогательный, детски простой. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет. Когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая борода. Трогательно худ, опущенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В лаптях. Ничего общего не может рассказать, — только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит — «так, — как зук находит». Ему не дают есть, не дают чаю, — «ничтожности жалеют», как сказал Григорий.

Говорит с паузами, отвечает не сразу.

— Что ж, хочется еще пожить?

— А бог ё знает… Что ж делать-то? Насильно не умрешь.

— Ну, а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?

— Что ж мне, ее приглашать, смерть-то? (И засмеялся, и глаза осмыслились.) Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет — вот и не идет.

— Так как же? Пять лет или год?

Думает. Потом нерешительно:

— Через пять-то годов вошь съест…

15 июля.

Уже дней десять — и без перерыва — дождь.

Я уже с неделю болен — насморк, бронхит. Вообще, когда же это кончится, мое самоубийство, летняя жизнь в Васильевском?

Нынче Кирики, престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, по-женски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и

почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один кострец высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: «Подайте, папашечки!» Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: «Ето считается по старинному заведению проказа». Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле.

Кирюшка рассказывает, что его родственник, «Трегубый», уже лет двадцать пьет, собирая на Иерусалим. Говорят, что в Рождестве ребята страшно франтят и пьют: «По двадцати целковых сапоги. Теперь новый народ пошел!»

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгаш обругал его.

Грязь страшная. Сейчас, после полдня, опять дождь. На гумне пахнет теплой и сырой землей и «бздюкой».

Для рассказа: бородатый, глаза блестящие, забитый курносый нос, говорит, говорит и налезает на человека.

19 июля.

Вчера и нынче первые хорошие дни, нынче особенно. Тихо, розоватое солнце сквозь голубой сухой тонкий туман.

Шесть часов. Все стало еще краснее от этого тумана. Река в лугу течет золотым красноватым пламенем.

Половина восьмого. Солнце в аспидной мути, малиново-огненное (особенно сквозь ветки палисадника).

Без двадцати восемь. Совсем помутнело, малиновое.

Юлий и Коля уехали в Ефремов, Софья в Орел.

29 июля 1911 г.

Все время отличная погода.

Ездили с Юлием на Бутырки. О, какое грустное было мое детство! Глушь, Николай Осипович, мать…

25-го уехал Юлий.

Идешь вечерком к Пескам — из-за Острова большая луна, сперва малиновая, потом оранжевая, и все прозрачнее и

прозрачнее.

Вчера вечером катались (с Верой и Колей), к лугам на Предтечево. Что за ночь была! И вообще какое прелестное время — начало августа! Юпитер низко на юге, Капелла на севере. Лозинки вдоль дороги, за ними луна. Слева, сзади — чуть алеющий закат, бледно-бледно-синие, необыкновенной красоты облака. Справа жнивье, бледное в лунном свете, телесного цвета. Рисового цвета ряды. Думал о поздней осени: эти луга, очень высокая луна, тонкий туман в лугах… Потом с грустью вспомнил Бутырки, ужин, самоцветные глаза собак под окнами… отец ложится спать под окнами в телегу…

Нынче Вера уехала в Лазавку.

Перед вечером опять было оранжево-золотое солнце и оранжево-золотой блеск в реке.

Сейчас 10 часов. Луна уже высоко, но она на каком-то непрозрачном небосклоне. Ночь вообще странная — тени от меня нет. Луна очерчивается на этом небосклоне розово-желтым, без блеску диском.

Лежали с Колей на соломе. О Петре Николаевиче — как интересна психика человека, прожившего такую изумительно однообразную и от всех внутренне сокровенную жизнь! Что должен чувствовать такой человек? Все одно и то же — дожди, мороз, метель, Иван Федоров… Потом о Таганке: какой редкий, ни на кого не похожий человек! И он — сколько этого однообразия пережил и он! За его век все лицо земли изменилось, и как он одинок! Когда умерли его отец и мать? Что это были за люди? Все его сверстники и все дети их детей уже давно-давно в земле… Как он сидел вчера, когда мы проходили, как головой ворочал! Сапсан! Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть. В 80 лет можно надеяться до 100 дожить. Но в 100? Больше не живут, смерть неминуема. А при таком долголетии как *привыкает* человек жить! <…>

30 июля.

Сейчас, перед обедом, ходили через деревню на кладбище. Пустое место среди изб — бугры глины, битого кирпича, заросшие лебедою, репьями. Двор Пальчикова, подсолнечники на гумне.

Кладбище все в татарках, ярких, темно-лиловых и розовых (другого сорта). И уже приметы осени — уже есть татарки засохшие, из одного шелковистого серого пуха, который будет осенью летать. В картофеле еще есть цветы. По валам чернобыльник.

«Наглый хохот черных женщин. Спросите ее об ее имени — хохот и вранье». Это из Гончарова. То же самое и в русской деревне.

«Голубое небо с белым отблеском пламени». Очень хорошо.

«Если вы ничего не знаете о жизни, что же вы можете знать о смерти?» Конфуций. <…>

2 августа 1911 г.

Погода непрерывно чудесная. Особенно хороши лунные ночи. Вчера, от половины десятого, с час гулял. Обошел весь сад. Уже кое-где хрустит под ногами точно поджаренная листва, чуть пахнет яблоками (хотя их нет), корой, дымком, кое-где тепло, кое-где свежесть. Просветы между стволами на валу. Стоял у шалаша. Какой чудесный пролет на старое кладбище, на светлое поле! Светлый горизонт, розоватый. Сухая наглаженная солома кое-где блестит на земле.

На что похожи копны в поле? Обрывки цепи, гусеницы.

Страстное желание (как всегда в хорошую погоду) ехать. Особенно на юг, на море, на купанье.

8 августа.

Еду в Одессу, пишу под Киевом, в вагоне.

1912

9 мая 1912 г.

Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь.

Потом в 5-м часу были у Тестова. Говорили о Тимковском, о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа.

Ресторан был совершенно пустой. И вдруг — только для нас одних — развеселый звон и грохот, кекуок.

19 мая. Глотово (Васильевское).

Приехали позавчера.

Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые салфеточки, грубые, серые; дети в новых штанишках.

Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скучная жара.

От Орла — новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, все родное, какое-то особенное, орловское; мужики с замученными скукой лицами. Откуда эта мука скуки, недовольства всем. На всем земном шаре нигде нет этого.

В сумерках по Измалкову. У одной избы стоял мужик — огромный, с очень обвислыми плечами, с длинной шеей, в каком-то высоком шлыке. Точно пятнадцатое столетие. Глушь, тишина, земля.

Вчера перед вечером небольшой теплый дождь на сухую сизую землю, на фиолетовые дороги, на бледную, еще нежную, мягкую зелень сада. Ночью дождь обломный. Встал больным. Глотово превратилось в грязную, темную яму. После обеда пошли задами на кладбище. Возвращались по страшной грязи по деревне. Мужик покупал на улице у торгаша овечьи ножницы. Долго, долго пробовал, оглядывал, торгаш (конечно, потому, что надул в цене) очень советовал смазывать салом.

Мужик опять точно из древности, с густой круглой бородой и круглой густой шапкой волос; верно, ходил еще в извоз, плел лапти, пристукивал их кочедыгом при лучине.

<…>

23 мая.

Встретил Тихона Ильича. Говорит, что чудесно себя, чувствует, несмотря на свои 80 лет, только «грызь живот проела». Сам себе сделал деревянный бандаж. «О! Попробуй-ка! Так и

побрехивает!» И заливается счастливым смехом.

Мужик Василий Старуха похож на Лихунчанга, весь болен — астма, грыжа, почки. Побирается, а про него говорят: «Ишь войяжирует!»

Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: «Ах, как бы я хотел прочитать «Лунный камень» Бальмонта!»

Из солдатского письма: «Мы плыли по высоким волнам холодного серого моря».

25 мая.

Все зацвело в садах.

Вчера ездили через Скородное. Избушка на поляне, вполне звериное жилье, крохотное, в два окошечка, из которых каждое наполовину забито дощечками, остальное — кусочки стекол и ветоши. Внутри плачет ребенок Марфутки, дочери Федора Митрева, брошенной мужем. А лес кругом так дивно зелен. Соловьи, лягушки, солнце за чащей осинника и вся белоснежная большая яблоня «лесовка» против избушки.

Нынче после обеда через огороды. Нищая изба Богдановых, полная детей, баб, живут вместе два брата. Дети идиоты. На квартире Лопата. Любовница Лопаты со смехом сказала, что он очень болен. Он вышел пьяный. Вид — истинный ужас. Разбойник, босяк, вся морда в струпьях, — дрался с любовницей. Пропивает землю и мельницу.

Был на мельнице. Разговор с Андреем Сима́новым. По его словам, вся наша деревня вор на воре. Разговор о скопцах. Мужик сказал про лицо скопца: «голомысый». Малый, похожий на скопца, жует хлеб и весело: «Вот выпил, хлебушка закусил, оно и поблажало».

<…>

7 июля 12 г. Клеевка, Себежский уезд.

Гостим у Черемнова.

В Глотове замучил дождь. Выехали оттуда 29 июня в Москву. В Москве пробыли до утра 4-го. Здесь тоже дождь.

Перебирали с Юлием сумасшедших, вернее «тронувшихся», в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова), Варвара Никол. (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Чубарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они «трогались» чаще всего только в старости.

Наше родословие: прадед — Дм. Семеныч, его дети — Ник.

Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын — Аполлон, а у Аполлона — Влад. и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге.

Яков Ефимыч рассказывал, что он иногда и теперь «кой с кем» занимается («займается»), — с какой-нибудь «пожилой бабочкой»:

— Ну, сделаешь ей там валёк (валёк для битья белья) — вот и расход весь…

Про смерть:

— Вона, чего ее бояться! Схоронят з'ызбой (за избой), помянут п…ой.

Про облака:

— Облака, они толстые, напревают, выспарение делают.

Ходил перед отъездом к Рогулину, записывать его сказки. Хозяева пьют чай, их мальчишка конфоркой от самовара об стену — и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее: она гудит и щекочет.

12 августа 12 г., Клеевка.

Девятого ходили перед вечером, после дождя, в лес. Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-синие ягоды на можжевельнике.

Десятого уехали в дождь Вера и Юлий; Вера в Москву, Юлий в Орел.

Нынче поездка к Чертову Мосту. В избе Захара. Угощение — вяленые рыбки, огурцы, масло, хлеб, чай. Дождь в дороге.

С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок.

1913

26 июля 1913 г., дача Ковалевского (под Одессой).

Нынче уезжает Юлий. А наступила дивная погода. Страшно жалко его.

Каждое лето — жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться — уже прошло! И сколько их мне осталось, этих лет? Содрогаешься, как мало. Как недавно было, напр., то, что было семь лет тому назад! А там еще семь, ну 14 — и конец! Но человек не может этому верить.

Кончил «Былое и думы». Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке — родной мне язык — язык нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени.

1914

Капри, 1/14 янв. 14 г.

Позавчера с Верой и Колей приехали на Капри. Как всегда, отель «Квисисана».

Горький и Кат. Павл. с Максимом уехали в Россию, он на Берлин, она на Вену.

Вчера встречали Нов. год: Черемновы, вдова революционера и «историка» Шишко с психопаткой своей дочерью, Иван Вольнов, Янина и мы.

Ныне весь день проливной дождь. Кляну себя, что приехал. Италия зимой убога, грязна, холодна, и все давно известно-переизвестно здесь.

2. 1. 14.

Проснулся необычайно поздно — в 9: дождь, буря (со стороны Амальфи).

Потом временами солнечно, временами сыро. Очень прохладно. <…>

Вечером на даче у Горького — там живет Шишко и мать Катерины Павл. — старозаветнейшая старуха: воображаю, каково ей жить ни с того ни с сего среди эмигрантов, бунтарей! И с трепетом в душе: шутка ли, за какую знаменитость попала ее дочка!

4. 1. 13(14).

Весь день мерзкая погода. В газетах о страшных метелях в России. Землетрясение на итальянских озерах.

Лень писать, вялость — и беспокойство, что ничего не делаю.

5. 1. 14.

Отчаяние — нечего писать!

Солнечно и холодно.

6. 1. 14.

То же. А день прелестный.

<…>

23. 1. 14.

Едем с Колей в Неаполь.

24. 1. 14.

Вчера из Неаполя ездили в Салерно. Удивительный собор.

Пегий — белый и черно-сизый мрамор — совсем Дамаск. Потом в Амальфи.

Ночевали в древнем монастырском здании — там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь.

Необыкновенно хорошо, только никаких муратовских сатиров.

25. 1. 14.

Выехали из Амальфи на лошадях. <…> Дивный день.

19. V1. 1914.

На корме грязь, вонь, мужики весь день пьют. Какой-то оборванный мальчишка бесстрастно поет:

Запала мысль злодейская:
Впотьмах нашел топор…

Приземистый, пузатый монах в грязном парусиновом подряснике, желтоволосый, с огненно-рыжей бородой, похожий на Сократа, на каждой пристани покупает ржавые таранки, с золотисто-коричневой пылью в дырах выгнивших глаз.

Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя. На пароходе пели молебен.

20. VI. 1914.

Половина девятого, вечер. Прошли Балахну, Городец. Волга впереди — красно-коричнево-опаловая, переливчатая. Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, — золотое, чуть оранжевое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп. На востоке половинка совсем бледного месяца.

Одиннадцать. Все еще не стемнело как следует, все еще впереди дрожат в сумраке в речной ряби цветистые краски заката. Месяц справа уже блещет, отражается в воде — как бы растянутым, длинным китайским фонарем.

21. VI. 14. В поезде под Ростовом Великим.

Ясный, мирный вечер — со всей прелестью июньских вечеров, той поры, когда в лесах такое богатство трав, зелени, цветов, ягод. Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце.

28. VII. 1914. Дача Ковалевского, под Одессой.

Половина двенадцатого, солнечный и ветреный день. Сильный, шелковистый, то затихающий, то буйно возрастающий

шум сада вокруг дома, тень и блеск листвы в деревьях, волнение зелени, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей акаций, движущийся по подоконнику солнечный свет, то яркий, то смешанный с темными пятнами. Когда ветер усиливается, он раскрывает зелень, и от этого раскрывается и тень на меловом потолке комнаты — потолок, светлея, становится почти фиолетовый. Потом опять стихает, опять ветер уходит куда-то далеко, шум его замирает где-то в глубине сада, над морем…

Написать рассказ «Неизвестный». — «Неизвестный выехал из Киева 18 марта в 1 ч. 55 дня…» Цилиндр, крашеные бакенбарды, грязный бумажный воротничок, расчищенные грубые ботинки. Остановился в Москве в «Столице». На другой день совсем тепло, лето. В 5 ч. ушел на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и что он тут.) В номере у себя весь вечер плакал — лакей видел в замочную скважину. От слез облезла краска с бакенбард…

1915

Москва, 1 янв. 1915.
<…>

14 января.
Все мерзкая погода. Телеграмма от Горького, зовет в Птб. <…>

16 января.
Непроглядный мокрый снег к вечеру. Поехали с Колей в Птб. Страшно ударила меня в левое плечо ломовая лошадь оглоблей. Едва не убила.

17 января 15 г.
Птб., гост. «Англия». Дивная морозная погода. Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленоватых шерстяных чулках.
Как беспорядочно несли вздор! «Вырабатывали» воззвание в защиту евреев.

18 янв.
Поездка на панихиду по Надсону. Волково кладбище. Розовое солнце.
Был в Куоккале у Репина и Чуковского. Вечером обедал у Горького на квартире Тихонова. Хорош Птб.!

19 янв.
Вечером с курьерским уехали из Птб. Хотели ехать в Новгород, но поезда ужасно неудобны (в смысле расписания).

28 янв.
Чествование Юлия. Почтили память худ. Первухина — нынче его похоронили.

29 янв.
Завтрак с Ильей Толстым в «Праге». <…>

7 февраля 15 г.
Вышла «Чаша жизни». Заседание у Давыдова об ответе английским писателям.

18 февраля.

Отпевание Корша в университетской церкви. Два епископа. Сильное впечатление.

Вчера ночью в 12 ч. 52 м. кончил «Грамматику любви». «Среда». Читали Шкляр, Зилов, Ляшко.

22. 2. 15.

Наша горничная Таня очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными бумагами, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает — медленно, с напряженьем, но с тихой улыбкой удовольствия на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется…

Как мы жестоки!

29 марта 1915.

<…> Слушал «Всенощное бдение» Рахманинова. Кажется, мастерски обработал все чужое. Но меня тронули очень только два-три песнопения. Остальное показалось обычной церковной риторикой, каковая особенно нетерпима в служениях Богу. <…>

<…> Рыба кета запала мне в голову. Я над этим и прежде много думал. Все мы такая же рыба. Но помни, о поэт и художник! — мы должны метать икру только в одно место. <…>

С корректурой для «Нивы» стало легче. Пишу для «Истории русской литературы» Венгерова автобиографию. Это мука. Кажется, опять ограничусь заметкой. <…>

9 мая, ресторан «Прага».

Рядом два офицера, — недавние штатские, — один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет — сразу назад от раздутых бровных дуг.

У метрдотелей от быстрой походки голова всегда назад.

Для рассказа: сильно беременная, с синими губами.

Все газеты полны убийствами, снимками с повешенных. А что я написал, как собаку давят, не могут перенести!

Вторник 30 июня, Глотово.

Уехал из Москвы 9 мая. Два дня был в Орле. Сюда приехал 12.

1 июля 15 г.

Погода прекрасная. Вообще лето удивительное. Собрать бы все людские жестокости из всей истории. Читал о персидских мучениках Даде, Тавведае и Таргала. Страшное описание Мощей

Дмитрия Ростовского. <…>

1 августа, Глотово.

Позавчера уехал Юлий, утром в страшный дождь. Кажется, что это было год тому назад. Погода холодная и серая. Вечером позавчера долго стояли возле избы отца так страшно погибшей Доньки. Какие есть отличные люди! «Жалко дочь-то?» — «Нет». Смеется. И потом: «Я через нее чуть не ослеп, все плакал об ней». Нынче вечером сидели на скамейке в Колонтаевке. Тепло, мертвая тишина, запах сырой коры. Пятна на небе за березами. Думал о любви.

2 августа 15 г.

Серо и холодно. Проснулся рано, отправил корректуру «Суходола». Во втором часу газеты. Дикое известие: Куровский застрелился. Не вяжется, не верю. Что-то ужасное — и, не знаю, как сказать: циническое, что ли. Как я любил его! Не верю — вот главное чувство. Впрочем, не умею выразить своих чувств.

<…>

7. VIII.

Тихий, теплый день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние.

Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать.

8 ч. 20 м. Ужинал, вошел в свою комнату — прямо напротив окно, над купой дальних лип — очень темно-зеленой — на темной, мутной, без цвета синеве (лиловатой) почти оранжевый месяц.

21 августа.

Две недели не записывал. Время так летит, что ужас берет. 14–19 писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пиша конец. Но вообще душа тупа. И не нравится. Не чувствую поэзии деревни, редко только. Вижу многое хорошо, но нет забвенности, все думы от уходящей жизни.

Годные гуляют, три-четыре мальчишки. Несчастные — идут на смерть, и всего удовольствия — порычать на гармонии.

В Москве, в Птб. — собственно говоря, «учредительное собрание».

Все глотовские солдаты — в плену.

<…> Вчера снимали Тихона Ильича. «Вот и Николаю Алексеевичу может идти в солдаты… Да ему что ж, хоть и убьют, у него детей нету». К смерти вообще совершенно тупое

отношение. А ведь кто не ценит жизни — животное, грош тому цена. <…>

1916

23. II. 16.

Милый, тихий, рассеянно-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское — так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях.

Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять-таки не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца-самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с нею) голова в пошло-картинном буйстве коричневых волос, в которых вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик и пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь, в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанной зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке, бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице.

Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве, о Михееве, о Случевском (вот страшная истинно петербургская фигура). <…>

На возвратном пути я говорил о том, какую огромную роль в жизни деревни сыграют пленные. Еще о том, что дневник — одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие.

17. III. 16.

<…> Нынче именины отца. Уже десять лет в могиле в Грунине — одинокий, всеми забытый, на мужицком кладбище! И уж не найти теперь этой могилы — давно скотина столкла. Как

несказанно страшна жизнь! А мы все живем — и ничего себе!

К вечеру свежей. В небе, среди облаков, яркие прогалины лазури. Мокрый блеск на коре деревьев.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды нельзя никуда пойти. До одиннадцати ходили по двору, от крыльца до скотного двора. Говорили о Тургеневе. Я вспомнил, как Горький басил про него со своей лошадиной высоты: «Парное молоко!» Я говорил еще, что Пушкин молодым писателям нравственно вреден. Его легкое отношение к жизни безбожно. Один Толстой должен быть учителем во всем. <…>

21 марта 16 г.

Вечером гуляли по задворкам, возле кладбища. Темь, туман. Сад виден неясно, рига совсем не видна, только когда подошли к ней, обозначилась ее темная масса.

Говорили об Андрееве. Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. Впрочем, м. б., и хуже — м. б., и самому кажется, что он пишет что-то великое, высокое. А пишет лучше всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито.

Дома нашли газеты и «Современный мир». Задирчивая статья Чирикова о Тальникове — Чириков «верит в русский народ!». В газетах та же ложь — восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало. «Народ, народ!» А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действительно несчастного народа?

22 марта.

Коля записал то, что я вчера говорил с ним, и принес мне эту запись: «Ив. Алекс. статьей Чирикова и газетами так взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? Кто дал ему на это право? Ах уж эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать. А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские

слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики, «чистые, святые, богоносцы, труженики и молчальники». Хвостов, Горемыкин, городовой — это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то — это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство, и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, недаром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то, и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: «мирские устои», «хоровое начало», «как мир батюшка скажет», «Русь тем и крепка, что своими устоями» и т. д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уж стало притчей во языцех. С другой же стороны — толстобрюхий полицейский поводит сальными глазками — это «правящий класс».

24 марта 16 г.

Яркий, настоящий весенний день. Крупные облака в серых деревьях, серые стволы имеют необыкновенно прелестный тон и глянец. Напоминает картины Бэклина.

После обеда стреляли в галок. <…> Какое-то приторное, гадкое впечатление. Мы еще совершенные звери. А из-за вала мрачно-равнодушно глядел какой-то рыжий малый. Собирается идти добровольцем на войну. Почему? Целый рассказ! — «А если убьют?» — «Ну, что ж. Все равно». <…>

25 марта.

Облачный день, на черно-жирных буграх остатки талого снега

— что-то траурное. Опять видели возле попа мужика, утопившего лошадь и розвальни в колдобине, полной воды и снега. Лошадь серая, лежит на животе, вытянув передние ноги и карабкается ими, а мужик бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят человеческие глаза. На помощь ему подошел другой, и оба долго, раздумывая и заходя с разных сторон, пытались ее вытащить.

Пьеса А. Вознесенского «Актриса Ларина». Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало! Герой — Бахтин — почему он с такой дворянской фамилией? — называет свою жену Лизухой. «Бахтин, удушливо приближаясь…» — «Вы обо мне не тужьте…» (вместо «не тужите») и т. д. О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!

Вечером на кладбище. Месяц блестит в перепутанных сучьях, большая Венера, но все-таки как-то сумрачно и траурно от земли и кое-где лежащего снега.

Потом небо стало туманиться и деревья стали еще тоньше и красивее.

Перечитал «Дядю Ваню» Чехова. В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать.

26 марта.

После обеда были на Казаковке, на мужицкой сходке. Изба полна. За столом несколько замечательных лиц. Лысый, с острым черепом старик в розовом полушубке; старик со вздернутым носом и хитрыми глазами; старик с желто-кофейным, морщинистым лицом; мужик с черной курчавой бородкой и ярко-румяными щеками, все время игравший как на сцене. Очень хорош, как всегда для меня, запах полушубков. <…>

27 марта.

После обеда сидели в избе Ивана Ульянова. Очень милый старик с постоянным приятным смехом. Две половины. Первая маленькая, с мокрым земляным полом. Тут всегда сидит полуслепая старуха. Во второй — с выбеленными стенами и горшочками для цветов на окнах — живет он сам и его жена, пожилая и уже вянущая. Вошли — она за работой возле окна, он на хорах в полушубке, курит. Солнце ярко освещает часть избы. <…>

А как влияет литература! Сколько теперь людей, у которых уже как бы две души — одна своя, другая книжная! Многие так и живут всю жизнь начитанной жизнью.

30 марта.

На крыльце у Александра Пальчикова. Богат, а возле избы проходу нет от грязи и навозу. Полушубок, кубовая рубаха, видная из расстегнутого ворота, серо-серебристая борода. Весеннее небо, жидкие облака, ветер дует в голые деревья, качает их, а он говорит: «Ничего не будет после войны, все брешут. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят». С большим удовольствием рассказывал, как ему на службе полковник раз «засветил пощечину». Крепостного права не хочет, но говорит, что «в крепости» лучше было: «Нету хлеба — идешь на барский двор… Как можно!»

Роман Григорьевой в «Совр. мире». Ее героиня, «легкая, воздушная», «затесалась в толпу…». Кончена русская литература!

1 апреля.

<…> Больной старик греется на солнце возле избы. Задыхается. В нашу победу не верит. «Куда нам!» <…>

Коля рассказывал, что встретил в «Острове» двух почти голых ребятишек — в рваных лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили хворост, увидали Колю — испугались, заплакали… И для этого-то народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!

2 апреля.

Фельетон Сологуба: «Преображение жизни». Надо преображать жизнь, и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преображает, пиша. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители.

5 апреля.

Жаркий последождевой день.

Охота в Скородном на вальдшнепов. <…> В лес пошли от караулки. В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы грозовых облаков. Гремел гром. По низам прохлада, колокольчиками звенят птицы. Кое-где снег, ослепительный на солнце, на нем легкие лазурные отблески неба.

Возле караулки Настька моет калоши, собирается в церковь. Желтое, страшно яркое на солнце платье. В избе дышать нечем, натоплено, все купались. Федор с мокрыми волосами, розовый.

При возвращении домой на несколько минут густой быстрый дождь. Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не

интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. «Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало, зайдешь в лавку…» и т. д.

8 апреля.

Уезжаем в Москву, на Становую, на тройке. <…>

Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато Анджелико, и Барыбой Городецкого. <…>

23 мая 16 г., Елец.

У парикмахера. Стрижет, и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился от привычки быть изящным): дамский монастырь.

Для рассказа: встречный пароход на Волге всегда страшно быстр; ночь, уездн. город. Крепкий костяной стук колотушки.

Беллетрист. Пошлость: «Белая, как дебелая купчиха». <…>

Пьяный мужик шел и кричал:

Проем усе именье.
Сам зароюсь у <нрзб.>.

В этом вся Русь. Жажда саморазорения, атавизм.

26. VI. 16.

Гнало ветром дождь. Сейчас — 7 часов вечера — стихло. Все мокро, очень густо-зелен сад. За ним, на пыльной туче, бледная фиолетово-зеленая радуга. Хрипел гром. <…>

27 октября 1916 г.

Читаю записки В. Бертенсона «За тридцать лет». Еще раз убеждаюсь в ничтожестве человеческих способностей — сколько их, людей, живших долго, видевших очень многое, вращавшихся в обществе всяких знаменитостей и обнаруживших в своих воспоминаниях изумительное ничтожество. Вспоминаю книгу Н. В. Давыдова — то же думал и ее читая.

Прочел (перечел) «Дневник Башкирцевой». <…> Все говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и

мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава Б. (основанная ведь больше всего на этом дневнике) непомерно раздута. Снова очень неприятный осадок от этого дневника. Письма ее к Мопассану задирчивы, притязательны, неуверенны, несмотря на все ее самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и в конце концов пустяковы. Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно умствовать; и все — наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования. <…>

Мой почерк истинное наказание для меня. Как тяжко и безобразно ковыляю я пером. И всегда так было — лишь иногда немного иначе, легче.

Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять-таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, — какое великое душевное разочарование принесла она мне!

24 уехала Вера, на тройке, на Становую. Мы с Колей на бегунах провожали ее до поворота на Озерскую дорогу. <…>

Коля по вечерам мне читает. <…> Продолжаем «Мелкого беса». Тоже хорош! *Не запомню* более скучной, однообразной книги. <…> В стихах у него был когда-то талант. <…>

28 октября 16 г.

Почти весь день тихо, тепло, туман. Ходил с ружьем за голубями. Кисловато пахнет гнилью трав и бурьянов, землей.

Ночь изумительная, лунная. Гуляли, дошли до пушешниковского леса. Вдали, низко по лесной лощине, туман — так бело и густо, как где-нибудь в Нижегородской губ.

29 октября 16 г.

Не запомню такого утра. Ездили кататься — обычный путь через пушешниковский лес, потом мимо Победимовых. С утра был иней на деревьях. Так удивительно хорошо все, точно это не у нас, а где-нибудь в Тироле.

Писать не о чем, не о чем!

4 декабря 16 г.

Четыре с половиной часа. Зажег лампу. За окнами все дивно посинело. Точно вставлены какие-то сказочные зелено-синие стекла.

Вчера прекрасный морозный вечер. Кривоногие китайцы-

коробейники. Называли меня «дядя».

1917

11 июня 17 г.

Все последние дни чувство молодости, поэтическое томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече…

В ночь на пятое Коля уехал в Елец — переосвидетельствование белобилетчиков. Все набор, набор! Идиоты. <…>

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней и Колей, а по дороге заеду к Ильиным. Вечером Антон (австриец) отвез меня на Измалково. На станции «революционный порядок» — грязь, все засыпано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат; сидят на полу, и идиотски кричит Анюта-дурочка. В сенях вагона 1-го класса мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов — и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентских, обывательских депутатов? <…>

15 июня 1917 г.

10 часов веч. Вернулись из Скородного. Коля, Евгений (который приехал вчера с Юлием из Ефремова) и Тупик ездили в усадьбу Победимовых, я, Юлий и Вера пошли к ним навстречу. День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скородному — среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон — пересмешник и пр. Возвращались — уже луна над морем ржей.

У Бахтеяровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, не дали отправить.

Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотворная икона Николая Угодника. Мужики, говоря, что все это «обман», постановили «изничтожить» эту икону. Но 9-го мая разразилась метель — испугались.

Тупик говорит, что в с. Ламском мужики загалдели, зашумели, когда в церкви запели: «Яко до царя»: «Какой такой теперь царь? Это еще что такое?»

В Ефремове в городском саду пьяный солдат пел:

Выну саблю, выну вострy
И срублю себе главу —
Покатилася головка
Во зеленую траву.

Замечательно это «себе».

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: «Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши». <…>

7 июля.

<…> О бунте в Птб. мы узнали еще позавчера вечером из «Раннего утра», нынче вести еще более оглушающие. Боль, обида, бессильная злоба, злорадство.

Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу.

13 июля 17 г.

Все еще мерзкая погода. Холодно, тучи, сев. — западный ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику. <…>

27 июля 17 г.

Счастливый прекрасный день.

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, — рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, — совсем неизвестные мне, — только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого.

Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, — открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля, — так хорошо знаю я все малейшие особенности воздуха, солнца всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет и глядит зеленая

густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвой, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу и то замирающая, затихающая, то волнующаяся и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. В другие окна я вижу прежде всего ветви и сучья старых деревьев — серебристого тополя, сосен и пихт, — и бледно-голубое небо среди них, а ниже, между стволами, деревенскую даль: слегка синеющий на горизонте вал леса, желтизну уже скошенных и покрытых копнами полей, ближе — раскинувшееся по склону к мелкой речке поместье Бахтеярова, а затем, уже совсем близко, — старую низкую ограду нашей усадьбы, молодые елки, идущие вдоль нее, и часть двора, густо заросшую крапивой, — и глухой и жгучей, — которую припекает солнце и над которой реет крупная белая бабочка. Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!

И течет, течет мое спокойное, родное, счастливое деревенское летнее утро. Смотрю на пятна тени, косо испещрившей под елками ограду, на крапиву, на бабочку; потом на тихо колеблющуюся возле окон серо-зеленую бахрому корявых горизонтальных сучьев пихты, на воробьев, иногда садящихся на солнечный подоконник и с живым, милым, как будто чуть-чуть насмешливым любопытством оглядывающих мою комнату. Не слушая, я слышу то непередаваемое, летнее, как будто слегка завораживающее, что производят летающие вокруг меня и роящиеся на подоконнике мухи, слышу шорох сада, отдаленные крики петухов — и чуть внятную детскую песенку кухаркиной девочки, которая все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее маленькому бедному существованию в этом никому из нас не понятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробку с картинкой… Я слушаю эту песенку, я думаю то о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, — молодость, любовь, надежды, — то о том, где теперь косят работники, — верно уже у Крестов, — то о Тиверии, о Капри… Почему о Тиверии? Очень странно, но мы не вольны в своих думах. И я представляю себе вот такое же, как сейчас, летнее утро, с тем же самым солнцем, что горит на моем подоконнике, и совершенно ясно вижу белый мраморный дворец на горном обрыве острова, столь знакомого мне, и этого человека, которого называли императором и который жил, в сущности, очень недавно, — назад тому всего сорок моих

жизней, — и очень, очень немногим отличался от меня; вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака…

Во втором часу вышел из дому, пошел в сад по липовой аллее, в конце которой, за воротами, светлело, белело небо. Земля суха и тверда, приятно идти, на земле лежат уже кое-где палевые листья. Солнце скрылось, потускневший сад был под синеватой тучей, заходившей с юга, — очень хорошо. За воротами серо-зеленые бугры кладбища (давно упраздненного), дальше открытое поле, желтое, покрытое где-то копнами, кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними на севере, сладкий, еще совсем летний ветер дует с юга из-под тучи, и еще по-летнему доносится хлопанье перепела.

Четвертый час. Крупный ливень, град, — даже крыша от него дымилась как будто. К северу из-за тучи белая гора другой тучи и млеющий синий яхонт неба. В комнате с решетчатыми окнами сырая свежесть, запах дождя, мокрой крапивы, травы.

Пять часов. Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую свежесть, в одной рубашке — необыкновенно приятно, но почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Все дождь — до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться. Сейчас шесть. В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зелено-желтого света.

Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!

<…>

3 августа.

Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнце зной. Дальние местности в зеленовато-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф[едору] Д[митриевичу] за медом. Возвращались (перед закатом), обогнув

Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!

4 августа.

Ночью уехал (в Ефремов) Женя. Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, — представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

«Новая жизнь» по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из «Крестов» <?> — напечатано в «Новой жизни».

День — лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья — он счастлив. Это и есть счастье.

8 августа.

Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он — полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Идеальный августовский день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе…

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавчонки. Возле элеватора что-то тянут — кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой — встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка — à 1a художник.

9 августа.

Ездили с Верой в Предтечево. Жаркий дивнык день. Поехали к Романовским за медом, не доехали — далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым. <…>

11 августа.

С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложкой. Беспокойное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожках — я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу — грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

13 августа.

Как и вчера, день с разными тучками и облаками, — небом <?> необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз и прежде) — они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас <…> Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!

Кажется, одна из самых вредных фигур — Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои.

Читал «Наше сердце».

«Хвост и ухи отрубить (собаке) — злей будет». Как глупо!

14. VIII.

Проснулся от юношески сильной эр[отики], — сон, что мне отдалась в первый раз какая-то девушка, чарующая какой-то простой прелестью.

Девка на варке что-то работает лопатой железной — заносит высоко и ставит ногу на лопату — видел это, выйдя на двор днем,

и волновался.

Кончил «Наше сердце». Искусно, местами очень хорошо, но остался холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковом. Герой совсем не живой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

Утром немного [работал] над «Любовью», немного так — одесское утро (начало — чего, еще не знаю).

Облака и солнце. После обеда я, Юлий и Вера в Колонтаевку. Жара. Вера после болезни еще — прозрачней, что ли. Зашел в контору, там наговорил глупостей с Каблуковым и Дм. Алекс., взял «Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье, «я, я» — и опять и направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя. Городской голова — Руднев! до сих пор не могу примириться! — приветствует совещание, а управские курьеры хулиганят в знак протеста против этого «контрреволюционного» совещания — вылили чернила из всех чернильниц — и управа не работала! Зайчик (солдат наш), «как капля солнца», отражает в себе все главное русской демократии (тот, что прогнал девиц из Ельца, переписывавших хозяйство мужиков, и кричал, чтобы мужики, выбиравшие представителей на выборы в церковный собор, не подписывались — «вас в крепостное право хотят обратить»).

К вечеру свежий ветер с юга, тучи. Лежал на соломе. Облака на восточном горизонте изумительны. Гряды, горы бледно, дымчато-лиловатые (сквозь них бледность белизны внутренней) — краски невиданной у нас нежности, южности.

15 августа.

Весь день с небольшими перерывами сильный прямой дождь (обрушивался еще ночью, я слышал сквозь сон). Бахтеяровская сторона как в дымке. Все еще очень зелено и густо, поэтому похоже на летний дождь.

Засыпая вчера, обдумывал рассказ. Конец 20-х годов, Псковская губерния, приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется, в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует, и она его любит. Объяснение. «Не могу». Почему? Была в летаргии, побывала в могиле. Нынче другой рассказ. А[н]гличанка с термосом. Всюду встречаю — Бренер-Пасс, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир «very nice»[12]. Нехороша; как ребенок, радостна.

На висячей зелени-хвое за окном висят бисером стеклянные капли. Плещет желоб. Статья Кусковой. «Репрессиями не

поможешь. Нужно просвещать деревню. Футбол и т. д.».

16 августа.

Шипит сад, волнует, шумит дождь. Ветер, дождь часто припускает. Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, — волновался, грезил, думая о путешествии Бауку в Финикию, потом читал Вернон Ли и думал о Неаполе, Капри, вспоминал Флоренцию.

Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!

17 августа.

День прекрасный. Много гуляли с Юлием. Часу в пятом пошли мимо кладбища, потом по лугу в лес, называемый нами «Яруга».

Ночь лунная. Гуляли за садом. Шел по аллее один — соломенный шалаш и сад, пронизанный лунным светом, — тропики. Лунный свет очень меняет сад. Какое разнообразие кружевной листвы, ветвей — точно много-много пород деревьев.

18 августа.

В час уехал Юлий — в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но только при разлуке чувствуешь это. Потом — сколько еще осталось нам этих лет вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно остается их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тупы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?

Читаю эти дни Вернон Ли «Италия». Все восторгается, все изысканно и все только о красивом, о изящном — это скоро начинает приводить в злобу.

20 августа.

Большинство женщин беспокойно мучается недовольством своей жизнью, ищет «цели жизни», изменяет или ждет любовников в надежде, что тогда придет счастье — почему? Оне растут, оне воспитываются в сознании, им всячески внушают, что оне непременно должны быть счастливы, любимы и т. д.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю. Случалось —

увидишь во сне, что был близок с какой-нибудь женщиной, с которой у тебя в действительности никогда ничего не было. После долго чувствуешь себя связанным с нею жуткой любовной тайной. Не все ли равно, было ли это в действительности или во сне! И иногда это передается и этой женщине.

Вчера ездили с Верой на шарабане кататься — к Крестам, потом в Скородное, и вокруг него — обычная дорога, только наоборот. День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля) — поля за садом, идущего вверх покато — и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе — и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!

Читал (и нынче читаю) «Завоевание Иерусалима» Гарри. Много времени, как всегда, ушло на газеты. Керенский невыносим. Что сделал, в сущности, этот выскочка, делающийся все больше наглецом? Как смел он крикнуть на Сахарова «трус»?

Все читаю Мопассана. Почти сплошь — пустяки, наброски, порой пошло.

Нынче серо, прохладно, прохлада уже осенняя. Все утро звон — кого-то хоронят. Поминутно, с промежутками: «блям!» Вот кого-то несут закопать… как мы равнодушны друг к другу! Ведь, в сущности, я к этому отношусь как к смерти мухи.

Все гул, гул молотилки паровой последние дни — у Барбашина.

21 августа.

Серый, со многими осенними чертами, с много раз шедшим дождем день. Пели петухи, ветер мягкий, влажный, с юга, открыта дверь в амбар, там девки метут мучной пол, — осень! Свежая земля в аллеях уже сильно усыпана желтой листвой. Листья вяза шершавые, совсем желтые.

Перечитываю «Федона». Этот логический блеск оставляет холодным. Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!

В девять вечера вышли с Верой — ждали Антона и Колю со станции, пошли к бывшей монополии. Луна была еще низко над нашим садом. Многое еще в очень длинных тенях. Над бахтеяровской стороной ужасное и мрачное величие сгрудившихся туч, облаков (против луны). Белизна домов там — точно это итальянский городок. Коля опять не приехал.

Газеты. Большевики опять подняли голову. Мартов… требует

отмены смертной казни.

В 10 1/2 вышел один гулять по двору. Луна уже высоко — быстро неслась среди ваты облаков, заходя за них, отбрасывала на них круг еле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от варка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенны, точно бёклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях — и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

11 1 /2 ч. Лежал в гамаке, качался — белая луна на пустом синем небе качалась как маятник. В спину дуло.

22 августа.

Дождь льет, но день вроде вчерашнего. Начал читать Н. Львову — ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы — лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т. д. — смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.

Дочь Аннета. Какая-то почти жуткая девочка, очень крупная, смесь девочки и женщины, — оттого что очень рано стала б…, должно быть?

«Учение есть припоминание». Сократ.

Последние минуты Сократа, как всегда, очень волновали меня.

Вечером приехали Коля с Евгением. Коля в Ефремове все задыхался.

Взята Рига. Орлов рассказывал Коле — где-то церковный сторож запретил попу служить, запер церковь — поп «буржуй», «ездил в гости к Стаховичу».

23 августа.

Вчера после обеда дождь лил до восхода луны, часов до десяти. Нынче часов с двенадцати опять то же. Похолоднело. Лес за Бахтеяровым в тумане.

Думал о Львовой, дочитав ее книгу. Следовало бы написать о

ней рассказ.

Читаю «Стихи духовные» (со вступительной статьей Ляцкого).

Почти весь день нельзя выйти — очень часто осенний ливень.

Вечером Антон привез газеты, письмо Юлия. Юлий с вокзала заплатил извозчику одиннадцать рублей. В газетах — ужас: нас бьют и гонят, «наши части самовольно бросают позиции». Статья Кусковой — «Русские кошмары» — о мужиках, как они не дают хлеба и убивают агентов правительства, разъясняющих необходимость реквизиции хлеба. «Разруха ли»!

24 августа.

С утра сильный ветер, часто припускает дождь.

Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих — «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!

6 ч. 20 м. Свет солнца с заката в комнате — на правой притолоке двери, кусок на красной материи на отвале кровати и на стене над кроватью (на южной стене) — желтый с зеленоватым оттенком. Эти светлые места все испещрены колеблющейся тенью деревьев палисадника, волнуемых ветром. Кажется, переходит в погоду. Читаю стихи Гиппиус «Единый раз вскипает пеной…».

26 августа.

Позавчера вечером были с Верой у Лозинских, — у них оказалось «Русское слово» за двадцать третье. Мы ходили при луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли. Аресты великих князей, ужасы нашего бегства от Риги, корпус бежал от немецкого полка, переходившего Двину.

Вчера было прохладно и серо, вид уже совсем осенний. Нынче поминутно дождь, ветер косо гонит его, мелкий, с северо-запада, бахтеяровская сторона часто в тумане.

Вчера мы с Колей ходили к Пантюшку. Он ничего, но подошли бабы. Разговор стал противный, злобный донельзя и идиотский, все на тему, как господа их кровь пьют. Самоуверенность, глупость и невежество непреоборимые — разговаривать бесполезно.

Нынче читаю о Владимирско-Суздальском царстве в книге Полевого. Леса, болота, мерзкий климат — и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим — и отвратительно.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.

27 августа.

День серый и холодный. Вечером приехал Митя. Его рассказ о трех юнкерах.

28 августа.

Солнечный прохладный день.

29 августа.

День еще лучше. Ходили в контору — я, Вера, Митя. Жуткая весть из Ельца — Митя говорил по телефону: Корнилов восстал против правительства. В четыре часа пошли низом в Колонтаевку. Возвратясь, опять зашли в контору. Весть подтверждается. <…>

30 августа.

Ездили с Митей в Измалково. На почте видел только «Орловский вестник» 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более — социалистов-революционеров и социал-демократов — «Корнилов изменник». Волновался ужасно.

31-го.

Телефон из Ельца — Орлов и Арсик — что «состоялось соглашение». Дико! Вера утром уехала с М. Н. Рышковой в Предтечево. Поехали за ней с Митей. Там «Новое время» и «Утро России». Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером газеты — «Русское слово» от 29 и «Р[усский] г[олос]» <? > от 30-го. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание Керенского: «Всем! всем! всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

Нынче весь день угнетен, как не запомню. Снова звонил Митя в Елец. Оказывается, нет, не все еще кончено, «только ночи настали», сказал К., будто взят Курск Калединым.

В пятом часу поехал в Жилых за рисом. Дни были хорошие, нынче серо, прохладно, все беззвучно, неподвижно.

В Жилых у плотины девочка навстречу. «Где потребиловка?» — «Вон на той стороне, где камни на амбаре». Двойная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлебы. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то «объяснить». На взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал «солдатом», и молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: «Покурить!» Мужиков это

возмутило — «всякий свой должен курить!». Он: «Тут легкий». Я молча дал. Когда он ушел, «Солдат» рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали — и без результату: «Нынче спички дешевы… сожжет, окрадет». Вечером газеты, руки дрожат.

2 сентября.

С половины дня ливень и до ночи. И ночью, хотя уже не такой — до утра. «Русское слово» от первого.

3 сентября.

Утром «Русское слово» от 2-го. Опять подлая игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались. Первый день я сравнительно спокойней. С утра дождь, потом распогодилось. Но все насыщено водой.

4 сентября.

Письмо от Юлия. Он еще лечится. Это ужасно. Неужели это не придет в норму или будет повторяться?

«Русское слово» от 31-го и 1-го. В совете рабочих депутатов Каменев и Стеклов говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

Серо, потом то дождь, то солнце. Сейчас полдень. Уехал Евгений.

К вечеру распогодилось.

В десятом часу вечера — газеты. *Государственный переворот!* Объявлена республика. Мы ошеломлены. — Корнилов арестован.

Воля Гоца, Дана, Либера и т. д. восторжествовала — Россия в их руках! Что же значили эти переговоры Керенского с Кишкиным?! — Авксентьев, Либер в ужасе: «Каледин!»

Заснул почти в два часа.

Ночь была очень светлая, небо засыпано чистейшими звездами.

С неделю уже ровно ничего не делаю.

7 сентября.

Уехал Митя. Мы с Колей ездили по предтечевским лугам, потом через Победимовых и Скородное домой, было солнечно, лес уже по-осеннему в свете и волнении. Мужики все рубят и рубят леса. К вечеру опять на дождь, ехали назад, на севере — мертв[енно]-синеватые облака.

8 сентября.

Погода светлая, хорошая. К вечеру приехал Мишка, возивший

Митю: опоздали на поезд, поехали в Елец.

Был в конторе. Сын медника, рабочий, приятный, хорошо осведомлен, но кое в чем путается. И против большевиков, и «Новую жизнь», увидав у меня, назвал «хорошей газетой». Я послал с Митей отказ в «Новую («Свободную») жизнь».

9 сентября.

Ночью была ужасная гроза, ураган. Нынче хорошо, ветрено, солнечно.

Были на Жадовке, у Сергея Климова. Все в один голос одно: «Корнилов нарочно выпущен немцами» и т. д. В этом и весь призыв его.

Клен в жадовском саду — цвета кожи королька, по оранжевому темно-красное.

Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый — и вдруг одно дерево, сплошь все в листве прозрачно, багряно-розовой с фиолетовым тоном крови.

Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!

Сейчас пишу — по рукам, тетради желтый свет заходящего солнца. Оно садится за бахтеяровской усадьбой, как раз против спуска с той горы. По моим часам около шести.

Сергей Климов: «Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие».

11 сентября.

Все пустые дни! Читал Жемчужникова «Анну Каренину». Приехала М. Ник. Рышкова. Погода холодная, переменчивая, дурная.

<…>

15 сентября.

Проснулся в 6 1/2, еще солнце не показалось; утро удивительное, росистое. День еще лучше. Совсем лето. Все аллеи усыпаны листвой. Читал Минского. Прочел сорок восемь страниц. Ужасная риторика!

Коля все еще болен. Еле выбрался в сад, сидел на скамейке с Верой. Алекс. Петр. плача рассказывал про Ваню.

Газеты. На советы наросла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова. Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба.

В пять поехали с Верой в Скородное и вокруг него. По дорожке среди осинок. Еще не желтые осинки, но дорога вся

усыпана их листвой круглой — сафьян малиновый, лимонный, палевый, почти канареечный есть. Когда выехали, чтобы повернуть направо, кто-то среди деревьев на опушке что-то делал лежа; красного солнца осталось уже половина. Месяц довольно высоко, — *зеленовато*-белый, небо под ним гелиотроповое почти. Хороша та дорога, где всегда грязь! Глубокие колеи — все возят тяжелое, все воруют лес. Возле места, где была Караулка, стояли, вертел курить, дивились на красоту: месяц впереди, в левом направлении, над лесом, кое-где желтые высокие, стройные деревца (кажется, клены), закат направо совсем бесцветный, светлый. Под месяцем <?> опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бумаги. Вера смотрела направо — дивилась, как зубчата линия леса — на закате. Дальше по просеке — дороге трудно ехать — так много сучьев. Уже темнело (в глубине-то леса). Выехали на опушку, чтобы повернуть направо (караулка), постояли, опять подивились — хорош был кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывший светло-палевым, обмакнули в воду с кровью.

Как осенью в лесу, в чаще, вдруг видишь: светит желтизной, выдвинулась ветка орешника. Даже жутко. Когда проехали Победимовых, повернули направо, стали спускаться с горы, закат уже краснел, а луна (направо, над лощиной, полной леса) была на сером, освещенном ею небе. Вообще небо было почти все серое, чуть в глубине синеватое.

Как странно все освещает осенняя заря! — сказал Вере, поднимаясь в гору.

16 сентября.

Все то же: пустота ума, души, довольно тупое спокойствие. Дочитываю «Каренину». Последняя часть слаба, даже неприятна немного; и неубедительна.

<…>

17 сентября.

Довольно сильный и прохладный ветер. Сад сипит, кипит. Почти все небо в грифельной мути, облачности. Светлее, где солнце. Еще больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин.

Гляжу на бахтеяровский сад: местами — клубы как будто цветной капусты этого цвета.

Вчера, едучи мимо пушешниковского леса, видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к Победимовым), целый островок желтого (в которое пущена красная краска — светлая охра? Нет, не то!) — особый цвет осенних берез.

11 1/2 ч. дня. Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?

Были облака, ветер. Ночь была поразительно ясная, луна чиста необыкновенно, в небе ни единого облачка, так все продрал резкий ветер.

22 сентября.

Ездили с Верой в Озёрки. Хороший день, но ветер, довольно прохладно, а когда возвращались зарей, то и совсем.

26 сентября.

Два дня были необыкновенно хороши — солнечные, теплые. Вчера отправил письмо Кусковой. Был дождь!

Нынче холодно, низкие синеватые небосклоны с утра. После обеда гуляли втроем. Дивились на деревья за сараем, с поля из-за риги — на сад: нельзя рассказать! Колонтаевка — и желтое, и черно-синее (ельник), и что-то фиолетовое. Зеленее к Семен[о]вкам — биллиардное сукно. Клены по нашему садовому… необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху — удивительно раскрыта.

Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.

Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!

<…>

3 октября.

Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы. Скородное издали — какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ремерский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, — знакомая; выскочил тот старик, радостно-шальной, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофаныч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. «Как ты попал сюда?» — «Позвольте, сейчас…» Страшно-радостно и таинственно: «Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча… Борис Борисыч отвечает…» (вместо

«говорит» и очень часто не кстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда — сзади нас, как въезжали на гору — предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья — главное рыже-бронзовое, бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят серебряной слюдой, луч[езарными] звездами в доме, издали. В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой — поразил: IV <?> в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только Осиновые Дворы! И *не может* интересов[аться] другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины!

Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз в пору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя заря почти бесцветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть з[е]леноват, и заря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т. д., лишь яблони [в] золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.

Правительство «твердо решило подавить погромы». Смешно! Уговорами? Нет, это *не ему* сделать! «Они и министры-то немного почище нас!» Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем — бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, «мы большевики, протолериат, на нас не обращают внимания, а вон немцы…». Младенцы, полуживотная тьма!

Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения <нрзб.>.

Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том «Нивы» в переплете).

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса — лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! С

револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством — не могут, *не хотят* за всю историю.

Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами.) Шли дорожкой — впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это — сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Бёклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!

Возле бахтеяровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!

4 октября.

Вчера было радостное возбуждение — подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на «главном» клене. Потом ветер. Часов с трех повернул — с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера — оне… ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).

Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит! <…>

5 октября.

Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул, — с северо-запада. Вызвездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца — как раз против меня был (над садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, высоко над Тельцом гнездо бриллиантовое — Плеяды.

Нынче очень холодно, ветер почти с севера, солнечный день. Ездил с Колей к Муромцевым. Как хороша его усадьба с этими деревьями в остатках осенней листвы (когда ехали, поразило Скородное далекое <нрзб.>, мех (пух, что ли) зверя — дымчато-серых, кое-где клоки рыжеватой шерсти еще не ощипаны. Далекий лесок под Щербачевкой — цвета сухой малины. Прочие лесочки за <нрзб.> — все бурое <…>

Петруха, кучер Муромцевых: «Все начальники продают… Мне

племянник пишет, он брехать не будя». — Послал книгу Милюкову. (Дня три тому назад — Белоруссову.)

6 октября. Рано, в шесть, проснулся. Подавленное состояние. Отупел я, обездарел, как живу, что вижу! Позор!

Туман, вся земля белая, твердая. Пошел гулять — кладбище (оно еще в траве) теперь под сединой изморози — малахитовое, что ли.

Лозинский едет в Измалково. Зашел к нему. Сиденье тележки, козлы — как мукой осыпаны. Сад Бахтеярова в тумане грязно темнеет.

Послал книгу Бурцеву (всем одно — 5–6 томы «Нивы»).

Вчера читали записку Корнилова. И Керенский молчок! И общество его терпит!

Почти полдень. Горизонт туманен. Тихий, тихий беззвучный день. Так мертва, тупа душа, что охватывает отчаяние.

* * *

Десять часов вечера. Гуляли немного за садом, потом по двору. В сущности, страшно. Тьма, ледяная мгла вдали едва различима, но все-таки видна.

Днем выходил: все былинки, полынки седые от инея. Туман (холодный <нрзб.> весь день). Остров — грязноватое что-то, цвета приблизительно охры, что ли. Лозины деревни вдали — зеленовато-серые… <нрзб.>. Бахтеяровский сад и темно-желтоват и буроватое и т. д. У нас в саду возле вала листва — цвета мути, немного желтее.

Записка Алексеева. Что же русское общество не тянет за усы Керенского?!

Хам уже давно в русском обществе. Все, что было темного, наглого, противоестественного <?> в литературе за последние двадцать лет — не то же ли, что теперь в общественной жизни? Что же, дивились словам Горького, Андреева, Скитальца? А теперь — Керенские, Гвоздевы!

7 октября.

Заснул вчера в 11, проснулся нынче в восемь. Несмотря на это, чувство тупости, растерянности еще сильнее. Утром письмо Юлия к Вере от 27 сентября. Мы все очень огорчились: каждый день будни… Ужасно!

День дивный, солнечный, бодрый; ходили в Колонтаевку — похоже все на то, как мы видели в прошлую прогулку туда. —

Письмо от Кусковой. Отвечаю.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, тихая, с великолепнейшими звездами. Мертвая тишина. Юпитер, Телец, Плеяды очень высоко. (Над юго-западом.) На юго-западе Орион. Где Сириус? Есть звезда под Орионом, но низко и слабо видна.

Листва точно холодным мылом потерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) — деревья на валу идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, *идет вместе со мною вперед*. Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад — все обратно. То же и на аллее. А я писал в «Таньке»: «звезды бежали *навстречу*». Глупо.

Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листопад.

О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября, 11 ч. утра.

Вчера долго не мог заснуть — ужасная мысль о Юлии, о Маше, о себе — останусь один в мире, если Юлий не выздоровеет, и кажется: если даже будет успех, сделаю что-нибудь — для кого, если Юлия не будет! Заснул почти в два.

Нынче проснулся в 8 1/2. Бешенство на Софью — уехали в Измалково! На меня внимания не обращают. Послал с Лозинским: Кусковой, Бунину, Нилусу, Черемнову, Колино письмо к Мите о въезде в Москву (запретили!). Поехал один на дрожках в Скородное — круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бока. Думал: «Могучим блеском полон голый сад, синим и сияющим эфиром». В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колее, где тень, голубая сахарная пудра. По жнивью под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози. В лесу светлей, чем думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса — тени осинок по блестящей мокрой листве. В лощинке, полной деревьев, блеск мелкого стекла — сучки, оставшиеся листики. Вдоль восточной стороны, там, где всегда грязь и ухабы по кусочку дороги между деревьями, грязь салится, под салом земля еще твердая; бледно-водянистые зеленя налево, за лугом направо лес по косогору лежащий — веет сизоватый дым, весь почти голый — осинник, среди этого верхушки берез удлиненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли), выделяются. На просеке снова вдали дроги, лошадь — рубят! О, негодяи, дикая сволочь! Думал о своей

«Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать, спустить шкуру со всей сволочи, какую видел, со всех этих Венгеровых и т. д.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, — направо. Вся в ухабах глубоких грязи, засыпанной листвой (перед этим все глядел на верхушки берез, сохранивших розовато— и рыжевато-желтую мелкую листву на изумительном небе). Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая зелень под листвой. Думал — здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишье, среди стволов, на спуске с горы, было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная, полная надежд на что-то — и на любовь, как всегда! — были бы. Въехал на гору — еще среди стволов четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из лесу — далеко-далеко налево, на юго-востоке, над лугами возле Предтечева светлый белесый пар под солнцем, над ним полный света горизонт. В голове — Одесса, Керчь, утро в ней, солнце, синь густая моря, белый город…

Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц — и ни на йоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности! <…> Всю жизнь об одном, «о подленьком, о гаденьком»!

В три часа поехали с Колей на Прилепы за конопляным маслом для замазки. Хозяин маслобойки — богач, большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен, застали среди двора, ноль внимания. «Масло — два рубля фунт». Пошли в маслобойку, заговорили — и вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем Русь-то строилась. О своих односельчанах как о швали говорил.

Закат с легчайшим, чуть фиолетовым туманом за бахтеяровской усадьбой на зеленях и по бахтеяровскому саду и Колонтаевка в нем. Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром из золотого, чуть шафранового стекла. Пошел в контору. Там безобразничал негодяй Зайчик.

Ночью гуляли. Туман находил на нас холодный. Вверху звезды.

В двенадцать часов вышел — там вяз смутной массой. Звезды туманны. Юпитер распустил пленку голубоватую.

9 октября.

Снова такой же дивный день. В три поехали с Колей в Гурьевку, были у Дмитрия Касаткина — «рушник», рушит просо и гречиху. Хозяин — «видно, опять кичится Николаем». Солдат стерва, дурак необыкновенный. «Солдаты зимней одежи не

принимают — не хотят больше воевать. Два месяца дали сроку правительству — чтобы сделало мир. Немцы бедным не страшны — черт с ними, пускай идут. Богатые — вот это дело другое. За границу не уедешь — все дороги в один час станут, всех переколем штыками. Начальства мы слушаемся, если хорошее, а если он не так командует, как же ему голову не срезать? Корнилов виноват, семьдесят пять тысяч с фронта взял. Керенский — <…> не лезь, когда не умеешь править. Зачем он умолял наступление сделать?» И т. д.

Старик мужик худой, болезненный, милый и разумный. Баба — мощи, зло (про нас): «Это они все немцами пугают чернородие». — Да, вот что К[еренский] негодяй сделал!

Немцы завладели Рижским заливом.

12 октября.

Позавчера мне исполнилось сорок семь лет. Страшно писать, но порой и утешение мелькает — а, может быть, это еще ничего, может быть, я преувеличиваю значение этих лет?

Позавчера утром поехал с Колей и Мишкой (полуидиот и плут, но ничего себе малый, на старый деревенский лад) в Ефремов. Было похоже, что погода портится, сперва шли лиловатые облака — туман по небу — потом затянуло, день стал серый, ехали на Волжанку, Лебяжку, Березовку и т. д. Дорога по горам и однообразным деревням бесконечна. Деревня тонет в благополучии, — сколько хлеба везде, скотины, птицы и денег! Пусто очень, почти ни души не встретили, и на улицах ни души, только молотят кое-где молотилки. Паровая молотилка в имении на Голицыне. И как никто не интересуется ни немцами, ни «Сов. Рос. Ре[с]п.» — и не знает ничего.

Приехали часа в четыре. Евгений в кухне на печке со своим Арсиком. Когда зажгли огонь, прибежали дети Елизаветы Ильинишны Добровольской (Победимовой) — мальчик и девочка, мальчик хотел страстно видеть «живого писателя»; рассказали, что уже начался погром, которого давно ждали в Ефремове. Я пошел в парикмахерскую — слух вздорный, хотя действительно ждут с часу на час. Отврат[тительный] «демократ» завивался самым бл…м образом, завился на 1 р. 75 к. Малый, что стриг меня, вежливейше спросил: «Под полечку прикажете?» Светила луна (почти 1/2). Ночевал не во флигеле, а в доме, долго разговаривал через дверь с Елизаветой Ильинишной. Она разошлась с мужем, выходит за другого, за пожилого. Я очень удивил ее, угадав, что у него слабые волосы (он довольно большой, блондин, «ждет его десять лет») и что он очень любит ее детей. Не физически, но все-таки волновался близостью женщины

за дверью, с которой мы одни в доме, за исключением крепко спящих детей. В три часа проснулся, не спал до шести, приехала в четыре старуха Победимова — я испугался, думал, она на лошадях, бежала от мужиков.

Утро с большой изморозью. Ходили с Евгением за покупками. В 1 ч. уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, — превосходный. Оглянулся — нежно и грустно защемило сердце — там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Коля задохнулся; всю дорогу молчал. Ехали на Боборыкино, потом на Кожинку, не доезжая Кожинки, свернули, мимо Новиковой, потом под гору, на гору, на мельницы и на Веригину. В Веригине пруд посредине, очень старые избы, богатая деревня. За Веригиной — под гору. За лугами напротив — лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно 1/2), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве — листва точно в паутине. Боже, какая пустыня! А какая пустыня, какой дикарский поселок — хутор Лукьяна Степанова! Никто не представит себе через сто, двести лет. По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь.

Опять восхитила логофетовская усадьба. Только миновали дом, луна за дубами, горизонт под ней — розовый. Потом быстро ехали, светало, ветреная ночь. Приехали домой в семь.

В Ефремове газеты за девятое и десятое. Открытие «Совета Республики», пошлейшая болтовня негодяя Керенского, идиотская этой стервы-старухи Брешко-Брешковской («понятно, почему анархия — борьба классов, крестьяне осуществляют свою мечту о земле»). Мерзавец <…> Троцкий призывал <…> к прямой резне.

Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. На полчаса выходил с Верой по направлению к Колонтаевке.

13 октября.

Вот-вот выборы в Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим.

Русский народ взывает к Богу только в горе великом. Сейчас счастлив — где эта религиозность! А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Слышно ли его в наше, такое ужасное время? Вот церковный собор — кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковские м…!

Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почем знать, может быть, ворованное!

Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку — Христос — Антихрист!

«Нигде не видал таких красок — темных и в то же время таких ярких, как драгоценные камни» (стекла в соборе). «Монах откинул *куколь* с головы».

«Побледневшее на солнце, почти не видное пламя».

«Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином, плесенью погребов». «Ненавидящий проницательней любящего» (Леонардо). «У художников подражание друг другу, готовым образцам» (Леонардо). «Для великого содержания нужна великая свобода» (Леонардо).

> Quant'é bella giovenezza.
> Ma si fugge tuttavia
> Chi vuol esser lieto, sia:
> Di doman' non c'é certezza[13].

День темный, позднеосенний, хмурый. Ветер шумит, порою дождь.

Как нежны, выбриты бывают лица итальянских попов! Вечером и ночью ветер, дождь.

14 октября.

С утра серо, ветер с северо-запада, холодный, сейчас три, мы с Верой гуляли, облака, светит солнце.

На низу сада, возле плетня, слышу матерную брань. Вижу — Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет двадцати пяти, долговязый малый лет двадцати, не совсем деревенского вида.

— Когой-то ругает?

Пьяный:

— Да дьякона вашего.

— Какой же он мой.

— Как же так не ваш? А кто ж вас хоронить будет, когда помрете? Вот П. Ник. помер — кто его хоронил? Дьякон.

— Ну, а вот ты-то дьякона ругаешь, тебя-то кто ж будет хоронить?

— Он мне керосину (в потребиловке) не дает… и т. д. Говорил, что мы рады, что немцы идут, они мужиков в крепостное право обратят нам.

15 октября.

Утро было все белое — вся земля, все крыши, особенно наш двор. Утро и день удивительные.

В школе выборы в волостное земство. Два списка — № 1 и № 2. Какая между ними разница — ни едина душа не знает, только некоторые говорят, что разница в том, что № 1 «больше за нас». Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: «Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!» — с большой злобой. За что? Почему он злобен и на меня? Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я *не могу* не знать этой разницы — думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер первый, и они его несут к «урне». Заходил и вечером — там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят, Петр Ар., Сергей Климов за то, чтобы солдат взять. Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: «Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу…» Большевик, йота в йоту повторяет дудочку «Новой жизни» и т. п.

В головах дичь, тьма, — ужас вообще! В «Совете Российской республики» говорят больше всего «евреи».

Вчера ужасное письмо Савинкова.

16 октября.

Мужик: «Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению».

Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером, Вера обиделась, мы стали шутить — «Фома Фомич» — она плакала одна, в саду.)

Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце — сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розово-оранжевый след ее — длинный — от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре — *несколько* ночей *полная*. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется черной почти, — вспомнился Цейлон даже.

Про политику и не пишу! Изболел. Главное — этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.

17 октября.

Дни похожи по погоде один на другой — дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера — луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко

от школы — вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше — необыкновенно прелестная синь речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю. — Письмо от Шмелева.

18 октября.

Та же погода. Чувствую себя, дай бог не сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность — на редкость.

Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В окне горизонт — смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо, — выше синее — сине-зеленое, на котором прекрасны ветки деревьев палисадника — голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.

Прочел Лескова «На краю света». Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа — очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

20 октября.

Девять с половиною часов вечера. Прочел статью из «Русской мысли» какой-то Глаголевой: «Раб (Бенедиктов), Эллин (Щербина), Жрец (Фет)». Наивная дурочка.

Критики говорят о поэте только то, что он им сам надолбит.

«Любовь — высшее приближение к духовности» — правда ли это?

Вчера прошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой — нехорошо! Коля рассказывал, как солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение, — на «ты» и т. д.

Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в Предтечево — говорить по телефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребиловке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и *бесполезно*!

Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло-коричневая, поляны (березы) еще есть грязное золото, Скородное — не умею определить.

Десять часов вечера. Густой туман — вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.

В Предтечеве возле потребиловки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на «Среде» Зилов читал на меня пародию. Гадина!

Читаю «Волконскую барышню» Эртеля. Плохо. Мужицкий язык по частностям верен, но в общем построен литературно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристяжная, и заспанный мальчик, ковыряющий в носу… Никогда не скажет: «надел пальто», а всегда — «облачившись в пальто».

21 октября.

Не выходил — немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день — укладывался. Завтра Казанская, могут напиться — вся деревня варит самогонку — все может быть. Отвратительное, унизительное положение, жутко.

В языке и умах мужиков все спуталось. — Никто, впрочем, не верит в долготу этого «демократического рая».

В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.

Читал отрывки из Ницше — как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «паузка», «пали» и т. д., еще «заимка»…

22 октября.

<…>

Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино: «Жил был в Фуле…»

Нет, в людях все-таки много прекрасного!

30 октября.

Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь — тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко — удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту — раз пять, десять. У Юлия тоже.

Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в «Летучей мыши», — я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, по телефону. Катерина Павловна — «обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д. Но мне он так мерзок, что я не хочу.

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез двух раненых. Одного я видел, — как его выносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) — она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета — чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц[иалистических] партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал[истическом] кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за «социальную революцию».

22-го — во втором часу пленный из Предтечева, верхом — громят Глотово. Я ждал Казанской, многое убрал, — самогонка, праздник и слух о 20-м октября, о выступлении большевиков — все предвещало, что многое может быть. Через час — пьяный мужик из Предтечева: «Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли… Уезжайте скорее!» Цель — разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул — «я тебе сам пять целковых дам!». Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул <в> два часа, в пять встал, в семь выехали — я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами. Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кириловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил — иначе такой глупости не сделал бы. Злоба — «вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли». Да, началось с насмешки над нами: «А плохо вам теперь!» Я сказал — «погоди, через месяц и вам будет плохо». — «А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Говори!» Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то «товарищеское», хотя мужик (молодой)… (Ох! ужасный удар!)[14] (Сейчас пять дня.) (Опять!) «Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?» (Очень строго.)

О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул — «через месяц Учредительное собрание» — собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком —

тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее, — выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл[адимира] Сем[еновича] все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам головы свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе — солдаты, солдат из Ламского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т. д. — будет бой с большевиками. Два извозчика — сорок рублей. 27-го был в городе — везде равнодушие — «а, вздор, это уже давно говорят». Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять — к Телешовым. Мимо трамвая — поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы — «большевики стреляли в икону». От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слыхали, выходили.

Все было ожидание, что их скоро задавят. Слухов — сотни (опять!). «Каледин диктатор, идет в Москву» и т. д. «Труд» (газетка Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено — большевики разбиты. Вчера уже нельзя было выходить — стрельба. Близко Александровское юнкерское училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух — «Москва окружена (опять!) правительственными войсками» и т. д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: «Железнодорожники согласились пропустить войска с фронта, если будет социалистический кабинет». У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и «дамы» целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, — того, что убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище — Россия!

Десять часов вечера (30 октября).

В десять часов погасло электричество и у Зои и у Юлия. У Телешова нет. Юлий сказал, что Т[елешов] передал — подписано соглашение большевиков и прочих партий. Но б[ольшевики] не могут унять солдат. Озлоблены и юнкера. К[атерина] П[авловна] говорила с Митей — Максимка в плену. (Клестов скрывается у

<нрзб.>.) Все слухи: четыре тысячи казаков пришли, не могут войти, их не пускают большевики на Казанский вокзал, пришел ударный батальон, тоже не может войти, где-то под Москвой дикая дивизия и т. д. Я дежурил от шести до семи. Большевистский студент собрал прислугу со всего дома — «она волнуется, говорит, зачем мы ворота бревнами закладываем, действуем против своих товарищей, надо с прислугой объясниться…». И объяснился: «Стрелять будем, если вы пойдете против нас». Возмущение.

В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову «в обчем».

31 октября.

Проснулся [в] восемь. Думал, все кончено (было тихо). Но нет, кухарка говорит, только что был орудийный удар. Теперь слышу щелканье выстрелов. Телефон для частных лиц выключен. Электричество есть. Купить на еду ничего нельзя. <нрзб.> сказал, ударный батальон пришел, часть переправилась в лодках, швейцар будто бы видел — человек двести пошло к юнкерскому училищу.

Двенадцать часов дня. Прочел «Соц. демократ» и «Вперед». Сумасшедший дом в аду.

Один час. Орудийные удары — уже штук пять, близко. Снова — в минуту три раза. Опять то же. Два рода ударов — глуше и громко, похоже на перестрелку.

Семь с половиною часов вечера. За день было очень много орудийных ударов (вернее, все время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов, сейчас где-то близко грохотал по крышам тяжкий град — чего? — не знаю.

От трех до четырех был на дежурстве. Ударила бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас. Перебило стекла. Хозяин этой квартиры принес осколок гранаты трехдюймовой. Был Сережа. День тяжелый, напряженный. Все в напряжении и все всё ждут помощи. Но в то же время об общем положении России и о будущем никто не говорит, — видимо, это не занимает.

Хочется есть — кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий.

Лидия Федоровна чудовищно невыносима. Боже, как я живу! Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда. Дом Коробова горел.

Юлий утром звонил. С тех пор ни звука. Верно, телефон не дают.

А что в деревне?! Что в России?!

Москву расстреливают — и ниоткуда помощи! А Дума толкует о социалистическом кабинете! Почему же, если телеграф нейтрален, Керенский не дает знать о себе?

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать.

1 ноября.

Среда. Засыпая вчера, слышал много всяких выстрелов. Проснулся в шесть с половиною утра — то же. Заснул, проснулся в девять — опять то же. Весь день не переставали орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. Серый день. Все жду чего-то, истомился. Щелканье кажется чьей-то забавой. Нынче в третьем часу, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас — идет охота друг на друга.

Читал только «Социал-демократ». Ужасно.

В Неаполе в монастыре Camaldoli над Вомеро каждую четверть часа дежурный монах стучит по кельям: «Badate, è possato un quarto d'ora della vostra vita»[15].

Пишу под тяжкие удары, щелканье и град.

Поповы — молодые муж и жена. Она княжна Туркестанова. Что за прелестное существо. Все раздает всем свои запасы. Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября. <…>

Читал «Русские ведомости» за 21, 22, 24, 25. Сплошной ужас! В мире не было такого озверения. Постановление офицеров («Русские ведомости», номер от 25 октября).

Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят). Дочь Буренина.

2 ноября.

Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил.

Народ возненавидел все.

Положение нельзя понять. Читал только «Социал-демократ». Потрясающий номер! Но о событиях нельзя составить представления. Часов с шести вечера стрельбы из орудий, слава богу, чтобы не сглазить, что-то не слышно.

Одиннадцать часов вечера. Снова два орудийных удара.

4 ноября.

Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов «Мирный договор». Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие. Всем существом понял, что такое вступление скота и зверя победителя в город. «Вобче, безусловно!» Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т. д. Назад, по Поварской — автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.

Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!

Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, пошли в книгоиздательство. Заперто. Богданов у Никитских ворот <нрзб. 1 сл.>. Цинизм!!

Вечером был у Пушечниковых. Купил «Новую жизнь» несколько номеров. Сейчас читал номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков. Луначарский мерзавец. Достигнуто «Соглашение» <нрзб.>. Женский батальон в Петербурге насиловали. Из Москвы бегут юнкера, публика. И — «Соглашение»!

Командующий войсками Московского округа — солдат Муралов. Комиссар театров — Е. К. Малиновская. Старк тоже комиссар. О Боже! Вишневский из Малого театра говорил, как запаскудили Малый театр. Разгромлен, разграблен Зимний дворец. Из Москвы бегут — говорят о «Варфоломеевской ночи». Восемь месяцев!

11 ноября.

Нынче опять нет газет — опять праздновали вчера. Вчера хоронили «борцов» большевиков. В «Известиях В.-Рев. Комит.»: «Не плачьте над трупами павших борцов». Часа в два эти борцы — солдаты и «красная гвардия» возвращались с похорон по Поварской, между прочим. Вид — пещерных людей. Среди Москвы зарыли чуть не тысячу трупов.

Вчера самое ошеломляющее: Ленин сместил Духонина, назначил верховным главнокомандующим Крыленко. Да <…> Троцкий за Россию заключает мир! Того хочет сам русский народ!

Дни грязные, со снегом, с таянием.

21 ноября 12 ч. ночи.

Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и пр. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она теперь. О Боже, Боже. Нынче ужас <нрзб. 1 сл.>. Убит Духонин, взята ставка и т. д.

Возведен патриарх «*всея* Руси» на престол нынче — кому это нужно?!

1918

18 января 1918.

Мокрая погода. Заседание в книгоиздательстве — по обыкновению, мерзкое впечатление. Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников «Слово» и против авансов (значит, главное — против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда «авторам за их книги не платят полностью». Уникум сверхъестественный, такого (…), как Шмелев, я не видывал.

С утра расстроила «Власть народа» — «Киев взят большевиками». В других газетах этого нет.

Была Маня Устинова — приглашала читать у Лосевой. Говорила про А. Толстого: «Хам, без мыла влезет где надо, прибивается к богатым» и т. д. Провожал ее. Москва так мерзка, что страшно смотреть. Вечером у Мити. Юлий рассказывал, какой ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где он чай вздумал пить.

Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен. Народ выходил из кинематографа, когда я нынче возвращался, — какой страшный плебей! Поварская темна. Теперь, местами, когда темно, город очень хорош, заграничный какой-то.

16/29 апреля.

День серый, а то все время чудесная погода. Был в сберегательной кассе, лучше все выбрать, в дикарских странах банки и кассы — <нрзб.>, прежде умней были — в землю зарывали. Чиновник, жалкая <нрзб.>, в очках, весь день пьет чай за своим барьером. Уверен — очень доволен жизнью, главное — служебными часами.

Лакей лет двадцати пяти, грек или полугрек, можно — одессит, можно — пароходный лакей. Довольно высок, длинные ноги, пиджачная черная парочка, волосы черные — на косой ряд, завитком, коком, как у какого-нибудь лаборанта, надо лбом, пенсне, большой кадык, служит очень молчаливо, вечная сдержанность, вечное мысленное пожимание плечом — «что ж, делать нечего, будем лакеем!». Может стать преступником.

Одесса, весна, часов двенадцать ночи, чистая, пустая уже улица — приятно идти. Свежая зелень каштанов, в ней — фонари. Еврей, небольшой, кругленький, довольно приятный даже, идет,

снял шляпу. Превосходное расположение духа. Был в гостях, там в гостиной на четвертом этаже, с отворенной на балкон дверью, пела молодая женщина с большой грудью. Гостиная тесная, противная, мерзкие картины в тяжелых багетах, атласные пуфы и т. д. <нрзб.> В «Парус» (для альманаха) послал (уже недели две тому назад): «Золотыми цветут остриями…», «Просыпаюсь в полумраке…», «Этот старый погост…», «Стали дымом…», «Тает, сияет…», «Что впереди» и «Мы рядом шли…».

12 ч. ночи 17/30 апреля.

Утром отвратительное ощущение — ходил в Лионский кредит, в сейф за чековой книжкой. Со зла взял из ящика все — черновики, письма, столовое серебро и т. д. — оставил только бумагу в 500 р. — кажется, военный заем. Скандал — у Глобы пропало кольцо бриллиантовое ценой тысяч в десять. Хам, который его, очевидно, украл, — начальство от большевиков, ужасно орал и все твердил одно: если бы оно тут было, то оно бы и было тут.

Москву украшают. Непередаваемое впечатление — какой цинизм, какое <…> издевательство над этим скотом — русским народом! Это этот-то народ, дикарь, свинья грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать *интернационалистический* праздник! А это хамское, несказанно-нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик… И как раз нынче известие о взятии турками Карса! А завтра, в день предания Христа — торжество предателей России! Вечером у Авиловых. Слава Богу, дождь! Если бы и завтра, да сколь возможно проливной! Вот уж поистине все чуда ждешь, — так страшно изболела душа! Хоть бы их гроза убила, потоп залил! Говорят, возмущенных этим стаскиванием памятников очень много. (Да какой там черт, это наше возмущение!) «Немцы (или турки) приказали стащить!» Домовый комитет наш трусит, — ищет красной материи на флаги, боится, что не исполнит приказания «праздновать» и пострадает. И во всей Москве так. Будь проклят день моего рождения в этой проклятой стране!

А Айхенвальд — да и не один он — всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, «нежный рыцарь Прекрасной Дамы», стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукина сына, два набитых дурака!

1 мая, 12 ч. дня.

С утра серо, холодно. Сейчас проглядывает и тает солнце.

Чудовищно-скотские подробности поведения Дыбенко (началось его дело). Идиотски-риторические вопли Андрея Белого в «Жизни» по поводу 1-го мая. Вообще газета эта верх пошлости и бесстыдства. А меж тем в ней чуть не все наши знаменитости. Негодяи!

* * *

Везет им! День очень хороший, солнечный, хотя сильно прохладный. Выходил, был на Арбатской площади, на Никитской. Город довольно чист и очень довольно пуст. Оживления в толпе, на лицах нет. Был Цетлин (Мих. Осип.), приглашал в эсеровскую газету (Бунаков, Вишняк и т. д.). Литературный отдел все тоже очень сплачивающаяся за последнее время <…> компания — Гершензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т. д. Дал согласие — что делать! Где же печататься, чем жить? Спрашиваю: «Отчего нет Бальмонта?» — «Да он, видите ли, настроен очень антисоциалистически».

2/19 мая, 11 ч. вечера.

Воротился в десять от Юлия. Фонарей нет — зато вчера праздновали — горели до двенадцати, против всякого обыкновения. Темно на Арбате, на площади — на Поварской-то всегда с десяти темно. Противно бешенство хрюкающих автомобилей, на площади костерчик вдали, грохот телег ломовых — в темноте не тот, что при огне. Дома высоки.

День прохладный, но теплый, солнце, облака. В двенадцать был в книгоиздательстве — Клестов говорит, что они хотят отменить торговлю — всякую <…>. Потом — к Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию, — моментально принял. Сперва хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяческое содействие. Можно и в Японию, «можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию…».

Два раза был в «Новой жизни» на Знаменке. «Это помещение занято редакцией «Новой жизни» по постановлению такого-то комиссариата» — это на дверях. Однако, когда я был там в пять часов, их, оказывается, хотят «вышибать» латыши. «Могут и стрелять — от латышей всего можно ждать». Когда выходил — бешеный автомобиль к их дверям, солдаты, винтовки. В редакции барышня-еврейка, потом Моисей Яковлевич (смесь кавказца с евреем), еще какой-то грязный тощий еврей (не Авилов ли?),

Базаров — плебейского вида остолоп, Суханов, У Фриче все служащие тоже евреи.

В шестом <часу> был с Верой у Коган. Коган перековал язычок — уже ругает большевиков. Бессовестный!.. Лариса вышла за Альтрозера.

Надежда Алексеевна была в «Метрополе» у Рейснеров. Рейснеры будто бы все стараются держаться аристократами, старик будто бы барон и т. д.

Идя к Коганам, развернул «Вечернюю жизнь» — взята Феодосия! Севастополь «в критическом положении». Каково! Взят Карс, Батум, Ардаган, а по Поварской нынче автомобиль с турецким флагом! Что за адская чепуха! Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят!

Митя был на Красной площади. Народ, солдаты стреляют, разгоняют. Народ волнуется, толпится против башни, на которой вчера завесили кумачом икону, а кумач на месте иконы истлел, исчезал, вываливался. Чудо!

4 мая (21 апреля).

Великая суббота. Интеллигенты — даже из купцов — никогда не упускали случая похвастаться, что пострадал за студенческие беспорядки и т. п.

12 ч. 45 м. ночи.

Вчера были с Колей против Никольских ворот. Народ смотрит на них с Никольской, кучка стоит на углу Музея. Мы стояли там. Одни — «чудо», другие его отрицают: гнусный солдат латыш, отвратное животное еврей студент, технолог, что ли; в кучке этой еще несколько (безмолвствующих, видимо, желающих понять «как дело») евреев. Меня назвали «чиновником старого режима» за то, что я сказал студенту, что нечего ему, нерусскому, тут быть. Потом суматоха — солдаты погнали в шею какого-то купца. Студент кричал на меня: «Николаевщиной пахнет!» — науськивал на меня. Злоба, боль. Чувства самые черносотенные.

В шесть у Ушаковой. Она рассказывала, что в Киеве офицерам *прибивали гвоздями погоны.*

Сегодня опять 37 — я почти всю зиму болел в этой яме. Боже, Господи, какая зима! И совершенно некуда деться!

Немцы мордуют раду. «Самостийность», кажется, им уже не нужна больше. Чувство острого злорадства.

Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке — «Никола на курьей ношке». Красота этого еще уцелевшего островка среди моря скотов и убийц, красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз

— всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!

Сейчас был с Верой там же. «Христос воскресе!» Никогда не встречал эту ночь с таким чувством! Прежде был холоден.

На улицах — полная тьма. Хоть бы один фонарь дали, мерзавцы! А 1-го мая велели жечь огонь до 12 ч. ночи.

А в Кремль нельзя. Окопались <…> Тр… (?) пропустил только пятьсот — избранных — да и то велел не шататься возле церквей. «Пришли молиться, так молитесь!»

О, Господи, неужели не будет за это, за эту кровавую обиду, ничего?! О какая у меня нестерпимая боль и злоба к этим Клестовым, Троцким, матросам.

Матрос убил сестру милосердия — «со скуки» (нынешний номер подлейшей газеты «Жизнь»).

У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — *рублевые* свечи. Как у него все рассчитано! Нельзя дешевле. «Граф прихожанин»! Стоит точно в парике в своих прямых бурых волосах a la мужик.

Нынче шла крупа. Весь день дома.

Пасхальные номера газет — верх убожества.

Какой напев нынче «Волною морскою…». Нежная гордость, что Господь покарал «гонителя — мучителя», скромная радость, грусть…

5 мая (22 апреля) 1918 г.

Плохие писатели почти всегда кончают рассказ лирически, восклицанием и многоточием.

Как дик культ Пушкина у поэтов новых и новейших, у этих плебеев, дураков, бестактных, лживых — в каждой черте своей диаметрально противоположных Пушкину. И что они могли сказать о нем, кроме «солнечный» и тому подобных пошлостей! А ведь сколько говорят!

Светлый день, а я все думаю о народе, о разбойниках мужиках, убийцах Духонина, Кокошкина, Стрельцовой. Нет, надо бы до гробовой доски не поднимать глаз на этих скотов!

Вместо Немецкой улицы — исторического, давнего названия — улица Баумана! О! И этого простить нельзя!

Прошлую ночь заснул в пять часов утра.

7 мая (24 апреля).

Вечером на первый день у Зои (сперва у Каменских) очень напился. Как только дошел — как отрубило — с этого момента ничего не помню. Очнулся в пять утра. Весь день очень страдал —

сердце. *Нельзя, нельзя уже так пить.*

От Каменских шли мимо памятника Александру III. У него отбили нос. Кучка народа, споры — диаметрально противоположные мнения. Много озлобленных против большевиков. (Я шел к Каменским — вслух ругал засевших в запертом Кремле — проходящие — из народа — горячо подхватывают.) И тут — самый мерзкий и битый дурак — студент <…>.

Вчера у Чулковых. Кайранские, Щепкина-Куперник (очень, очень приятна, — что значит прежнее литературное поколение!). Все нездоровилось — все около 37 — погибаю в этом подвале у Муромцевых — а деться буквально некуда! Всю зиму всю голову сломал — куда бы уехать! Нынче с утра опять почти 37. К вечеру нынче чувствую себя лучше. Холод на дворе, у меня холод как в могиле.

Ездил искать «Речь» пасхальный номер — на трамвае солдат у солдата разрезал мешок, накрал, в колени зажал пирожков. «Отдай, сукин сын!» Кругом: «В морду, в морду-то его! В комиссариат!» Злоба, грубость всюду — несказанные!

Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.

Перечитал «Записную книжку» Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была.

8 мая (25 апреля).

День большого беспрерывного волнения: переворот на Украине («Экстренный выпуск «Известий»). Прочли этот выпуск с Колей у Юлия. Радость, злорадство острое.

Светлый холодный день.

У нас было много народу (наша «Среда»). Масса слухов: Мирбах требует выгнать латышей, Мирбах отзывается, на его место — фон Тирпиц (Мирбах слаб!) и т. д.

9 мая (26 апреля).

Самый лучший, необходимый паспорт, и теперь еще выдаваемый газетами общественному деятелю: он верил… он верит… я верю в светлое будущее России, «в революцию» и т. д.

Светлый холодный день. С утра все время — чтение газет. В пять на обед к Пашуканису (изд. «Мусагет»).

Художник Ульянов, Бальмонт, Белый. Зоя, Лид. Ив. Некрасова, Вера, я, муж Лидии Ивановны.

Сперва все время мой спор с Андреем Белым. Он вывертывается, по-моему, отрекаясь от большевиков, болтая

мутно все одно, смысл чего: из этой грязи и крови родится нечто божественное — и т. д. При встречах он, впрочем, всегда симпатичен. Бальмонт был разумен, прост.

10 мая (нов. стиля).

Серый, очень холодный день.

Был <нрзб.>, просил участвовать в «Палестинском вечере», был Цетлин — просит рассказ в свою газету («Возрождение»).

Звонил из типографии Левинсон метранпаж. Спрашиваю: «Кто говорит?» Отвечает: «С вами говорит товарищ Морозов». Боже мой, сам себя называет «товарищем» — чего же ждать от этой «демократии»!

13 мая.

Позавчера почти весь номер «Новой жизни» — травля кадетов. Горького статья особенно — нечто выдающееся по глупости, низости, наглости, злобе.

Все дни — слух, слух — и у всех страстное ожидание переворота на манер киевского.

Вчера «Среда». Читал Лидии («Олень»), стихи — Ходасевича и Копылова <…> Эренбург, Соболь — все наглеет. Эренбург опять стал задевать меня — пшютовским, развязным, задирчивым тоном. Шкляр — «страстную» речь по этому поводу. Я сказал: «Да, это надо бросить!» Начался скандал. Толстой злой на меня за «Элиту», на их стороне. «Эренбург — большой поэт». А как он три месяца тому назад, после чтения стихов Эренбургом, ругал Эренбурга <…>!

Нынче говорил на углу с газетчиком и еще <с> кем-то из народа. Бесполезно! В голове тьма, путаница самых противоположных вещей, в сердце — только корысть, материальное. «У Николая четырнадцать миллиардов золотом, вот он и нанимает белогвардейцев».

Позавчера Телешов рассказывал, как на него замахнулся хлыстом (в банке) какой-то «товарищ» — из начальства при банке — и крикнул: «Молчать!»

Клестов говорит, что б<ольшевики> решили <начать> ужаснейший террор против «кадетов».

14/1 мая.

Утром в десять, когда я еще в постели, — Арсик — плачет — умерла Варвара Владимировна.

Весь день и в момент этого известия у меня никаких чувств по поводу этого известия. Как это дико! Ведь какую роль она сыграла в моей жизни! И давно ли это было — она, молоденькая,

мы приехали с ней в Полтаву… Ехали — в Харькове на вокзале поцеловала у меня руку и…

<…>

Лето, восемнадцатый год, Киев.

Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их всё перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин — бросаются в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается — и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бурак в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него.

15/28 дача Шишкиной (под Одессой).

Пятый час, ветер прохладный и приятный, с моря. За воротами стоит ландо, пара вороных лошадей — приехал хозяин дачи, ему дал этих лошадей приятель, содержатель бюро похоронных процессий — кучер так и сказал — «это ландо из погребальной конторы». Кучер с крашеной бородой.

Чуть не с детства я был под влиянием Юлия, попал в среду «радикалов» и чуть не всю жизнь прожил в ужасной предвзятости ко всяким классам.

Сегодня уехал Нилус. Завтра с нами селится Кипен.

[Без даты]

<…> Часто теперь, читая какую-нибудь книгу, останавливаюсь и дико смотрю перед собой, — так оглушила, залилала [вероятно, залила.], все затмила низость человеческого слова и так дико вспоминать, на минуту выплывая из этого моря, что существовало и, может быть, где-нибудь еще существует *прежнее* человеческое слово!

4 ч. Гулял, дождя нет, пышная зелень, тепло, но без солнца. На столбах огромн[ые] афиши: «В зале пролеткульта грандиозный Абитур-спектакль-бал…» — После спектакля «призы»: 1) за маленькую изящн[ую] ножку, 2) за самые красивые глаза, киоски в стиле «модерн», «в пользу безработных

спекулянтов», губки и ножки целовать в закрытом киоске, красный кабачек, шалости электричества, катильон, серпантин и т. д. 2 оркестра воен[ной] музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в 6 ч. по старому времени… Хозяйка вечера супруга командующего 3-й Советской Армией Марфа Яковлевна Худякова». Прибавьте к этому новую орфографию.

25 мая/7 июня.

Прочел «Знамя» и 1 № «Советск. власти», орган одес[ского] Совдепа, долженствующ[ий], по-видимому, заменить собою «Голос красноарм[ейца]» который уже давно не виден в городе, отправл[ен], как говорят, «на фронт». Все то же! Все «ликвидация григорьевских банд» и «разрастающаяся» во всем мире революц[ия], — между прочим крупно напечат[ано] сообщ[ение] о большевистск[ом] восстании в Турции. <…>

Вчера весь вечер дождь, настроение оч[ень] тяжкое. Дождь и ночью, льет и сейчас.

В «Сов[етской] вл[асти]» две карикатуры; несомненно Минского. До содрогания, до тошноты гнусно. <…>

28 мая/8 июня.

«Знамя борьбы» наполовину занято Марьяшем. «Проф[ессиональный] союз пекарей извещает о трагическ[ой] смерти стойкого борца за царство социализма…» И еще неск[олько] таких же объявлений; некрологи, заметки: «Ушел еще один… Не стало Марьяша… Стойкий, сильный, светлый…» и т. д. <…>

Затем идет смехотв[орное] известие о том, что приморские города вблизи Дарданелл заняты турецк[ими] коммунистами, которые принимают меры к закрытию Дард[анелльского] пролива, сообщение <…> что «на Галицию идет огромная польская сила с Петлюрой в авангарде» (я говорил, что Петлюра вынырнет!) <…>

В полдень телефон из Сергиевск[ого] училища: приехал из Москвы Личкус, сообщил Вере, что у Мити Муромцева тронуты верхушки легких и миокардит. Вера заплакала, оч[ень] расстроена. <…>

20. VII. /2. VIII.

Вчера разрешили ходить до 8 ч. вечера — «в связи с выяснившимся положением» (?) <…> Голодая, мучаясь, мы должны проживать теперь 200 р. в день. Ужас и подумать, что с нами будет, если продлится здесь эта власть. Вечером вчера пошли слухи, подтверждающие отход немцев. <…>

Был у Полыновых; Маргар. Ник. все восхищается моими рассказами, вспоминали с ней <…> о портсигаре из китового уса, который М. Н. подарила когда-то Горькому. <…>

Газеты, как всегда, тошнотворны. О Господи милостивый, — думаешь утром, опять <…> то же: «мы взяли… мы оставили… без перемен» — и конца этой стервотной драке <…> не видно! <…>

9 ч. веч. Опять наслушался уверений, что «вот-вот» <…> В порту все то же, до сих пор непонятное, за последнее время особенно, вследствие каких [вероятно, «каких-то»] беспрерывных уходов, приходов, — контрминоносец и два маленьких, все бегающих и по рейду и куда-то в даль.

Купил — по случаю! — 11 яиц за 88 р. О, анафема, чтоб вам ни дна ни покрышки — кругом земля изнемогает от всяческого изобилия, колос чуть не в 1/2 аршина, в сто зерен, а хлеб можно только за великое счастье достать за 70–80 р. фунт, картофель дошел до 20 р. фунт и т. д.! <…> Электричества почему-то нету. (Я таки жег за последнее время тайком, — «обнаглел».)

21. VII. /3. VIII.

В газетах хвастовство победами над Колчаком, в Алешках и над колонистами, — на Урале «враг в панике, трофеи выясняются» — всегда не иначе, как «трофеи»! <…> А крестьяне будто бы говорят на великолепнейшем русском языке:

«Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов!» <…>

Отнес свои рассказы Туган-Барановской. Очень приятна, смесь либеральной интеллигентности с аристократизмом.

Погода отличная, но, хотя и спокоен сравнительно сегодня, все-таки, как всегда, отношение ко всему как во время болезни. Все чуждо, все не нужно, все не то… Многие говорят, что им кажется, что лето еще не начиналось.

Масло фунт уже 160 р., хлеб можно доставать за 90 фунт. Сейчас 4 ч., как всегда, кто-то играет, двор уже почти весь в тени, небо сине-сероватое, акации темно-зеленые, за ними белизна стен в тени и в свете.

22. VII. /4. VIII.

Почему-то выпустили газеты — «Известия» и «Сов. власть» — хотя сегодня понедельник. Ничего особенного. Махно будто бы убил Григорьева, «война» с колонистами продолжается, красные «дерутся как львы», — так и сказано, — взяли Александровку <…> это напечатано жирным шрифтом, «трофеи выясняются», но между строк можно прочесть, что дело это еще далеко не

потушено; говорят даже, что немцы уже перерезали ж. д. на Вознесенск. На базаре еще более пусто и еще более дорого. Прекрасное утро. Прочитав «Известия» на столбе, встретил Ив. Фед. Шмидта. Он зашел ко мне. — Кабачки нынче 50 р. десяток.

Матросы пудрят шеи, носят на голой груди бриллиант[овые] кулоны. Госуд. Межд. Красный Крест чрезвыч[айно] переводит деньги за границу, арестовывают членов этого креста для отвода глаз.

Как отвыкли все писать и получать письма!

Скучно ужасно, холера давит душу как туча. Ах, если бы хоть к черту на рога отсюда! <…>

25. VII. /5. VIII.

Снова прекрасный летний день, каких было много, — то же серовато-синее чистое небо, зелень акаций, солнце, белизна стен, — и никакой видимой перемены, все буднично. А меж тем вчера, как никогда, была уверенность, что нынче должна быть перемена непременно.

Вчера после трех пришел Кондаков, безнадежно говорил о будущем, не веря в прочность ни Колч[ака], ни Деникина, вспоминал жестокий отзыв Мишле и его пророчества о том, что должно быть в России и что вот уже осуществилось на наших глазах. Потом пришел Федоров и г-жа Розенталь, — принесла весть об эвакуации большев[иков] из Одессы. Кондаков не отрицает эвакуации, но говорит, что она делается для того, чтобы грабить город и куда-то вывозить, расхищать награбленное, — тянут, в самом деле, все, что только можно, не только ценности, мануфактуру, остатки продовольствия, но даже все имущество ограбляемых домов, вплоть до мебели, — и для того, чтобы разворовать те 50 миллионов, которые, говорят, прислали из Киева на предмет этой эвакуации. Потом прибежал Коля: у них был <нрзб.>, которому <нрзб.> официально заявил об этой эвакуации. Пошел к ним. «Одесса окружена повстанцами. Подвойский прислал телеграмму об эвакуации Одессы в 72 ч., перехвачено радио Саблина — сообщает Деник[ину], что взял Очаков, совершил десант в Коблеве и просит позволения занять Одессу». <…> Как было не верить? Но вот опять день, каких было много, вышли газеты, долбящие все то же, и ни звуком не намекающие на эту передачу… <…>

Вчера говорили о новых многочисл[енных] арестах и расстрелах. Нынче похороны «доблестных борцов» с немцами. <…>

4 ч. дня в городе. Читал приказы. Уныние снова. О проклятая жизнь!

24. VII. /6. VIII.

<…> Ночи прекрасные, почти половина луны. В одиннадцатом часу смотрел в открытое окно из окна Веры. Луна уже низко, за домами, ее не видно, сумрак, мертвая тишина, ни единого огня, ни души, только собака грызет кость, — откуда она могла взять теперь кость? <…> Соверш [енно] мертвый город! На ночь опять читал «Обрыв». Как длинно, как умно нередко! А все-таки это головой сделано. Скучно читать. <…> Сколько томов культивировалось в подражание этому Марку! Даже и Горький из него.

Нынче опять такой прекрасный день, жаркий на солнце, с прохладным ветерком в тени. Были с Верой в Театральном кружке.

<…> Комендант печатает в газете свое вчерашнее объявление — о лживости слухов, что они уходят: «Эвакуация, правда, есть, но это мы вывозим из Одессы излишние запасы продовольствия» и еще чего-то. Бог мой, это в Одессе-то «излишние запасы»! <…> На базаре говорят, что мужики так ненавидят большевиков, что свиньям льют молоко, бросают кабачки, а в Одессу не хотят везти.

Слух: Бэла Кун расстрелян, прочие комиссары, пытавшиеся бежать из Венгрии, арестованы. <…>

25. VII. /7. VIII.

Во всех газетах все то же, что вчера. <…> Возвращаясь, чувствовал головокружение и так тянуло из пустого желудка, — от голода. В магазин заходил — хоть шаром покати! «Нечего есть!» — Это я все-таки в первый раз в жизни чувствую. Весь город голоден. А все обычно, солнце светит, люди идут. Прошел на базар — сколько торгующих вещами. На камнях, на соре, навозе — кучка овощей, картошек — 23 р[убля] ф[унт]. Скрежетал зубами. «Революционеры, республиканцы, чтоб вам адово дно пробить, дикари проклятые!»

«Распаковываются», — говорит один. Да, м[ожет] б[ыть], сами ничего не знают и трусят омерзительно. Другие твердят — «все равно уйдут, положение их отчаянное, про победы все врут, путь до Вознесенска вовсе не свободен» и т. д. <…>

Вечером. Опять! «Раковский привез нынче в 6 ч. вечера требование сколь можно скорее оставить Одессу». <…>

Какая зверская дичь! «Невмешательство»! Такая огромная и богатейшая страна в руках дерущихся дикарей — и никто не смирит это животное!

Какая гнусность! Все горит, хлопает дерев[янными]

сандалиями, залито водой — *все* с утра до вечера таскают воду, с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить, что сожрать. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет! <…>

Грабеж продолжается — гомерический. Ломбард — один ломбард — ограблен в Одессе на 38 милл. ценностями, т. е. по-теперешнему чуть не на 1/2 миллиарда!

26. VII. /8. VIII.

Слышал вчера, что будут статьи, подготовл[яющие] публику к падению Венгрии. И точно, нынче <…>

Ужас подумать, что мы вот уже почти 4 месяца *ровно* ничего не знаем об европейских делах — и в какое время! — благодаря этому готтентотскому пленению!

Вечером. Деникин взял, по слухам, Корестовку, приближается к Знаменке, взял Черкассы, Пирятин, Лубны, Хотов, Лохвацу, весь путь от Ромодан до Ромен. Народ говорит, что немцы отбили Люстдорф. <…> У власти хватило ума отправлять по деревням труппы актеров — в какой [вероятно, «какой-то] деревне, говорят, такая труппа вся перебита мужиками, из 30 музыкантов евреев, говорят, вернулось только 4.

Позавчера вечером, идя с Верой к Розенберг, я в первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, человека с наклеенными усами и бородкой. Это так ударило по глазам, что я в ужасе остановился как пораженный молнией. Хлеб 150 р. фунт.

[Сбоку приписано:] Зажглось электричество, — топят костями.

27. VII. /19. VIII.

«Красная Венгрия пала под ударами империалистических хищников». <…> «Восстание кулаков» растет, — оказывается и под Николаем [вероятно, Николаевом] началось то же, что и под Одессой, хотя, конечно, и нынче то же, что читаю уже 3 месяца буквально каждый день: «восстание успешно ликвидируется». С одесск[ого] фронта тоже победоносные [следует неразборчиво написанное слово], но народ говорит, что немцы опять взяли Люстдорф. <…> Сейчас опять слышна музыка — опять «торжеств[енные] похороны героев». Из-за этого сделана какая-то дьявольская забава, от которой душу переворачивает. — Масло 275 р. фунт.

28. VII. /10. VIII.

«К оружию! Революция на Украине в опасности!» <…> «<…

> Мы на Голгофе… Неумолимо сжимаются клещи Деникина и Петлюры…» На фронте, однако, везде «успехи», все восстания успешно ликвидируются (в том числе и новые — еще новые! — на левом берегу Буга), «красные привыкли побеждать», «Деникин рвет и мечет от своих последних неудач», «набеги остатков Петлюровщины уже совсем выдохлись». Все напечатано в одной и той же «Борьбе», почти рядом! <…>

3 ч. Гулял. Второй день прохладно, серо. Скука, снова будни и безнадежность. Глядел на мертвый порт <…> На ограде лежит красноармеец, курит. Обмотки. — И желтые башмаки, какие бывают от Питонэ, Дейса — отнятые, конечно, у буржуя. <…>

29. VII. /11. VIII.

Был в Театральном, чтобы решить с Орестом Григор[ьевичем] Зеленюком (?) об издании моих книг. Он занят. Видел много знакомых. Погода чуть прохладная, превосходная, солнечный день. Море удивит[ельной] синевы, прелестные облака над противополож[ным] берегом.

Туча слухов. Взята Знаменка, Александрия, вчера в 12 ч. «взят Херсон» — опять! «Эвакуация должна быть завершена к 15 авг.» <…> Поговаривают опять о Петлюре, буть он проклят <…> многому не верится, все это уже не возбуждает; но кажется, что-то есть похожее на правду. <…>

Бурный прилив слухов: взят Орел, Чернигов, Нежин, Белая Церковь, Киев! <…> Над Одессой летают аэропланы. <…>

30. VII. /12. VIII.

Ничего подобного! <…> Издеваются над слухами. Да, я, м[ожет] б[ыть], прав — многое сами пускают.

«Чрезкомснаб, Свуз» — количество таких слов все растет!

4 ч. Был утром у Койранского. Он пессимистичен. Уходя, встретил З. «Дайте сюда ваше ухо: 15-го!» И так твердо, что сбил меня с толку.

1. /14. VIII.

Дней шесть тому назад пустили слух о депеше Троцкого: «положение на фронте улучшилось. Одессу не эвакуировать». Затем об [этом] не было ни слуху ни духу и власть открыто говорила об эвакуации. Но третьего дня депешу эту воскресили, а вчера уже сами правители совали ее в нос чуть не всякому желающему и уже говорили, что она *только что* получена вместе с известием, что с севера на Украину двинуто, по одной версии, 48 дивизий, — цифра вполне идиотская, — по другой двадцать дивизий, по третьей — 4 латышских полка и т. д. И цель была

достигнута — буквально весь город пал духом, тем более, что частично эта «эвакуация» и впрямь была прекращена, — т. е. прекратили расформировывать советск[ие] учреждения и служащим заявили диаметрально-противоположное тому, что заявляли позавчера-вчера. Соответственно с этим сильно подняли нынче тон и газеты: «Панике нет места!» «Прочь малодушие!» <…> «передают, что Троцкий двинул с *Колчаковского фронта через Гомель*», — каково! — «войска на Украину» <…> Все это, конечно, брехня, — известно то, что позавчера состоялось очень таинств[енное] заседание коммунистов, на котором было констатировано, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье, оставаться по мере возможности в Одессе с целью терроризма и разложения Деникинцев, когда они придут, а вместе с тем и твердо решено сделать наглую и дерзкую мину при плохой игре, «резко изменить настроение в городе», — однако факт тот, что они *опять* остаются!

Газеты нынче цитируют слова Троцкого, где-то на днях им сказанные: «Я бы был очень опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист; но когда мне говорят, что я плохой полководец, то я отвечу, что я учусь и, научившись, буду хорошим!» <…>

В Балте «белые звери устроили погром, душу леденящий: убито 1300 евреев, из них 500 *малюток*».

Немцев восстание действительно заглохло. Нынче газеты победоносно сообщают, что многие «селения восставших кулаков снесены красными до основания». И точно — по городу ходят слухи о чудовищных разгромах, учиняемых красноармейцами в немецк[их] колониях. Казни в Одессе продолжаются с невероятной свирепостью. Позапрошлую ночь, говорят, расстреляли человек 60. Убивающий получает тысячу рублей за каждого убитого и его *одежду*. Матросы, говорят, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от безнаказанности: — теперь они часто врываются по ночам к заключенным уже без приказов <…> пьяные и убивают кого попало; недавно ворвались и кинулись убивать какую-то женщину, заключенную вместе с ребенком. Она закричала, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы убили и ее, и ребенка, крикнув: «Дадим и ребеночку твоему *маслинку*!» Для потех выгоняют некот[орых] заключенных во двор чрезвычайки и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно долго делая промахи.

Вчера ночью опять думал чуть не со слезами — «какие ночи, какая луна, а ты сиди, не смей шаг сделать — почему?» Да, дьявол не издевался бы так, попади ему в лапы!

Вечером. Слухи: взят Бобруйск, поляками. Гомель вот-вот

возьмут <…> добровольцы будто бы верстах в 30-и от Николаева. А про Херсон, кажется, соврали — теперь уж говорят, что взят будто бы только форштадт Херсона.

Нынче утром был деловой разговор с этим Зелюником, что ли. Хочет взять «Господ[ина] из Сан-Фр[анциско]», все рассказы этой книги за гроши. <…>

Репортер из «Рус[ского] Слова» — «инспектор Искусств» во всей России. Говорят, что сын Серафимовича вполне зверь. Сколько он убил! Отец одобряет, «что ж, это борьба!»

2. /15. VIII.

В «Борьбе» передовая: «Человечество никогда еще не было свидетелем таких грандиозных событий… в последней отчаянной схватке бьются прихвостни контрреволюции с революцией на Украине… Наша победа близка, несмотря на наши частичные неуспехи…» и т. д. <…> «Хищники хотят посадить на трон в Венгрии Фердинанда румынского…» но — «мировая революция надвигается… в Англии стачка хлебопеков и полицейских… в Гамбурге тоже забастовка…», в Турине уличные бои, в городах Болгарии советская власть… Поляки издеваются в Вильне над социалистами… выпороли раввина Рубинштейна, известн[ого] журналиста С. Анского, известн[ого] поэта Иоффе, критика Пичета, писателя Байтера… В Одессе вчера важное заседание пленума Совдепа, ораторы громили контрреволюционеров, появившихся среди рабочих в Одессе. <…> Вообще тон всех газет необыкновенно наглый, вызывающий, победоносный — решение «резко изменить настроение Одессы» осуществляется. Цены падают, хлеб уже 15–13 р. ф., холера растет, воды по-прежнему нет, весь город продолжает таскать ее из <нрзб.> колодцев, что есть во дворах некот[орых] домов. Буржуазии приказывают нынче явиться на учет, — после учета она вся будет отправлена на полевые работы. Угрожают, что через несколько дней будет обход домов и расстреляют «на месте» тех буржуев, кои на этот учет не явились. <…>

Щепкин, который недавно закрыл Университетскую церковь и отправил в чрезвычайку список тех служителей, кои подали протест против этого закрытия, на днях говорил открыто, что надо «лампу прикрутить», т. е. уходить в подполье, а теперь снова поднял голову.

4. /17. VIII.

Вчера опять у всех уверенность, возбужденность — «скоро, скоро!», утверждения, что взят Херсон, Николаев. <…> Пошел слух по городу, что кто-то читал в Крымских газетах, что Колчак

взял Самару, Казань (а по словам иных — и Нижний!). Вечером секретная сводка такова: Саратов обойден с с[еверо]-з[апада], взят район Глазуновки (под Орлом — и даже Орел!), взят Бахмач, поляки подошли к Гомелю, Киев обстреливается добровольцами. <…>

Нынче опять один из тех многочисл[енных] за последние месяцы дней, который хочется как-нибудь истратить поскорее на ерунду — на бритье, уборку стола, франц[узский] язык и т. д. Конечно, все время сидит где-то внутри надежда на что-то, а когда одолевает волна безнадежности и горя, ждешь, что, может быть, Бог чем-нибудь вознаградит за эту боль, но преобладающее — все же боль. Вчера зашли с Верой в архиерейск[ую] церковь — опять почти восторгом охватило пенье, поклоны друг другу священнослужителей, мир всего того, м[ожет] б[ыть], младенческого, бедного с высшей точки зрения, но все же прекрасного, что отложилось в грязной и неизменно скотск[ой] человеч[еской] жизни, мир, где <нрзб.> как будто кем-то всякое земное страдание, мир истовости, чистоты, пристойности… Вышли в архиерейск[ий] садик — на рейде два миноносца, а за молом 2 транспорта: опять привезли русских солдат из Фр[анции]. Значит, опять «две державы» — Франция и «советск[ая] власть» честь честью сносятся, ведут дело, переговоры — и свидетельство того, что Одесса далека от освобождения.

Встретили знакомых, все: «погодите еще судить, почем знать, м[ожет] б[ыть], это вовсе не то» и т. д. Нынче это, конечно, в газетах подтверждается. А газета (читал только «Борьбу») ужасна — о как изболело сердце от этой скотской грубости! Опять свирепые угрозы — «Красный террор, массовое уничтожение всех подлых гадин, врагов революции должно стать фактом!» — точно этого факта еще нет! <…>

6. /19. VIII.

В субботу 3-го взял в «Днепро-Союзе» восемь тысяч авансом за право перевести некот[орые] мои рассказы на малорусский язык. Решение этого дела зависело от Алексея Павловича Марковского, с ним я и виделся по этому поводу.

Вчера твердый слух о взятии Херсона и Николаева. Красные перед бегством из Николаева будто бы грабили город и теперь, грабя по пути, идут на Одессу — уже против большевиков. Говорят, что С. и Калиниченко бежали в 2 ч. ночи с 4 на 5 на катере. <…> Там, где обычно святцы — перечисление убийств, совершенных революционерами. Хлеб 35 р., ветчина 280 р.

Нынче проснулся оч[ень] рано. Погода превосходная.

Когда у Чрезвычайки сменяют караул, играют каждый раз Интернационал. <…>

Был 2 раза в архиерейском саду. Вид порта все поражает — мертвая страна — все в порту ободранное, ржавое, облупленное… торчат трубы давно [неразборчиво написано] заводов… «Демократия!» Как ей-то не гадко! Лень, тунеядство. <…> Как все, кого вижу, ненавидят большевиков, только и живут жаждой их ухода! Прибывшие из Франции все дивятся дороговизне, темному, голодному городу. <…> Говорят, что много красных прибежало из-под Николаева — больные, ободранные. <…>

9. /22. VIII.

В «Борьбе» опять — «последнее напряжение, еще удар — и победа за нами1» <…> Много учреждений «свернулось», т. е., как говорят, перевязали бумаги веревками и бросили, а служащих отпустили, не платя жалования даже за прежние месяцы; идут и разные «реквизиции»: на складах реквизируют, напр., перец, консервы. <…>

По перехват[енному] радио белых они будто бы уже в 30–40 верстах от Одессы. Господи, да неужели это наконец будет! <…>

Погода райская, с признаками осени. От скверного питания худею, живот пучит, по ночам просыпаюсь с бьющимся сердцем, со страхом и тоской. <…>

Грабеж идет чудовищный: раздают что попало служащим-коммунистам — чай, кофе, какао, кожи, вина и т. д. Вина, впрочем, говорят, матросня и проч. товарищи почти все выпили ранее — Мартель особенно. <…>

«Я вам раньше предупреждаю» — слышу на улице. Да, и язык уже давно сломался, и у мужиков, и у рабочих.

Летал гидроаэроплан, разбрасывал прокламации Деникина. Некоторые читали, рассказать не умеют. <…>

1920

Париж, 19 авг. 1920 г.

Прочел отрывок из дневника покойного Андреева. «Покойного»! Как этому поверить! Вижу его со страшной ясностью, — живого, сильного, дерзко уверенного в себе, все что-то про себя думающего, стискивающего зубы, с гривой синеватых волос, смуглого, с блеском умных, сметливых глаз, и строгих, и вместе с тем играющих тайным весельем; как легко и приятно было говорить с ним, когда он переставал мудрствовать, когда мы говорили о чем-нибудь простом, жизненном, как чувствовалось тогда, какая это талантливая натура, насколько он от природы умней своих произведений и что не по тому пути пошел он, сбитый с толку Горьким и всей этой лживой и напыщенной атмосферой, что дошла до России из Европы и что так импонировала ему, в некоторых отношениях так и не выросшему из орловского провинциализма и студенчества, из того толстовского гимназиста, который так гениально определен был Толстым в одной черте: «Махин был гимназист с усами…»

1921

Понедельник 22 февр. /7 марта, 1921 г. Париж.

Газета удивила: «На помощь!» Бурцева, «Спешите!» А. Яблоновского («Хлеб в Крон[штадте] должен быть не позже вторника или среды!») <…> Неужели правда это «революция»? <…> До сегодня я к этой «революции» относился тупо, недоверчиво, сегодня несколько поколебался. Но как и кем м. б. доставлено в Кр[онштадт] продовольствие «не позже среды»? Похоже опять на чушь, на русскую легкомысленность. <…>

Вечером Толстой. «Псков взят!». То же сказал и Брешко-Брешковский. Слава Богу, не волнуюсь. Но все-таки — вдруг все это и правда «начало конца»!

23 февр. /8 марта.

<…> С волнением (опять!) схватился нынче за газеты. Но ничего нового. В «падение» Петерб. не верю. Кр[онштадт] — может быть, Псков тоже, но и только. <…>

Вечером заседание в «Общ. деле», — все по поводу образования «Русского комитета национ. объединения». Как всегда, бестолочь, говорят, говорят… <…>

Возвращался с Кузьм[иным]-Караваевым. Он, как всегда, пессимист. «Какая там революция, какое Учр. Собр.! Это просто бунт матросни, лишенной советской властью прежней воли ездить по России и спекулировать!»

25 февр. /10 марта.

По газетам судя, что-то все-таки идет, но не радуюсь, равнодушие, недоверие (м. б. потому, что я жил ожиданием всего этого — и каким! — целых четыре года.)

<…> Американский Кр[асный] Кр[ест] получил депешу (вчера днем), что «Петроград пал». Это главное известие. <…>

Вчера до 2-х дочитал «14 Декабря». Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского, хотя, думаю, это не он, а тема такая. <…>

28 февр. /13 марта.

Дело за эти дни, кажется, не двинулось с места. Позавчера вечером у меня было собрание-заседание Правления Союза Рус. журналистов, слушали обвинение Бурцева против Кагана-Семенова <…> Бурцев заявил, что он, Каган, был агентом Рачковского. Были А. Яблоновский, Мирский, С. Поляков, Гольдштейн, Толстой, Каган и Бурцев. — Яблоновский сообщил,

что получены сведения о многих восстаниях в России, о том, что в Царицыне *распято* 150 коммунистов. Толстой, прибежавший от кн. Г. Е. Львова, закричал, что, по сведениям князя, у большев. не осталось ни одного города, кроме Москвы и Петерб. В общем, все уже совсем уверены: «Начало конца». Я сомневался.

Вчерашний день не принес ничего нового. Нигде нельзя было добиться толку даже насчет Красной Горки — чья она? <…>

Нынче проснулся, чувствуя себя особенно трезвым к Кронштадту. Что пока в самом деле случилось? Да и лозунг их: «Да здравствуют советы!» Вот тебе и парижское торжество, — говорили, будто там кричали: «Да здравствует Учр. Собр.!» — Нынче «Новости» опять — третий номер подряд — яростно рвут «претендентов на власть», монархистов. Делят, сукины дети, «еще не убитого медведя». <…>

1/14 марта.

<…> Прочел «Нов. рус. жизнь» (Гельсингфорс) — настроение несколько изменилось. Нет, оказывается, петерб. рабочие волновались довольно сильно. Но замечательно: главное, о чем кричали они — это «хлеба» и «долой коммунистов и жидов!» Евреи в Птб. попрятались, организовывали оборону против погрома… Были случаи пения «Боже, Царя храни».

У нас обедал Барятинский. Затем мы с Куприным и Толстым были в Бул[онском] лесу на острове.

2/15 марта.

<…> Савинков в «Свободе» все распинается, что он республиканец. А далеко не демократически говорил он, когда мы сидели с ним по вечерам прошлой весной, перед его отъездом в Польшу!

1/14 апр.

Вчера панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали молитвы, пение, плакал о России.

Савинков в Париже, был у Мережковских. Он убежден, что осенью большевикам конец. В этом убежден, по его словам, и Пилсудский, «который как никто осведомлен о русск. делах».

2/15 апр.

<…> «Полудикие народы… их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражд. жизни, легкомыслие и жестокость…» («Капит. дочка»). Это чудесное определение очень подходит *ко всему* рус. народу.

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки,

вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких нравственных потрясений…»

«Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка…» («Кап. дочка») <…>

4/17 апреля.

Опять идет снег, белый, хлопьями. Лежу со льдом, — опять кровь. Вчера приехал Манухин, мы хотели его устроить на квартире Куприных, которые уезжают в Севр. Говорит, что отношение к советской власти резко ухудшилось со стороны всех в России — он из Птб. всего полтора месяца, — убежден, что нынешним летом все кончится. Но настроение там у всех еще более подавленное, мало осталось надежд на иностр. или белую помощь. <…>

Читаю Соловьева — т. VI. <…> Беспрерывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченых удельных князей, обманное «целование креста», бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние («бьют тебе челом, холоп твой») и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние; «хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество…»), походы друг на друга, беспрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары… <…>

5/18 апр.

Карташев прислал несколько номеров советских газет. Уж, кажется, на что хорошо знаю советскую прессу — и все-таки опять поражен. Да, никогда еще в мире не было ничего подобного по гнусности и остервенелости повторения одного и того же в течение четырех лет буквально изо дня в день, из часа в час! <…>

6/19 апреля.

Уехали на дачу в Севр Куприны. Мне очень грустно, — опять кончился один из периодов нашей жизни, — и очень больно — не вышла наша близость. <…>

Была Гиппиус. О Савинкове: читал доклад о своей деят[ельности] у Чайковского, — грубое хвастовство — «я организовал 88 пунктов восстаний, в известный момент они все разом ударят…» Парижской интеллигенции грозил: «Мы вам

покажем, болтунам!» С языка не сходит «мужик» — «все через него и для него», «народ не хочет генералов». Я сказал Гиппиус: что же этот народ за ним не пошел, — ведь он не генерал? Что значит «организовал»? Ведь тут легко что угодно врать! А насчет «мужика» совсем другое говорил он мне прошлым летом! — «Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!»

8/21 апр.

<…> Герцен все повторял, что Россия еще не жила и потому у нее все в будущем и от нее свет миру. Отсюда и все эти Блоки!

6 мая (пятница) 21 года.

Был на похоронах Кедрина. Видел его в последний раз в прошлую субботу, еще думал о нем: «Да, это все люди уже прошлого времени, — заседания, речи, протесты…» Он принес нам — это было заседание Парламентского Комитета — свой проект протеста на последнее французское офиц. сообщение о Врангеле. Опять протестовать? — говорили мы с Кузьм[иным]-Карав[аевым]. Да и все полагали, что это просто бесполезно. Однако он настаивал. Всем хотелось разойтись — из неловкости стали слушать. Волновался, извинялся — «это набросок» — путался, я слушал нетерпеливо и с неловкостью за него. Мог ли думать, что через неск. дней он будет в церкви.

Нынче прелестн. день, теплый — весна, волнующая, умиляющая радостью и печалью. И эти пасх[альные] напевы при погребении. Все вспоминалась молодость. Все как будто хоронил я — всю прежнюю жизнь, Россию…

6/19. VI. 21. Париж.

Собачонка брешет где-то, а я: «собачонка брешет на улице, а ее уже нет…» Ее — Чайковской. И вроде этого весь день. А ведь я видел ее три-четыре раза за всю жизнь, и она была мне всегда неприятна. Как действует на меня смерть! А тут еще и у нас в доме кто-то умер (против Карташевых). И вот уже весь дом изменился для меня, проникся чем-то особенным, темным.

Что так быстро (тотчас же, чуть не в первый же день) восстановило меня против революции («мартовской»)? Кишкин, залезший в генерал-губернаторский дом, его огромный «революционный» бант (красный с белым розан), страстно идиотические хлопоты этой психопатки К. П. Пешковой по снаряжению поездов в Сибирь за «борцами», своевольство, самозванство, ложь — словом, все то, что всю жизнь ненавидел.

8/21. VI. 21. Париж.

Прохладно, серо, накрапывает. Воротились из церкви — отпевали дочь Чайковского. Его, седого, семидесятилетнего, в старой визиточке, часто плакавшего и молившегося на коленях, так было жалко, что и я неск. раз плакал.

Страшна жизнь!

Сон, дикий сон! Давно ли все это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это было наше, наш дом, Россия!

Полтава, городской сад. Екатер[инослав], Севастополь, залив, Графская пристань, блестящие морск. офицеры и матросы, длинная шлюпка в десять гребцов… Сибирь, Москва, меха, драгоценности, сиб[ирский] экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, Баку <…> И всему конец! И все это было ведь и *моя* жизнь! И вот ничего, и даже посл. родных никогда не увидишь! А собственно я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь… Впрочем, в этом-то и милость Божия…

27/14 июня.

Вчера были у «короля жемчугов» Розенталя. <…> Рыжий еврей. Живет <…> в чудеснейшем собств. отеле (какие гобелены, есть даже церковные вещи из какого-то древн. монастыря). Чай пили в садике, который как бы сливается с парком (Monceau). <…> Сам — приятель Пьера Милля, недавно завтракал с А. Франсом. Говорят, что прошлый год «заработал» 40 миллионов фр. <…>

6 авг. (н. с.) 21 г. Dietenmühle. Висбаден.

Сумрачно, прохладно, качание и шум деревьев. Был Кривошеин. Очень неглупый человек.

В газетах все то же. «На помощь!» Призывы к миру «спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!». А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. <…> И как надоела всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!

<…>

21. VIII. (3. IX.) 21. Висбаден.

Прогулка в лес. Мережковский читал свою статью по поводу письма 44 матерей. Сквозь лес воздушно-сизая гора на легком золоте заката.

[26. VIII. (8. IX.)]

Вчера был особенно чудесный день. Спал накануне мало, а

бодрость, бойкость и уверенность ума. Прошли утром с Верой в город полем за санаторий. Город в долине грифельный, местами розоватый блеск крыш — и все в изумит. синеве, тонкой, блестящей, эфирной.

Вечером в лесу. Готические просеки. Вдали поют дети — растут в почтении к красоте и законам мира. Листва в лесу цвета гречневой шелухи.

В России едят грязь, нечистоты, топят голодных детей в речках. И опять литераторы в роли кормителей! Эти прокормят! «Горький при смерти» — как всегда, конечно. <…>

15 сент. н. с. 21 г.

Нынче в 3 уезжаем из Висбадена. А какая погода! Дрозды в лесу, в тишине — как в России.

Быстрая начальственная походка начальников станций.

27 окт. — 9 ноября 1921 г.

Все дни, как и раньше часто и особенно эти последн. проклятые годы, м. б., уже погубившие меня, — мучения, порою отчаяние — бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, — хотя зачем это? — и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а м. б., и законных художеств. оснований?) — начать книгу, о которой мечтал Флобер, *«Книгу ни о чем»*, без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть. Дни все чудесные, солнечные, хотя уже оч. холодные, куда-то зовущие, а все сижу безвыходно дома. 17-го ноября (н. ст.) — мой вечер (с целью заработка) у Цетлиных, необходимо читать что-нибудь новое, а что? Решаюсь в крайности «Емелю» и «Безумн. художника». Нынче неожиданно начал «Косцов», хотя, пописав, после обеда, вдруг опять потух, опять показалось, 'что и это ничтожно, слабо, что не скажешь того, что чувствуешь, и выйдет патока, да еще не в меру интимная, что уже спета моя песенка. Утешаю себя только тем, что и прежде это бывало, особенно перед «Госп[одином] из С. Фр[анциско]», хотя можно ли сравнить мои теперешн. силы, и душевн. и физич., с силами того времени? Разве та теперь свежесть чувств, волнений! Как я страшно притупился, постарел даже с Одессы, с первой нашей осени у Буковецкого! Сколько я мог пить почти безнаказанно по вечерам (с ним и с Петром [П. А. Нилус]), как вино переполняло, раскрывало душу, как говорилось, как все восхищало — и дружба, и осень, и обстановка чудесного дома!

<…> Вышел пройтись, внезапно зашел в кинематограф. Опять бандиты, похищение ребенка, погоня, бешенство автомобиля, несущийся и нарастающий поезд. Потом «Три мушк[етера]», король, королева… Публика задыхается от восторга, глядя на все это (королевское, знатное) — нет, никакие революции никогда не истребят этого! Возвращался почти бегом от холода — на синем небе луна точно 3/4 маски с мертвого, белая, светящаяся, совсем почти лежащая на левое плечо.

28 ноября.

В тысячный раз пришло в голову: да, да, все это только комедия — большевицкие деяния. Ни разу за все четыре года не потрудились даже видимости сделать серьезности — все с такой цинической топорностью, которая совершенно неправдоподобна <…>

1922

1/14 янв. 1922 г.

Grand Hôtel — получение билетов на мольеровские празднества. Знакомство с Бласко Ибаньесом. Купил и занес ему свою книгу.

Вечером у Алек. Вас. Голштейн. Кто-то военный, в погонах, трогательно бедно одет. Как мало ценятся такие святые редкие люди!

Мальчик из России у Третьяковых. Никогда не видел масла, не знает слова фрукты.

Со страхом начал эти записи. Все страх своей непрочности. Проживешь ли этот год?

Новый год встречали у Ландау.

Да, вот мы и освободились от всего — от родины, дома, имущества… Как нельзя более идет это нам, и мне в частности!

2/15.

Вечером снег, вышли пройтись — как в России.

Вчера, когда возвращались из города, толпы и фотографы у Hôtel Grillon — ждут выхода Ллойд Джорджа. Чтоб его разорвало! Солнце было как королек в легкой сероватой мгле над закатом.

3/16.

Легкое повышение температ. Все-таки были на завтраке в Кларидже. Какая дешевая роскошь по сравн. с тем, что было у нас в знаменитых ресторанах! Видел Марселя Прево. Молодец еще на удивление. Мережковский так и не дождался своей очереди говорить. Даже финн говорил, а Мережк., как представитель России, все должен был ждать. Я скрипел зубами от обиды и боли.

4/17.

Визит ко мне Пуанкарэ — оставил карточку.

Поздно засыпаю, — оч. волнуюсь, что не пишу, что, может, кончено мое писание, и от мыслей о своей промелькнувшей жизни.

5/18.

Ездил с Мережковск. на мольеровский банкет <…> Все во фраках, только мы нет, хуже всех. Речь Мережк. была лучше всех других, но не к месту серьезна. И плохо слушали, — что им мы, несчастн. русские!

<…>

8/21 января.

Кровь. Нельзя мне пить ни капли! Выпил вчера два стаканчика и все-таки болен, слаб. И все мысли о Юлии, о том, как когда-то приезжал он, молодой, начинающий жизнь, в Озёрки… И все как-то не верится, что больше я никогда его не увижу. Четыре года тому назад, прощаясь со мной на вокзале, он заплакал (конец мая 1918 г.). Вспомнить этого не могу.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, — слабостью воображения, недуманием, недодумыванием.

9/22 января.

«Я как-то физически чувствую людей» (Толстой). Я *всё* физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!

В газетах все та же грязь, мерзость, лукавство политиков, общая ложь, наглость, обманы, все те же вести о большевицком воровстве, хищничестве, подлости, цинизме… «Цинизм, доходящий до грации», пишут своим гнусным жаргоном газеты. Царица Небесная! Как я устал!

10/23 января.

Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом… почувствовать его как отца…

По ночам читаю биографию Толстого, долго не засыпаю. Эти часы тяжелы и жутки.

Все мысль: «А я вот пропадаю, ничего не делаю». И потом: «А зачем? Все равно — смерть всех любимых и одиночество великое — и моя смерть!» Каждый день по 100 раз мысль вроде такой: «Вот я написал 3 новых рассказа, но теперь Юлий уже никогда не узнает их — он, знавший всегда каждую мою новую строчку, начиная с самых первых озерских!»

11 /24 января.

Я не страдаю о Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, м. б. потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь… Ужасающая мысль о нем часто какая далекая, потрясающая молния… Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец.

И весна, и соловьи, и Глотово — как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием — Круглое, соловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озёрках, морозы, лунные ночи… Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это «ровно десять нас числом», что пел Юлий… А впрочем — зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман.

12/25 января.

Христианство погибло и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения. И снова мир погибнет — и опять будет Средневековье, ужас, покаяние, отчаяние…

14/27 января.

Был секретарь чешск[ого] посольства — 5000 фр. от Бенеша и приглашение переехать в Тшебову. Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя. О Тшебове подумаю.

15/28 января.

Послал Гутману отказ от сотрудничества в качестве поставщика статей для «Утра», предложил 2 рассказа в месяц за 1600 фр. Гутман мое «Еще об итогах» сократил и местами извратил. Пишу «революция» — он прибавляет «коммунистическая». О Горьком все выкинул. <…>

У Карташевых был Струве. Тянет меня в Прагу неистово.

16/29 января.

Дождь, темно, заходил к Мережковским. Он спал (пять часов дня) — после завтрака у Клода Фаррера. Фаррер женат на актрисе Роджерс, когда-то игравшей в Петерб. Она только что получила письмо от Горького: «В Россию, верно, не вернусь, переселяюсь в горные селения… Советский минотавр стал нынче мирным быком…» Какой мерзавец — ни шагу без цели! Все это, конечно, чтобы пошла весть о его болезни, чтобы парализовать негодование (увы, немногих!) за его работу с большевиками и чтобы пустить слух, что советская власть «эволюционирует». И что же, Роджерс очень защищала его.

Мережк. признавался, что изо всех сил старается о рекламе себе. — «Во вторник обо мне [будет] статья в «Журналь» — добился-таки!»

18/31 января.

Послал письмо Магеровскому — запрос о Моравской Тшебове и на каких условиях приглашают туда.

20 ян. /2 февраля.

Посылаю Дроздову «Восьмистишия»: 1. Поэтесса, 2. В гавани, 3. Змея, 4. Листоп[ад], 5. Бред, 6. Ночной путь, 7. Звезды. <…>

Дождь, довольно холодно, но трава в соседнем саду уже яркая, воробьи, весна.

Вечером у нас гости <…> Провожал Савинкову: «Все-таки, если теперь бьет по морде мужика комиссар, то это — свой, Ванька». Конечно, повторяет мужа. А урядник был не Ванька? А Троцкий — «свой»?

21 ян. /3 февраля.

Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, — говорит Белый, — дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет.

22 ян. /4 февраля.

От 4 до 6 у Цетлиной «Concert» франц. артистов в пользу Тэффи <…> Все артисты одеты сугубо просто — чтобы подчеркнуть домашний характер концерта. Исполнения изумит[ельные] по свободе, простоте, владению собой, дикцией; по естественности и спокойствию — не то что русские, которые всегда волнуются и всегда «нутром». М-ль Мустангетт похожа на двадцатилетнюю, а ей, говорят, около пятидесяти. Верх совершенства по изяществу и ловкости. Партнер — молодой человек нового типа молодых людей — вульгарного, американского. Танцы — тоже гнусные, американские. Так во всем — Америка затопляет Старый Свет. Новая цивилизация, плебейская идет. <…>

23 ян. /5 февраля.

Видел во сне поезд, что-то вроде большой теплушки, в которой мы с Верой куда-то едем. И Юлий. Я плакал, чувствуя к нему великую нежность, говорил ему, каково мне без него. Он спокоен, прост и добр. <…>

25 янв. /7 февраля.

Панихида по Колчаке. Служил Евлогий. Лиловая мантия, на ней белые с красным полосы. При пении я все время плакал. Связывалось со своим — с Юлием и почему-то с Ефремовым, солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец. И как всегда на панихидах какое-то весеннее чувство. <… >

30 янв. /12 февраля.

Прогулки с Ландау и его сестрой на Vinese, гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Véfour, основанном в 1760 г., кафе «Ротонда» (стеклянная), где сиживал Тургенев. Вышли на Avenue de I'Opéra, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К черту демократию!», глядя на эту луну. Ландау не понимал — при чем тут демократия?

31 янв. /13 февраля.

Завез в «Отель Континенталь» карточку и книгу «M. de S. Franc[isco]». Бенешу. Через два часа — его секретарь с карточкой, — ответный визит. Послал книгу (ту же) Пуанкарэ.

Прошлую ночь опять снился Юлий, даже не он, его, кажется, не было, а его пустая квартира, со связанными и уложенными газетами на столах. Вот уже без остроты вспоминаю о нем. Иногда опять мысль: «а он в Москве, где-то в могиле, сгнил уже!» — и уже не режет, а только тупо давит, только умственно ужасает.

1/14 февраля.

Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние.

5/18 февраля.

Дождь. Стараюсь работать. И в отчаянии — всё не то!

Опять Юлий во сне. Как он должен был страдать, чувствуя, что уже никогда не увидеться нам! Сколько мы пережили за эти четыре года — так и не расскажешь никогда друг другу пережитого!

Вдруг вспоминаю — пятый час, солнце, Арбат, толпа, идем к

Юлию… Этому конец навеки!

Боже, какой океан горя низвергли большевики на всех нас! Это надо помнить до могилы.

Вечером у нас Злобин. Вышли пройтись, проводить его в 11 — в тихой темной улице старик, под шляпой повязанный платком, роется в мусорном ящике, что выставляют консьержки на ночь возле каждого дома, — что-то выбирает и ест. И м. б. — *очень счастливый человек!*

7/20 февраля.

Солнце, облака, весна, хотя еще прохладно. Вышел на балкон — 5-й час — в чистом, углубляющемся небе одно круглое белое облако висит. Вспомнил горы, Кавказ, небо синее, яркое и в нем такое же облако, только ярче, белее — за что лишил меня Бог молодости, того, теперь уже далекого времени, когда я ездил на юг, в Крым, молодой, беззаботный, люд[ей] — родины, близких? Юлий, наша поездка на Кавказ… Ах, как бесконечно больно и жаль тейого счастья!

11/24 февраля.

<…> Обедали у Цетлиных с Бакстом. Познакомился с Дионео <…> Понравился.

12/25 февраля.

<…> Все, что писал эти дни, — «Безымянные записки», — противно, чепуха.

16 ф. /1 марта.

Репетиция «Любовь книга золотая» Алеши Толстого в театре «Vieux Colombier». Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу старину в таком (главное, неправильном) виде. Обедали у Ландау с Куприным. Куприн жалок и нищенской одеждой и общим падением.

14 марта.

Бальмонтам пишут из Москвы: «Очень трудно, одному на прокормление хлебом и картошкой надо пять[десят] мил[лионов], а служащие получают два с половиной мил[лиона]». <…>

18 марта.

<…> В 5 — лекция Жида о Дост[оевском]. <…> Жид не похож на художника, — пастор какой-то. Познакомились <…> Заснул Поздно, читал «Палату ном. 6». Волнение, — очень

нравится, — мучительное желание и себе писать, и чувство, что ничего не могу, что я полный банкрот — и что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый день дорог, что старость уже на пороге, — да, уже форм[енная] старость.

19 марта.

Погода опять чудесная, все то же за окном серое, чуть сиреневое, без единого облака небо (что-то вроде нашего севастопольского) и каменный красивый беспорядок домов.

Тоска до слез. Опять бесплодно посижу, почитаю «Посл. нов.», от вестей и подлости которых плакать хочется, — и опять погибший день. Все, что ни вспомню о парижской жизни, отравлено тайной, непонятной тоской.

6 апреля 22 г.

Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрявшего в Кременчуге старого актера. <…> Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы! <…>

8 апреля.

<…> На ночь читал Белого «Петербург». Ничтожно, претенциозно и гадко.

9 апреля 22 г.

Ездил в Сен-Сир и в Версаль <…> мысль переселиться в В[ерсаль] на лето или на весь год. Поехал в окрестности, много прошел пешком. Прелестный день.

Вечером разговор с Карташевым. Он, как и я, думает, что дело сделано, что Россия будет в иностр[анной] кабале, которая, однако, уничтожит большевиков и которую потом придется свергать. В тысячный раз дивились, до чего ошалел и оподлел мир. <…>

Кондукторша на трамвае по пути в Версаль: довольно полна, несколько ленивые масляные глаза, два-три верхних зуба видны, чуть прикусывают нижнюю губу. От этого губы всегда влажны, кажутся особ. приятными.

10 апреля.

В посольстве доклад генерала Лохвицкого, приехавшего из Владивостока. Барская фигура Гирса.

Возвращался — пустые улицы и переулки после дождя блестят, текут, как реки, отражая длинные полосы (золотистые) от огней, среди которых иногда зеленые. Вдали что-то церковное

— густо насыпанные белого блеска огни на Place Concorde. Огни в Сене — русск. национал. флаги.

11 апреля.

Все дождь, дождь, к вечеру теплее, мягче, слаже. Не могу слышать без волнения черных дроздов.

В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц. <…>

19 апреля.

Все то же — безделье от беспокойства, необеспеченности, мука — куда ехать? Квартира зарезала!

23 апреля.

Ездили с Верой через Maison Lafitte в С. Жермен. Чудесная погода, зеленеющий лес.

Вечер Шлецера и Шестова. Шлецер, осыпая похвалами Гершензона и В. Иванова, излагал содержание их книжечки «Из двух углов». <…>

6 мая.

Вечером курьер из М[инистерства] Ин[остранных] Дел — орден и диплом Of[fice] de 1'Instr[uction] Pub[lique].

9 мая.

Вечером у Мережковских с Клодом Фаррером и его женой, Роджерс. Хвалили меня Фарреры ужасно. Сам особенно: вскочил, уступая мне свое кресло, усаживал, «cher maitre»… Большой, седой, волосы серебр., а местами золотые, голос довольно тонкий, живость, жестикуляция чрезмерная (говорят, кокаинист). <…>

20 сент. /3 окт. 22 г. Шато Нуарэ, Амбуаз.

<…> В Берлине опять неистовство перед «Художественным театром». И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары — нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А и театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять «На дне» и «Вишневый сад». И никому-то даже и в голову не приходит, что этот «Сад» самое плохое произведение Чехова, олеография, а «На дне» — верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и что вообще играть теперь Горького, если бы даже был

и семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в полит[ическом] смысле. А как не стыдно публике? «Рулю»?

Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым. И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будет и будет петь — сто, двести, пятьсот лет.

Читаю Блока — какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. <…> Да, таинственность, все какие-то «намеки темные на то, чего не ведает никто» — таинственность жулика или сумасшедшего. Пробивается же через все это мычанье нечто, в конце концов, оч. незамысловатое.

9/22 окт.

<…> В газетах пишут: «От холода и голода в России — паралич воли, вялость, уныние, навязчивые идеи, навязчивый страх умереть с голоду, быть убитым, ограбленным, распад высших чувств, животный эгоизм, мания запасаться, прятать и т. д.».

Тот, кто называется «поэт», должен быть чувствуем, как человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны излияния души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки. <…>

10/23 окт. 22 г.

День моего рождения. 52. И уже не особенно сильно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился.

День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове — щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив крылышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по-нашему, по-помещичьи. <…>

28. XI. (11. XII.) 22 г.

У Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: «Это заблудшие дети».

Да, да, блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он печатался в «Нов. вр.»

Кафедру рус. литературы предлагают мне чехи. Откажусь. <…>

У Фонд[аминских] муж Л. С. Гавронской, Бор[ис] Осип[ович], доктор, только что из России: «жить в России немыслимо, вся Россия острог, вся поголовно больна, кроме главарей…» А в Париже все кричат о том, что большевики «в панике». Всё затем, чтобы сказать: «Всё обойдется и без Врангелей».

1923

1/14 янв. 1923.

Новый год встречали у кн. Пл. Ник. Аргутинского. Нувель, Зилотти. Позднее художн[ик] Пикассо с женой, которая по происхожд. русская. Маленький, довольно простонародного склада. <…>

<Без даты>

Укус змеи нечто совсем особое, мистически странное, незапамятно древнее.

Летом 23 года мы с Моисеенко ехали в автомобиле из Граса в Тулон. Моисеенко в какой-то долине остановил машину, чтобы что-то исправить в ней, я перескочил с шоссе через канаву, лег головой к ней в траву, хотел отдохнуть, покурить, как вдруг услыхал, как что-то змеей мелькнуло возле меня и в то же мгновение я, от моего постоянного патологического ужаса к змеям, так дико взбросил ноги в воздух, что дугой перелетел через канаву назад и стал на ноги на шоссе — сделал то, что мог бы сделать лишь какой-нибудь знаменитый акробат или мой древний пращур, тигр, барс. — Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности еще таятся в нас с пещерных времен. <…>

3/16 авг. 23 г.

Купанье в Восса. Вокзал, олеандры, их розаны и голубая синева моря за ними. Три купальщицы, молоденькие девушки. Незабываемое зрелище. Очки цвета йода. <…>

5/18 авг. 23 г.

После завтрака облака на западе. Скоро понял, что не облака. Говорят, что идет страшный лесной пожар <…> Часа в четыре все ближе докатывающийся до нас мистраль, хлопанье дверей по всему дому. Облака заняли треть неба. Густое гигантское рыжевато-грязное руно — Апокалипсис! Ночью огонь.

6/19 авг. 23 г.

Lassus maris et viarum — устав от моря и путей. Гораций. Как хорошо!

При воспоминании вспоминается и чувство, которое было в минуту того, о чем вспоминаешь.

7/20 авг. 23 г.

Опять купался в Восса. Перед вечером перед домом, по саду спокойный, недвижный, чуть розоватый свет. И запах гари. Август, август, любимое мое.

Gefühl ist alles — чувство всё Гёте.

Действительность — что такое действительность? Только то, что я чувствую. Остальное — вздор.

Несрочная весна.

Grau, lieber Freund, sind alle Theorien,
Doch ewig grün das goldene Baum des Lebens —

Все умозрения, милый друг, серы,
Но вечно зелено златое Древо Жизни.

Лаоцзы, написавший Тао-те-кин, родился с седыми волосами, старцем. Страшная гениальная легенда!

«Мысль изреченная есть ложь…» А сколько самой обыкновенной лжи! Человеческий разговор на три четверти всегда ложь, и невольной, и вольной, с большим старанием ввертываемой то туда, то сюда. И все хвастовство, хвастовство.

Ночью с 28 на 29 авг. (с 9 на 10 сент.) 23 г.

Проснулся в 4 часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них.

Конец сент. 1923 г., Грас.

Раннее осеннее альпийское утро, и звонят, зовут к обедне в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековый звон — все то же, что и тысячу, пятьсот лет тому назад, в дни рыцарей, пап, королей, монахов. И меня не было в те дни, хотя вся моя душа полна очарованием их древней жизни и чувством, что это часть и моей собственной давней, прошлой жизни. И меня опять не будет — и очень, очень скоро — а колокол все так же будет звать еще тысячу лет новых, неведомых мне людей.

Воскресенье, 16/29 окт. 23 г.

Поездка на Лоренские острова. Чай в Grill Room на набережной в Cannes. Сумерки, хмуро, теплый ветер, мотающий краями маркиз за окнами. Окна налились сине-фиолетовым, за ними в разные стороны раскинутые, махающие перья пальмы, в море туман, огонь — рубин далекого маячка на молу. В Grill'e зажженные хрустальные люстры, и такие же, отраженные, висят

за окнами, над улицей, не мешая видеть пальму. Музыка, удивительно не подходящая к публике, — то ироническая, то страстно-грозно-печальная, виолончель, как женский голос. Метрдотель маленький, круглый, ручки удивительно отдельные от тела, на быстром ходу махающиеся. Молодой лакей в белой куртке, итальянец, черные конские волосы, почти нет лба. Музыкант за пианино похож на немца, скрипка — все косое, ушедшее в нос лицо, виолончель — очень красивый португалец. Из всей публики выделяется намазанная старая дама, страшная как смерть.

Все время думал о <…>. Он мысленно всех раздел, знает всю грязь — тайную — белья музыкантов, лакеев, вообразил все их пороки. Хорошо бы написать такой рассказ. Он, например, сидит долго, долго в нужнике — некуда идти ночевать, — вспоминает всю свою жизнь…

1924

Понедельник, 3 марта, 24.

Станиславск[ий] и пр. сняли фотографию где-то в гостях вместе с Юсуповым. Немедленно стало известно в Москве. Немирович в ужасе, оправдывается: «Товарищи, это клевета, этого быть не может, я телеграфирую в Америку!» А из Америки в ответ: «Мы не виноваты, вышло случайно, мы страшно взволновались, когда узнали, что попали на один снимок с Юсуповым». О, так их, так! Ум за разум заходит, когда подумаешь, до чего может дойти и до чего может довести «социалистич. правительство»!

1 июня (н. с.) 24 г.

Первые дни по приезде в Mont Fleuri страшно было: до чего все то же, что в прошлом году!

Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке… Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас.

И чувство это еще ужаснее от того, что я так бесконечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и вообще на земле!

1/14. VII. 24.

Цветет гранатов[ое] дерево — тугой бокальчик из красно-розов[ого] воска, откуда кудрявится красная бумажка. Листики мелкие, глянцевитые, темно-зелен[ые]. Цветут белые лилии — стоят на обрыве против моего окна и так и сияют насквозь своей белизной, полные солнечн[ого] света. С неделю назад собрали апельсинный цвет, флердоранж.

Очень, оч. часто, из года в год, вижу во сне мать, отца, теперь Юлия. И *всегда* живыми — и никогда ни малейш[его] удивления!

«Уныние, собран[ное], как зрелые плоды» — Верлен. «Боевые знамена символизма… молодежь признала в В[ерлене] своего вождя…» И ни одной анафеме не приходит в голову, какие это колоссальные пошлости!

«Генеральск[ий] бунт в Испании»… Ну, конечно, раз генералы, раз правые — бунт! «Остатки демократи[ческой] и социалистич[еской] совести…» Даже и совесть-то у этих сукиных детей социалистическая, демократическая!

4/17 авг. 24 г.

У Пилкиных. Вдова Колчака, его сын. Большое впечатление — какие у него темные, грозные глаза!

10/23 авг.

Когда Марс восходит, он красный. Потом оранжевый.

В 4-м часу ночи проснулся. Истинно дивное небо! Все точно увешано золотыми цепями, созвездиями. Над горой направо, высоко — совершенно золотой серп месяца, ниже, под ним, грозное великолепие Ориона, а над ним, совсем в высоте, — Стожар. Направо, почти над седловиной Наполеона, над горой крупной золотой звездой садится Марс.

Неклюдов. Совершенно не слушает собеседника, соверш. не интересуется им!

9 сент. н. с. 24 г.

<…> Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земн[ое] существование как временное пребывание на какой-то узловой станции! <…>

1928

9. 1. нов. ст. <и дальше все по новому стилю>.

На пути в Cannes слезли, не доезжая, пошли по рощам мимоз. Солнечное предвечернее время.

24. 1.

Г[алина] начала переписывать вторую книгу «Жизни Арсеньева».

27. 1.

Кончила переписку.

<…>

1929

11. IX. 29.

Завтрак в Antibes у Сорина — с Глазуновым и его женой, Тэффи и Тикстоном. Глазунов вполне рамоли, тупой, равнодушный, даже сюртук как на покойнике. «Вернетесь в Россию?» — «Да-а… Там у меня много обязанностей… Относятся ко мне чрезвычайно хорошо…» И даже рассказал, как кто-то очень важный снял с себя и возложил на него цепь с красной звездой. Получает 200 р. пособия большевицкого.

?-XI-29.

Солнечный день, на пути в Cannes — обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы несказанно-прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картинными облаками. Совершенно панно.

30-XI-29.

Если бы теплая, большая комната, с топящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь. <… >

1931

31. X. 31.

Без четверти пять, мой любимый час и вид из окна (на закат, туда, к Марселю). Лежал, читал «Письма» Мансфильд, потом закрыл глаза и не то подумал (соверш. неизвестно, почему) о кукованье кукушки, о дали какого-то весеннего вечера, поля, леса, не то услыхал это кукованье и тотчас же стал действительно слышать где-то в далекой и глухой глубине души, вспомнил вечер нынешней весной, похожий на русский, когда возвращались с Фондаминскими из С. Валье, вспомнил его, этот вечер, уже как бесконечно-давний молодой и счастливо-грустный, и все это связалось с какими-то воспоминаньями и чувствами моей действительной молодости… Есть ли вообще голос птицы прелестней, грустней, нежней и юней голоса кукушки!

Третий день хорошая погода. Рука лучше.

1-XI-31.

«La Toussant». Были с Верой на музыке, потом пошли в собор. <…> Видел черепа: St. Honorat'a и St. Yeugoilf'a. В 3 началась служба — под торжественно-звучные звуки органа выход священнослужителей, предшествуемых мальчиками. Потом труба и песнопения — безнадежно-грустные, покорные (мужские голоса) под оч. тугие, кругло-катящиеся, опять-таки очень звучные звуки органа, с его звучным скрежетом и все более откуда-то освобождающимся рычанием, потом присоединение ко всему этому женских голосов, уже грустно-нежными, умиленными: «А все-таки, Господи, Ты единое прибежище!»

От Гали письмо. (Она в Париже.) Завтра «Jour des Morts» или «Les Morts»[16].

3-XII-31.

Четыре с половиной. <…> Вошел в кабинет, уже почти темный. Удивительная огненная красота облачного заката над морем — особенно сквозь черный (как бы железный) узор черно-зеленого шара мандарина. Над той горой, за которой С. Рафаэль, желто-палевое. Эстерель уже стал синим туманом. Маленькое поле плоского зелено-сиреневого слабо видного моря. В нашей долине и в городе все в темной синеве, в которой зажигаются огни. Когда зажег огонь у себя, облака над городом сделались цвета подсохших лиловых чернил (оч. мягкого). Потушил огонь — лиловое превратилось в фиолетовое.

Чувство ясности, молодости, восприимчивости, дай Бог не

сглазить.

1932

10. III. 32. Grasse.

Темный вечер, ходили с Галей по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг — подвал пекарни, там топится печь, пекут хлебы — и такая сладость жизни.

Понед., 3. X. 32.

В городе ярмарка St. Michel, слышно, как ревут коровы. И вдруг страшное чувство России, тоже ярмарка, рев, народ — и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особ. силой в России? Ни на что не похожая страна.

Потом представилось ни с того, ни с сего: в Париж приехал англичанин, разумный, деловой, оч. будничный человек. Отель, номер, умылся, переоделся, вышел, пошел завтракать. Во всем что-то такое, что сам не узнает себя — чувство молодости, беспричинного счастья… Напился так восхитительно, что, выйдя из ресторана, стал бить всех встречных… Везли в полицию соверш. окровавл[енного].

18. X. 32.

Лежал в саду на скамье на коленях у Г., смотрел на вершину дерева в небе — чувство восторга жизни. Написать бы про наш сад, — что в нем. Ящерицы на ограде, кура на уступе верхнего сада…

1933

8. VI. 33.

7 1/2 вечера, подъезжаю к Марселю. Горы голые, мелового цвета, ужасные предместья. Мост, под ним улица, трамвай… Рабочие улицы, ужас существования в них. Всякие депо, шлак… Еще жарко, сухо. Зажженные алым глянцем стекла в домах на горе. Вдали Notre Dame de la Garde… К какому-нибудь рассказу: больной подъезжает к большому городу.

10. VII. 33.

Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром.

Два поэта

Ив. Бунину
Мы — тигр и лев, мы — два царя земные.
Кто лев, кто тигр, не знаю, право, я.
В обоих — блеск и роскошь бытия,
И наш наряд — узоры расписные.
Мы оба пред врагом не склоним выи,
И в нас не кровь, а пламенней струя.
Пусть в львиной гриве молвь, — вся власть моя, —
В прыжке тигрином метче когти злые.
Не тигр и лев. Любой то лев, то тигр.
Но розны, от начала дней доныне,
Державы наши, царские пустыни.
И лучше, чем весь блеск звериных игр, —
Что оба слышим зов мы благостыни,
Призыв Звезды Единой в бездне синей.

Кламар, 1933, 5 июня К. Бальмонт.

Я написал в ответ:

Милый! Пусть мы только псы.
Все равно: как много шавок,
У которых только навык
Заменяет все красы.

21. VII. 33.

Вечер, шел через сад Montfleury, чувствовал снова молодость и *великое одиночество*. <…>

В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе — она их, защищаясь, выбрасывала.

Почти все сверстники были грз. [гораздо] взрослей меня. Vita scribi ne quit[17].

30. VII. 33. Grasse.

Проснулся в 4 1/2. Довольно сумрачно — рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерел[ем], над Антибск[им] мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет.

Вечером гроза. Лежал, читал — за окнами содрогающееся, голубое, яркое, мгновенное.

Ночью во мне пела «Лунная соната». И подумать только, что Бог все это — самое прекрасное в мире и в человеческой душе <нрзб.> с любовью к женщине, а что такое женщина в действительности?

17. XI. 33. Воскресенье.

Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе — и такая жалость, что… А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот.

Уехал Рощин. Тихий сероватый день. И все напевается внутри «Яблочко» — истинно роковая песня России. Какая в ней безнадежная тоска, гибельность!

Coitus — восторг чего? Самозарождения? Напряжения жизни? Убийства смерти?

За последнее время опять — в который раз! — перечитал «Анну К[аренину]» и «Войну и м[ир]». Нынче кончил почти четвертый том — осталась посл. часть «Эпилога». Про Наполеона неотразимо. Испытал просто ужас, и до сих пор обожествлен!

18. IX. 33. Понедельник.

Удивительно прекрасный день. Был в Cannes <…> Сидел на скамеечке перед портом, ел виноград. Был у Карташевых <…> Опять он поразил меня талантливостью. <…>

Читаю «М[ертвые] души». Нельзя читать серьезно — оч[ень] талантл[ивый] шарж и только. А чего только не наплели! «Гениальн. изображение пошлости…» И чего только сам не вообразил! «Горьким словом моим посмеются…» России почти не видал, от этого местами нелепое соед[инение] Малороссии и Великороссии.

Умер Осип Серг. Цетлин. И осталось Монте-Карло, вечная праздничная синь моря.

1. X. 33.

Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь! <…>

Проснулся оч. рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин.

Прочел 2/3 «Воскресения» (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что ли).

Известие в письме из Москвы о смерти Насти. Оказывается, умерла уже «года три тому назад». Какой маленький круг от начала до конца человеч. жизни! Как я помню, как я гимназистом ехал с ней, держа венч[альную] иконку, в карете в Знаменское! В жизни то и дело изумление, недоумение, а выражать это — наивность!

12. X. 33.

Прекрасный день, но ничего не мог писать. Кажется, серые, прохл., вернее, совсем свежие дни лучше для меня (для работы). Только теперь.

Проснулся часов в 5— уже не первый раз за последн. [время] под пение петухов.

Думал: что тут главное? Кажется, что очень горловое, ни чуточки груди. И напряженное. И еще думал: как хорошо так жить — живу с природой, с петухами, с чистым воздухом горным (сплю все еще внизу, отворяя дверь в столовую, где открываю балконную дверь).

13. X. 33.

Ездил в Cannes. Хороший день, что-то пододесское осеннее. Море похоже на Черное. Купание кончилось. Пляж пустой и стал маленький, главное — маленький.

15. X. 33.

По утрам, проснувшись, слышу, как лают собаки на соседней дачке уже совсем новым, зимним лаем: за этим лаем зима (южная), глушь, свежесть (та, что у нас в октябре).

20. X. 9 ч. утра.

16-го послал avion Полонскому в Холливуд. 18-го еще.

Нынче проснулся в 6 1/2. Лежал до 8, немного задремал.

Сумрачно, тихо, испещрено чуть-чуть дождем возле дома.

Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все-таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не м. б.! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного события, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, напр.!) Только один раз — Академия. И как *неожиданно*! А их ждешь…

Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, *смириться мужественно*.

[10. XII. 1933]

В день получения prix Nobel.

Был готов к выезду в 4 1/2. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание — «концертное». Лауреатов провели отдельным входом. Все три молодые <нрзб.> который должен был произнести обо мне речь (Секр. академии?).

В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду — король стоит, весь зал стоит.

Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые вышитые кресла и стулья — король в центре. Двор и родные короля. Король во фраке (?). Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам — король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За королем и Двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера, Галя, старушка-мать физика-лаурета. Первым говорил С. об Альфреде Нобеле.

Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магний, нас снимают. Я отвечаю ему.

Аплодисменты прерывают наш разговор, Я делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что

это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой-матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках написаны в русском билибинском стиле две картины — особое внимание со стороны Нобелевского комитета. Никогда, никому этого еще не делалось.

1934

[Без даты]

Летом в Грасе со мной случился у калитки «Бельведера» совершенно неожиданный внезапный обморок (первый раз в жизни): ездил с Зайцевым к художнику Стеллецкому, очень устал за день, ничего не ел с утра до вечера и вот, возвратясь в Грас из Канн в автокаре и поднявшись на гору к этой калитке, вдруг *исчез*, совершенно не заметив этого, — исчез *весь* в мгновение ока — меня вдруг не стало — настолько вдруг и молниеносно, что я даже не поймал этой секунды. Потом так же вдруг увидел и понял, что лежу в кабинете на диване грудь облита водой, которую мне бесчувственному давали пить… Внезапная смерть, вероятно, то же самое.

1935

8. III. 35. Grasse.

Уже пятый час, а все непрерывно идет мягкий снег — почти с утра. Бело сереющее небо (впрочем, не похоже на небо) и плавно, плавно — до головокружения, если смотреть пристально — текущая вниз белизна белых мух, хлопьев.

План ехать нам всем трем в Париж.

Разговор с Г. Я ей: «Наша душевная близость кончена». И ухом не повела.

6. VII. 35. Grasse.

Бетховен говорил, что достиг мастерства тогда, когда перестал вкладывать в сонату содержание десяти сонат.

Вчера были в Ницце — я, Рощин, Марга и Г. Мы с Р. съездили еще в М.-Карло. Жара, поразит. прекрасно.

Без конца длится страшно тяжелое для меня время.

15. VIII. 35. Grasse.

Вчера Cannes, купанье в новой купальне, — все англичане — тучи, ветер. В кафе встретил их. Выпил 2 рюмки коньяку. В Грасе купил Тавель и еще 1/4 коньяку. За обедом 1/2 б. вина, хлебнул еще коньяку, после обеда был очень говорлив, но не чувствовал себя во хмелю, лег полежать — и заснул. Проспал одетый до 4 утра, пил кофе и опять заснул до 10. Состояние странное, гибельное, но спокойное.

Так вот и умру когда-н. — заснув, — делаю над собой нечто непостижимое.

Успенье — весь день этот грасский звон колоколов — как на Пасху. <…>

Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире.

Позавчера, в лунную ночь, М. устроила в саду скандал В.

У нас уже дней 5 Каллаш.

Любить значит верить.

1936

22. IV. 36. Grasse.

Был в Cannes, взял билет в Париж на пятницу (нынче среда), в 10 ч. 37 утра (поезд Пульман). Шел по набержн., вдруг остановился: «Да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Счастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное. <…>

23. IV. 36.

Заснул вчера около двух часов ночи, нынче проснулся около 8. Живу не по годам. Надо опомниться. Иначе год, два — и старость.

Первый день хорошая погода.

Когда-то в этот день — 10 апр. 1907 г. уехал с В. в Палестину, соединил с нею свою жизнь.

26. IV. 36. Париж.

Приехал позавчера (в пятницу) в половине одиннадцатого. Тотчас наделал глупостей: тотчас поехал на вечер Бальмонта. Но вечер уже кончился — с rue Las-Cases помчался в café Murat, потом в Les Fontaines, 2 больших рюмки мару, ужасная ночь.

Вчера серо, яркая молодая зелень и свинцовый тон неба — мрачное впечатление.

Вечером *дома*. Потом Rotond de la Muette, Цетлины, Алданов и Керенский со своей австралийкой (не первой молодости, в хороших мехах, еврейка, кажется).

Нынче дождь. Безнадежная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться.

Выборы. Блюм.

8. V. 36. Grasse.

Вернулся из Парижа позавчера.

В Польше читать мне не разрешили: «Просили писатели других держав», — очевидно, русские, советские, — «мы не разрешили, так что разрешить Бунину было бы не куртуазно».

О чувстве божественного — ночь, звезды, ходил в саду.

9. V. 36. Grasse.

Весь день дождь. Убираю вещи — м. б., из Граса, благодаря Блюму, придется бежать.

Дай Б. не сглазить — эти дни спокойнее. М. б., потому, что в Париже принимал 2 недели Pankrinol-Elexir.

Она в Берлине.

Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни.

Радио, джазы, фокстроты. Оч. мучит. Вспоминаю то ужасное время в J. les-Pins, балы в Париже, — как она шла под них. Под радио все хочется простить.

10. V. 36.

Заснул в 3, проснулся в 8. Дождь.

Да, что я наделал за эти 2 года. <…> агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочин. бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу… И впереди старость, выход в тираж. <…>

7. VI. 36. Grasse.

Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, — душевнобольной. <…>

Вчера Блюм начал свое правление. Забастовки, захваты заводов. <…>

14. VI. 36. Grasse.

<…> Был в Ницце — «День рус. культуры». Постыдное убожество. Когда уезжал (поехал на Cannes), за казино (в Ницце) огромная толпа… Все честь честью, как у нас когда-то — плакаты, красные флаги, митинги.

В Grass'е тоже «праздник». Над нашим «Бельведером», на городской площадке, тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, «Марсельеза», и «Интернационал», на бархатных красных флагах (один из которых держали мальчик и девочка лет по 6, по 7) — серп и молот. <…>

Надо серьезно думать бежать отсюда. <…>

Видел в Ницце Зайцевых. <…> — грустные, подавленные тем, что происходит в Париже.

Душевно чувствую себя особенно тяжело. Все одно к одному!

1. VII. 36. Grasse.

Все занят «Освобождением Толстого».

Ночь с 7 на 8. VII.

Изумительные белые облака над садом и из-за гор. Луна в озере барашков.

16. VIII. 36.

Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть ни каждый шаг был глупостью, унижением! И все время полное безделие, безволие — чудовищно бездарное существование!

Опомниться, опомниться!

1. XII. Париж.

Светлая погода. И опять — решение жить здоровее, достойнее. <…>

1937

19. VIII 37. Венеция.

Вчера приехал сюда в 5 ч. вечера с Rome Express. Еду в Югославию. Остановился в Hôtel Britania.

Нынче был на Лидо. Огромно, гадко, скучно. Обедал у Бауэра.

Лунная ночь, 9 часов — всюду музыкально бьют часы на башнях. <…>

1938

[Без даты]

«Труднее *этого* заработка — чтениями — кажется, *ничего нет*.

Вагоны, отели, встречи, банкеты — и чтения — актерская игра, среди кулис, уходящих к чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком. <…>

После чтения был банкет. Множество речей, — *искренно* восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал: кажется, вполне убежден, что я по крайней мере Шекспир…»

5. XI. 38. Beausoleil.

Лун. ночь. Великолепие неб[есной] синевы, объемлющей своей куполообразностью, глубиной и высотой все — горы, море, город внизу. И таинств., темно мерцающая над самой Собачьей горой звезда (вправо от нас).

Лихорадочный взгляд…

1939

17. VII. 39.

Вчера с Маркюсами, Верой и Лялей осмотр виллы в Cannet La Palmeraie. Нынче еду с Г. и М. в Juan-les-Pins смотреть другие виллы.

21 июля записал на клочке ночью: «Еще летают лючиоли». <…>

1940

1940 г. Villa Jeannette, Grasse, a. m.

1. III.

Вчера ездил в Ниццу. Как всегда, грусть — солнце, море, множество как бы праздничного народа — и ни души знакомой, нужной.

Не застал Цакни, оставил ему записку, что буду в понед. в 2 1/2 ч. <…>

Нынче послал открытку-avion Гребенщикову, чтобы написал в америк. газетах о писательской нужде в эмиграции. <…>

Погода как будто на весну, но все холодный ветер. Финнам плохо.

6. III. 40.

<…> Нынче холодно, с утра было серо, туман, крупа, шел с полчаса снег. А вчера, гуляя с Верой ночью по саду, услыхал первую лягушку — думал, начинается, значит, весна.

Прочел книжечку (изд. Суворина) гр. Соллогуба — «Аптекарша», «Метель», «Неоконченные повести». Довольно ловко все, но ненужно. Герои и героини, как всегда писали прежде, умирают от несч. любви.

Хорошо для рассказа, донской казак *Харулин*.

Хорошо бы написать рассказ, действие которого в Бахчисарае. Татарин Осламбей. Татары говорят: «тютюн ичмен!», т. е. надо «попить дыму» (покурить). Еще: «шишлык» (а не шашлык; шиш по-татарски вертел, палочка). Хорош Бахчисарай!

Овцы Божья стада.

Темно-желтая бабочка в черных узорах на крыльях. Задние крылья — с длинными черными косицами. (Все это нынче ночью почему-то приходило в голову.) <…>

11. III. 40.

<…> Все еще оч. холодно — всю зиму мучение — одна из причин, почему только лежу и читаю.

Переговоры о мире Сталина и финнов. Ужас! <…>

Читаю «Отеч. зап.» за 84-й год. Там стихи Мережковского, столь опытные, что, верно, было ему тогда не меньше 20 лет, и стихи Надсона: «Горячо наше солнце безоблачным днем» — одни из немногих, которые мне нравились когда-то — семнадцатилетнему — и теперь до чего-то чудесного воскресили всего меня той поры. Называется «В глуши». Вижу и чувствую эту «глушь» соверш. так же, как тогда — в той же картине (и теперь

такой же поэтической, несмотря на то, что это Надсон). <…>

14. III. 40.

Вчера страшная весть — финны сдались — согласились на тяжкий и позорный мир. Даже ночью, сквозь сон, все мучился, что-то во сне думал, выдумывал.

Первый почти летний день. Ночью туман, слышны были лягушки.

Позавчера обварил себе правую руку кипятком. Горит, вспухла. <…>

Кончил перечитывание двух рассказов Тургенева. Мастерство изумительное, но в общем читал равнодушно — исключение некот. страницы. Кое-что (почти все, вернее) читал как новое — так забывается Тургенев. Одно «Полесье» почти все по-настоящему прекрасно. Почти во всех рассказах, — да, кажется, даже во всех, — редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений чувств и мыслей, лиц и предметов.

17. III. 40.

<…> Перечитал «Что такое искусство» — Толст[ого]. Скучно, — кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного.

29. III. 40.

Лежу, читаю, порой смотрю в солнечн. окна и думаю, — о том своем *я*, которое живет и сознает себя уже лет 60 — и это *я* думает, что лет через 5, много 10, его не будет. И не будет оно ничего видеть и думать. Странно!

30. III. 40. Суббота.

Приехал из Ниццы Цакни. Почти весь день очень светлый, но холодный. Ужасная весна. Неск. дней тому назад дня два лил ледяной дождь. <…>

Стал присаживаться к письм. столу.

В Париж я уехал 29 янв., вернулся в Grasse в субботу 16-го февраля. За последние дни просмотрел за год «Отеч. записки» (1883 г.) <…> Гаршин, если бы не погиб, стал бы замечательным писателем.

1. IV. 40.

Цакни ночевал 2 ночи, уехал нынче утром, когда я еще спал.

Все еще холодно, но так же светло.

Нынче послал в Париж заказным déclaration своих доходов (которых нет — надо выдумывать, чтобы не подумали, что вру. И показал 14 000).

Прочел роман Ясинского «Старый друг». Скучно. Женщина, как всегда у него, написана не плохо.

3. IV. 40.

На вид из окон дни все светоноснее, — кажется, что уже лето. Но еще прохладно.

Вчера Марга пела у маркизы. Человек 30 народу. <…> Мы туда и назад с англичанкой Херст из имения возле Маганьоска. На обратн. пути Оля пела и кричала всю дорогу, не умолкая. Я вел себя глупо — рюмка виски и три джину в баре у маркизы. <…> *Нельзя пить.* <…>

Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет. Многое рву и жгу. <…>

4. IV. 40.

<…> Купил 2 рубашки и белый картуз в Old England. Давно знакомый приказчик уже совсем не тот, что когда-то — потолстел, слегка поседел. На глазах меняются, гибнут люди. А Лантельмы! Марсель толстый мужчина, а давно ли был мальчиком! Старик же прямо страшен, ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачу. Думает ли, что вот-вот отвезут его страшный труп на кладбище в St. Jacques?

5. IV. 40.

Ночью мистраль. Есть и днем. За Эстерелем (да и Э.) горы бархатно-синие. Расчистил воздух.

Думаю, что «Фальш. купон» возник, м. б., у Толстого в связи с когда-то прочтенным им рассказом Даля «Серенькая» (так назывались бумажки в 50 рубл.). <…>

Отец говорил вместо Белинский — *Белынский*. Прочитал на днях у Тургенева, что многие так называли Белинского при его жизни — пустили слух, что он «полячишка».

Прежде часто писали: «*возразил*». Герои прежних романов не сразу понимали, что они влюблены. «И вдруг с восторгом, с ужасом сказал себе: я люблю ее!»

6. IV. (Суббота). 1940.

<…> Проснулся в 8 1/2. Погода все та же и тот же

холодноватый ветер среди солнечн. тепла, все увеличивающегося. Скоро зазеленеют деревья — уже как будто что-то начинается — смотрел из окна в сторону Марселя — у нас в саду уже зазеленел молодой каштан. Будет удивит, прекрасно. Короткая, несказ[анно] прекрасная пора первой зелени.

Вспомнил, как я всю жизнь одинаково представлял себе год:

ДЕК. НОЯБ. ОКТ. СЕНТ. АВГ. ИЮЛЬ ИЮНЬ МАЙ АПР. МАРТ ФЕВР. ЯНВ.

Понед., 8. IV. 40.

А. К. Толстой писал жене (в 55 г.): «Сипягин — хороший, добрый, благородный малый, который обожает свою роту и чрезвычайно ею любим…» Этот Сипягин крестил меня. Был тогда уже генералом.

10. IV. 40.

Позавчера проснулся в 9, чувствуя (как всегда чувствую с паучиной чуткостью) близкое изменение погоды: после полудня день замутился, пошли облака над горами к Ницце и к вечеру пошел дождь. Вчера в газетах хвастовство — союзники «в один час!» положили мины вдоль берегов Норвегии. С утра шел дождь. После завтрака — нынче — открыл радио — ошеломляющая весть: немцы захватили Данию и ворвались в Норвегию — вот тебе и мины! <…>

12. IV. 40.

Неожиданная новость: письмо Серова и Зурова — у Зурова туберкулез. <…> Вера сперва залилась розовым огнем и заплакала, потом успокоилась, — верно оттого, что я согласился на ее поездку в Париж и что теперь З. не возьмут в солдаты. Ходил с ней в город, она подала просьбу о пропуске в П. Едет, вероятно, во вторник. А мне опять вынимать тысячу, полторы! Мало того, что у меня почему-то на шее Л[яля] с девочкой и М[арга] и Г[алина]!

Особых вестей из Норвегии нынче нет. Боюсь, что опять дело замрет.

Продолжаю просматривать «От. записки» за 82 г. <…> — все это читал тысячу лет тому назад в Озёрках, 15, 16 лет, с Юлием — все забыл, а оказалось, что помню кое-что чуть не наизусть.

Дремучие снежн. сумерки, Цвиленевская усадьба, где жил Евгений, эта девка (уже не помню ее имени)…

Весна, а все еще холодно, еще топим. Пересматриваю опять письма и дневники А. К. Толстого. Соверш. очароват. человек! Начал «Головлевых» — не плохо, но мне скучно, ненужно.

Переписываю с клочков дневниковые заметки. Многое рву. А зачем кое-что оставляю и переписываю — неизвестно.

13. IV. 40.

Серо, холодно, деревцо за окном на Ниццу все зазеленело ярко-светлой зеленью и все дрожит под ветром. <…>

14-15-16. IV. 40.

Немцы заперты новыми минами, потеряли 1/3 флота, отдали Нарвик — разгром!

17. IV. 40.

Вчера уехала Вера. Отвез ее в Cannes в такси. <…>

Часов в 10 вечера ходил с М. и Г. запирать часовню. Лунная ночь, дивился, среди чего приходится жить — эти ночи, кипарисы, чей-то английский дом, горы, долина, море… А когда-то Озёрки!

Прошелся: из-за вершин пиний выглядывает, перемещается, блещет огромная Венера (не высоко над горой, на северо-западе) — ярко-блестящая, неподвижная, *стеклянно-золотая, совсем как те, что рисуют на мундирах.* <…>

Ужасная была беллетристика в «Отеч. зап.» и т. п. журналах. <…>

17. IV. 40.

<…> Вот, кажется, теперь уже несомненно: никогда мне не быть, напр., на Таити, в Гималаях, никогда не видать японских рощ и храмов и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпана, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда… Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня все это кончено *навсегда*. Непостижимо.

Пятница 18. IV. 40.

Вчера весь день просидел в доме, вышел всего минут на десять вечером.

Нынче то же — вышел в 10, ходил по саду 35 м. Луна высоко (как и предыдущ. месяцы), кучевые белые облака… Как страшно-одиноко живу! И как дико — 3 бабы на плечах! <…>

Вчера ночью шум жаб уже несметных. Теплеет.

Кончил «Господ Головлевых». Умный, талантливый, сильный, знающий, но литератор <…>

Что вышло из Г.! Какая тупость, какое бездушие, какая бессм. жизнь!

Вдруг вспомнилось — «бал писателей» в январе 27 года,

приревновала к Одоевц[евой]. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках *одна* в свой отельчик…

20. IV. 40.

Проснулся в 9, зачитался до 12 1/2 «Le Rêve»[18] Зола. <…> Ходил с Олечкой смотреть в бассейне лягушку — не оказалось. <…>

Вчера ночью открыл окно в ванной комнате — широкое — на площадке под ним лунный свет как бы меловой.

21. IV. 40.

Прекрасный, уже совсем теплый день. Дубы возле chaumière[19] уже сплошь в бледно-зеленых мушках. Все меняется с каждым днем. Уже распускается листва на безобразн. кулаках 2 деревьев на площадке. Цветет сирень, глицинии… (Ялта, Пасха…).

Письмо от Веры.

2 1/2 ч. Ходил по саду — заросла уже высокой травой вторая (от нижней дороги) площадка. Все еще цветет бледно-розовыми, легкими, нежными, оч. женств. цветами какого-то особого сорта вишня, цветут 2 корявых яблоньки белыми (в бутонах тоже розоватыми) цветами. Ирисы цветут, нашел ветку шиповника цветущую (легкий алый цвет с желтой пыльцой в середине), какие-то цветы, вроде мака — легчайшие, но яркого оранжевого цвета… Сидел на плетеном разрушающемся кресле, смотрел на легкие и смутные как дым горы за Ниццей… Райский край! И уже сколько лет я его вижу, чувствую! Одиноко, неудобно, но переселиться под Париж… ничтожество природы, мерзкий климат!

Как всегда почти, точно один во всем доме. <…>

Светлый день, праздник, в море как будто пустее — и звонят, звонят в городе… Не умею выразить, что *за* всем этим.

Множество мотыльков вьется вокруг цвета сирени — белых с зеленоватым оттенком, прозрачных. И опять пчелы, шмели, мухи нарождаются…

Кончил перечитывать 12-й т. Тургенева (изд. Маркса) — «Лит. и жит. восп.», «Критич. речи и статьи» и т. д. Соверш. замечат. человек и писатель. Особенно «Казнь Тропмана», «Человек в серых очках», неск. слов о наружности Пушкина, Лерм[онтова], Кольцова.

Этот апрельск. расцвет деревьев, трав, цветов, вообще эти первые весенние дни — более тонко-прекрасного, чистого,

праздничного нет в мире.

Во многих смыслах я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу». <…>

Вчера день рожд. Гитлера. Нынче радио: Муссол[ини] в поздравит. телеграмме желает ему «победоносно выйти из той героич. борьбы, которую ведет он и германский народ». И несчастный итальянск. король тоже поздравляет «горячо» — вынуждены к соучастию в дружбе. <…>

27. IV. 40.

Был в Ницце — ни Цакни, ни Михайлова (а Вера писала, что он выезжает в пятн.) <…> Дождь. Возвращался через Cannes. Встретил там Г. <…> Вести из Норвегии не радуют.

28. IV. 40. Светлое Воскресенье.

Завтракали у Самойлова. Взял туда такси, уехал через час. Дорогой дождь, пыльно-дымные тучи с хоботами. Потом все потонуло в дожде и тумане. Обедал у Маркюс.

Наш бедный пасх. стол.

Был поэт Аполлон Коринфский. Точно плохим писателем в насмешку выдумано.

30. IV. 40. Вторник.

Серо, холодно, дождь.

И так всегда: спрячешь зонт, калоши — на другой день дождь. Прячу, верно, потому, что перед переменой погоды внутренне волнуюсь и от этого, напр., начинаю уборку. Вчера очистил от замазки окна, содрал с их пазов войлочные ленты — и вот нынче холод и ветер, так сильно дующий в эти пазы, что вечером ходит занавес, который отделяет от моей спальни ее «фонарь» из пяти окон и на ночь задергивается.

Сейчас вспомнил *почему-то* Майнц (соединенный с Висбаденом, где мы жили с Мережковскими в отеле на Neroberg). — Почему? — непостижима эта жизнь воспоминаний, это «почему-то», «ни с того, ни с сего»! Поехали туда с Верой на трамвае, ходили по городу, заходили в церкви. <…> Потом вдруг вспомнил церковь на rue Daru, гроб дочери Н. В. Чайковского… До сих пор пронзает сердце, как он, со своей белой бородой, в старенькой визитке, плакал, молился на коленях. <…>

Ночь, темная полоса леса вдали и над ним звезда — смиренная, прелестная. Это где-то, когда-то на всю жизнь поразило в детстве… Боже мой, Боже мой! Было и у меня когда-то детство, *первые* дни моей жизни на земле! Просто не верится!

Теперь *только мысль*, что они были. И вот идут уже последние. <…>

Убежден, что Г [оголь] никогда не жег «М[ертвых] д[уш]».

Не знаю, кого больше ненавижу, как человека — Гоголя или Достоевского.

2. V. 40. Четверг. Вознесение (католическое).

<…> Вчера должен был уехать в санаторию Зуров.

4 часа. Был в полиции, заказал sauf conduit в Париж. Все еще колеблюсь, ехать ли. Но предполагаю выехать 6-го или 7-го.

Нашел клочок из моих писем: <…> «16-X-26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него, и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве: был в Москве концерт Дебюсси, и вот, в антракте, один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну, что ж, дорогой мой, вы этого просто не понимаете, не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».

3. V. 40.

Был в Cannes, к Куку за билетом в Париж. <…>

Из Норвегии всю посл. неделю вести почти ужасные. Тяжело читать газеты. <…>

7. V. 40.

Собираюсь, *завтра еду* в Париж в 6 ч. 24 м. вечера. Как всегда, тревожно, грустно. Жаль покидать дом, комнату, сад. Вчера и нынче совсем лето. Сейчас 5, над Ниццей тучи, гремел гром.

«Жизнь Арс.» («Истоки дней») вся написана в Грасе. Начал 22. VI. 27. Кончил 17/30. VII. 29. «Первая книга» кончена 21. IX. 27. Вторая начата 27. IX. 27, кончена в февр. 28 г. Третья начата 14. VI. 28, кончена 17/30. IX. 28. Четвертая — начата? кончена, как записано выше, 17/30. VII. 29.

Вчера взял из сейфа 10 000 фр.

«Человек и его тело — двое… Когда тело желает чего-нибудь, подумай, правда ли *Ты* желаешь этого. Ибо *Ты* — Бог… Проникни в себя, чтобы найти в себе Бога… Не принимай своего тела за себя… Не поддавайся беспрестанной тревоге о мелочах, в которой многие проводят большую часть своего времени…»

«Один из тех, которым нет покоя.
От жажды счастья…»

Кажется, похоже на меня, на всю мою жизнь (даже и доныне). <…>

Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучше всего «Поздний час», потом, м. б., «Степа», «Баллада».

Как-то мне, — как бывает у меня чаще всего ни с того, ни с сего, — представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля — все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса еще вспыхивает. Кто-то на крыльце постоялого двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака… Отсюда и вышла «Степа».

«Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой».

«Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате и то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой.

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в «Посл. Н.» в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть «Баллады» — опять-таки ни с того ни с сего.

1. IV. 40. Grasse.

Вчера был Михайлов <…> Они приехали в Ниццу, едут в По — тревожны, как все, — вот-вот выступит Италия.

Бегство («героическое!») французов и англичан из Дюнкерка продолжается.

8. VI.

Начал сборы на случай бегства из Граса. Куда бежать? Вера и Г. и М. говорят: «На ферму Жировых — там все-таки есть убежище, между тем как найти его где-нибудь в другом месте надежд почти нет». Я не верю, что там можно жить, — ни огня, ни воды, ни постелей… Не знаю, как быть.

Страшные, решительные дни — идут на Париж, с каждым днем продвигаются. <…>

9. VI.

Мы все отступаем.

Зацвели лилии, лючиоли летают уже давно — с самых первых дней июня.

Страшно подумать — 17 лет прошло с тех пор, как мы поселились в Грасе, в этом удивительном поместье Villa

Montfleuri, где тогда как раз вскоре расцвели лилии! Думал ли я, что в каком-то Грасе протечет чуть не четверть всей моей жизни! И как я тогда был еще молод! И вот исчезла и эта часть моей жизни — точно ее и не бывало. <…>

Немало было французов, которые начали ждать войны чуть не 10 лет тому назад (как мировой катастрофы). И вот Франция оказалась совсем не готовой к ней!

Да, а по привычке все еще идет в голову Бог знает что. Вот вдруг подумал сейчас: имена, отчества, фамилии должны звучать в рассказах очень ладно, свободно, — например: Марья Викентьевна, Борис Петрович…

22. VII. 40, понедельник.

Ничего не записывал с отъезда в Париж в мае. Приехал туда в одиннадцатом часу вечера 9-го (выехал 8-го, ночевал в Марселе, из М. утром). Вера была в Париже уже с месяц, встретила меня на Лионск. вокзале. Когда ехали с вокзала на квартиру, меня поразило то, что *по всему* черному небу непрестанно ходили перекрещивающиеся полосы прожекторов — «что-то будет!» подумал я. И точно: утром Вера ушла на базар, когда я еще спал, и вернулась домой с «Paris-Midi»: немцы ворвались ночью в Люкс[ембург], Голландию и Бельгию. Отсюда и пошло, покатилось…

Сидели в Париже, потому что молодой Гавр[онский] работал над моими нижними передними зубами. А алерты[20] становились все чаще и страшней (хотя не производили на меня почти ник. впечатления). Наконец, уехали — на автомобиле с Жировым, в 6 ч. вечера 22-го мая. Автом. был не его, а другого шофера, его приятеля Бразоля, сына полтавского губернск. предводителя дворянства: это ли не изумительно! — того самого, что председательствовал на губ. земск. собраниях в Полтаве, когда я служил там библиотекарем в губ. земск. управе. <…>

23. VII. 40.

<…> И в Париже все поражены, не понимают, как могло это случиться (это чудовищное поражение Франции). <…>

24. VII. 40.

Утром (не выспавшись) с Г. в Ниццу. <…> Завтрак с Алдановым в Эльзасской таверне. <…> В Ниццу съезжаются кинематографщики — Алданов надеется на работу у них, как консультант.

25. VII. 40.

<…> устал вчера в Ницце. Верно, старею, все слабость.

С Жировым доехали 23 мая до Макона. Оттуда ночью (в 3 1/2) на поезде в Cannes — ехали 12 часов (от Макона до Лиона в третьем классе — влезли в темноте — стоя, среди спящих в коридоре солдат, их мешков и т. п.)

По приезде домой с неделю мучились, хлопотали, отбивая — Маргу от конц. лагеря (у нее немецкий паспорт).

10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал до часу. В час открыл окно, высунулся — один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде ни единого огня.

Дальше — неделя тревожных сборов к выезду из Граса — думали, что, м. б., на неск. месяцев — я убрал все наше жалкое имущество. Боялся ехать — кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит вся Франция, вшестером, с 30 местами багажа… Уехали больше всего из-за Марги — ей в жандармерии приказали уехать из Alpes Mar[itimes] «в 24 часа!» Помогли и алерты, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алерт был у нас в воскр. 2-го июня, в 9-м часу утра.)

3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: «Страшный налет на Париж, сброшено больше 1000 бомб». 5-го июня прочитал в «Ecl[aireur].», что убитых в Париже оказалось 254 ч., раненых 652. Утром узнал и по радио, что началось огромн. сражение. <…> 6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александр. Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина — крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал — что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Н. — барьеры, баррикады. <…>

Выехали мы (я, Вера, М., Г., Ляля и Оля) 16-го июня, в 10 ч. утра, на наемном, из Нима, автомобиле (2000 фр. до Нима). Прекрасный день. Завтрак в каком-то городке тотчас за Бриньолем. В Ним приехали на закате, с час ездили по отелям — нигде ни одного места! Потом вокзал <…> — думали уехать дальше на поезде — невозможно, тьма народу — а как влезть с 30 вещами! Ходили в буфет, ели. Полное отчаяние — ночевать на мостовой возле вокзала! М. и Г. пошли искать такси, чтобы ехать дальше в ночь, — и наткнулись на рус. еврея таксиста. Ночевали у него. 17-го выехали опять в такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом опять на Lafrançaise, возле которого ферма Жирова. Думали: в крайнем случае поселимся там, хотя знали, что там ни воды, ни огня, ни постелей. Плата до Lafr., — 2300 фр. Сперва широкая дорога в платанах, тень и солнце, веселое утро. Милый городок Люпель.

Остановки по дороге военными стражами, проверки документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка <…>, подошел крестьянин лет 50 и со слезами сказал: «Вы можете ехать назад — армистис!»[21] Но назад ехать было нельзя, не имея проходного свидетельства. Завтрак под с. Этьен (?). Опять виноградники, виноградн. степь. За Нарбоном — Иудея, камни, опять виногр., ряды кипарисов, насажен, от ветра. <…> Мерзкая Тулуза, огромная, вульгарная, множество польских офицеров… (По всему пути — сотни мчащихся в автом. беженцев.) В Монтобане — ни единого места. В сумерки — Lafrançaise — тоже. И попали к Грязновым…

28. VII. Воскресенье.

Читаю роман Краснова «С нами Бог». Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен. <…>

2 часа. Да, живу в раю. До сих пор не могу привыкнуть к таким дням, к такому виду. Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой дымке. В сторону Ниццы над горами чудесные грозовые облака. Правее, в сосновом лесу над ними, красота зноя, сухости, сквозящего в вершинах неба. Справа, вдоль нашей каменной лестницы зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми листьями. И одиночество, одиночество, как всегда! И томительное ожидание разрешения судьбы Англии. По утрам боюсь раскрыть газету.

Евреям с древности предписано: всегда (и особенно в счастливые дни) думать о смерти.

«Belligerants». Можно перевести старинным русским словом: *противоборники*.

Зажгли маяки. В первый раз увидал отсюда (с «Jeannette») Антибский: взметывается и исчезает большая лучистая золотая звезда.

29. VII. 40.

Вчера еще читал «Вечерние огни» Фета — в который раз! (Теперь, верно, уже в последний в жизни.) Почти все из рук вон плохо. Многое даже противно — его старческая любовь. То есть, то, как он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, — губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в чудесном белье, — но чувств и мыслей *тайных*, глубоко ото всех скрытых.

А у меня все одно, одно в глубине души: тысячу лет вот так

же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет.

Был в Cannes, хотел купаться и не купался — еще только начали ставить кабинки. <…>

30. VII. 40.

Все то же — бьют друг друга авионы. И немцы все пугают, пускают слухи, что они делают «гигантские приготовления» к решительной атаке.

Весть из Лозанны — о возможности выступления Америки. Нет, не выступит!

Прочел о том опыте, который сделали несколько лет тому назад два венских студента: решили удавиться, чтобы их вынули из петли за мгновение до смерти и они могли рассказать, что испытали. Оказалось, что испытали ослепит. свет и грохот грома.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова (мужа моей двоюродной сестры Софьи Николаевны Буниной) весной 1885 г. Так помню эти дни, точно в прошлом году были (написаны в «Жизни Арсеньева»). Замечательней всего то, что мне и в голову не приходило, что и я умру. Вернее — м. б., приходило, но все-таки ничуть не касалось меня.

Вдруг вспомнилось: Москва, Малый театр, лестницы — и то очень теплые, то ледяные сквозняки. <…>

1. VIII. 40. Grasse, a. m.

<…> Carlotti прописал постоянно носить очки (для дали, для чтения оставил те, что дал Pollac) и прикладывать утром и вечером очень горячие компрессы из чая: левый глаз слезится от утомления зрения. Постоянно носить очки не могу — буду чувствовать себя неестественно, поглупевшим. <…>

7. VIII. 40.

Были с Верой в Ницце в американск. консульстве. В кафе Casino с Цетлиными и минуту с Алдановыми (они пришли поздно).

9. VIII. 40. Пятница.

<…> Алданов с самого приезда своего все твердит, что будет «гражданск. война». Твердо решив уехать в Америку <…>

Цетлины тоже собираются. <…>

Ни риса, ни макарон, ни huile[22], ни мыла для стирки.

10. VIII. 40.

Продолжается разграбление Румынии — румыны должны дать что-то еще и Венгрии.

8-го была огромная битва нем. и англ. авионов над берегами Англии.

Японцы, пользуясь случаем, придираются к Англии. Сталин — к Финляндии, Испания — к Англии (отдай Гибралтар).

Все растет юдофобство — в Рум. новые меры против евреев. Начинает юдофобствовать и Франция.

Олеандры густо покрылись алыми цветами.

15. VII. 40. Католическое. Успенье.

Немцы стреляют по Англии из тяж[елых] орудий. Англ. бомбардировали Милан и Турин. Болгарск. и венгерские требования к Румынии. Рум. король будто бы намерен отречься и скрыться в Турции.

Сталин устраивает ком. манифестации в Гельсингфорсе и Або — и грозит финнам, которые эти маниф. разгоняют. Верно, вот-вот возьмет всю Финл. <…>

17. VIII. 40.

Проснулся в 6 1/2 (значит, по-настоящему в 5 1/2). Выпил кофе, прочитал в «Вест. Европы» (за 1881 г., взял в библ. канской церкви) «Липяги» Эртеля. Ужасно. Люба должна выйти за «*господина* Карамышева», камер-юнкера, богача, пошляка, проповедующего «верховенство» дворянства в России надо всем, его опеку над народом — «на благо народу». Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна. <…>

Все утро все долины и горы в светлом пару. Неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышный горьковатый запах воздуха — уже осенний.

<…> Огромный налет немцев «avec une précision admirable»! [23] на Лондон, на берега Темзы — «все в дыму, в пламени…». Кажется, и впрямь начинается.

Погода разгулялась, тишина, зной, торопливо, без устали, без перерыва точат-точат цикады у нас в саду.

Сейчас около 7 вечера. Были в городе за покупками. <…> Магазины почти пусты — все раскупалось последний месяц бешено. Уже исчезло и сало (масла нет давным-давно). Мыло для стирки выдают по карточкам маленьк. кусочками, весят, как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего.

Днем начал перечитывать «Песнь торж[ествующей] любви» — ноябрь 1881 г., «Вестн. Евр.». Сейчас кончил. Удивительно написано. Но опять то же чувство: мертво, слишком «великолепно», «слишком хорошо».

Вечер тихий, прекрасный. И опять все долины и горы в дымке.

Наши летчики во время прошлой «великой» войны: синяя куртка, серебр. погоны с черными орлами, черн. широк. шаровары с красным кантом, узкие щегольск. сапоги. Двое таких (молодых, красивых, страшно любезных) встретили в Киеве на вокзале Каменскую, с которой я ехал весной 16-го г. из Москвы в Одессу (в маленьк. отдельном купе международн. вагона).

18. VIII. 40. Воскр.

<…> Анг [личане] сообщают, что за 2 последних дня немцы потеряли 255 авионов. Так что «великое нападение» кончилось неважно. И вот, вчера решено покончить с Англ. «L'All. veut obtenir le blocus total des iles britaniques». Так и объявил вчера Берлин — официально: «il faut terminer cette guerre!»[24] — ни более, ни менее. <…>

Ночи лунные, не яркие. Вчера было полнолуние.

19. VIII. 40.

Вчера после полудня немцы опять бросали бомбы с авионов в окрестн. Лондона. Англич. сообщают, что до 7 ч. вечера немцы потеряли 36 авионов. <…>

Итальянцы стараются — их газеты, кричат, грозят: «L'armée All[emande] est prête! L'Angl[eterre] brûlera!»[25]

Шведск. министр внутр. д. произнес речь насчет притязаний России на ост. часть Финляндии — «Швеция окажет Фин[ляндии] военную помощь». Окажет ли? Не верится.

Пухлая облачность, прохладно. Ночью на меня сильно дуло из раскрывающихся полотнищ занавеса — уже недели две сплю с открытым (в сторону Марселя) окном.

Ждем к завтраку Самойловых.

Разговор с Сам[ойловыми] шел точно в советской России — все насчет того, как мы будем кормиться осень и зиму.

20. VIII. 40.

Проснулся в 8, читал А. — вероятно, в десятый раз — удивительно! Можно перечитывать каждый год.

Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) — он виден далеко внизу — Божьей Матери и Маленькой Терезе (Б. М. над порталом, Т. в соборе, недалеко от входа, справа). Развернул Библию — погадать, что выйдет; вышло: «Вот Я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф; ибо наступит день твой, время, когда Я посещу тебя» (Иер. 50, 31).

Вчера в «Ecl[aireur] du Soir»: англ. офиц. сообщение: вчера (в воскр.) вечером над Англией пролетело 600 нем. авионов, мы сбили всего за воскресенье более ста. Неужели правда? Дальше <…>: блокада Англии есть наказание за ее бесчеловечное ведение войны… Анг. должна быть уничтожена как можно скорее — это она одна мешает установлению долгого и прочного мира в Европе…

10 ч. Принесли «Ecl.» Англ. отступили из Сомали. Речь Булита, америк. посла во Франции, — говорил в Вашингтоне, — что надо оказать помощь Англии, что, после победы над ней, немцы с Японией нападут на Америку. Канада и Соед. Шт. заключили союз для защиты Сев. Америки. Утка, — думаю, что утка, — будто возможно, что Черчилля заменит этот старый неугомонный подлец Ллойд Джордж. <…>

21. VIII.

Вчера был в Cannes, хотел купаться, но встретил вдруг Адамовича — только несколько дней как в Ницце (т. е. демобилизован) — и просидел часа 1 1/2 с ним и Кантором в café «под платанами». Пригласил их к себе на завтрак во вторник 27-го.

Сейчас один в доме — «nos dames» уехали вчера к маркизе на ночевку. <…> Вера нынче тоже в Cannes. <…>

Итальянцы трубят победу в Сомалии, она, по словам «Ecl. «, будто бы очень важна. Черчикль вчера сказал devant les communes[26], что Англ, должна готовиться к «a une cam-pagne 1941-42». Соглашение Рузвельта с Канадой вызвало «inquétude au Japon»[27], и последствием этого соглашения будет то, что теперь америк. destroyers будут направляться в Канаду, а из К. — в Англию. Так что *косвенно* Ам[ерика] вступила в войну против немцев? <…>

В вечерней газете: Рузвельт опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду в Англию; известие, что Троцкий умирает — кто-то проломил ему череп железн. бруском в его собств. доме в Мексике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично.

22. VIII. 40.

Ночью сильный и оч. прохладный ветер. Сейчас (11 ч.) солнце, но все еще шумит. В долине под Кабризом пожар в лесах — гигант[ский] дым серо-молочно-рыжеватый медленно идет, поднимаясь, над долинами под Эстерелем. <…>

Убийца Троцкого какой-то Jaques Morton Vandenbretch,

родился в Тегеране и натурализованный бельгиец; он арестован; череп у Тр. так проломлен, что виден мозг; Jaques слыл другом Тр. и часто навещал его.

12 ч. 45 м. Слушал радио. Троцкий умер.

23. VIII. 40.

Газета: итальянск. газеты негодуют, что газеты швейцарск. непочтительны к фашизму, к Германии, к итало-нем. союзу, — тон угрожающий: эту моду требовать к себе почтения от всех стран и обуздывания свободы их печати ввела Германия.

Томаты, которые стоили в Ницце в прошлом году 40, 60 сант[имов] кило, стоят теперь от 4 до 5 фр. <…>

Некролог Троцкого (Leiba Bronstein) писал кто-то очень осведомленный — кем? немцами?

Письмо из Ниццы <…>: Цакни посадили в острог за неимением carte d'id[entité][28] и еще за какие-то «небылицы» — просит моей помощи, как «родного» его (а какой же я ему родной, разведенный с его сестрой уже чуть не 20 лет тому назад?) — поручительства за него и еще чего-то, говоря о моем «добром сердце» — очевидно, денег, которых у меня нет.

Солнечно — и уже августовск. и сент. сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль.

Прочитал Лескова «Захудалый род» — очень скучно, ненужно. В той же книге «Овцебык» — оч. хорошо.

В «В. Евр.» еще три очерка из «Зап. Степняка» Эртеля — все очень плохи. Лучше других «Поплёшка», но и тот нудный, на вечную тему тех времен о народной нищете, о мироедах и т. д. Впервые я читал этого «Попл.» больше полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа. <…> Молочный блеск — особенно хорошо. <…>

Лесн. пожары возле Ниццы, под Тулоном. Вчерашний, недалеко от нас, еще не совсем потух.

Да, да, а прежней Франции, которую я знал 20 лет, свободной, богатой, с Палатой, с Президентом Р[еспублики], уже нет! То и дело мелькает это в голове и в сердце — с болью, страхом — и удивлением: да как же это рушилось все в 2 недели! И немцы — хозяева в Париже!

24. VIII. 40.

Немцы стреляли в четверг (позавчера) из орудий с франц. берегов по Лондону. <…>

Тело Троцкого будет сожжено и «прах» будет брошен в море — по его завещанию. <…>

25. VIII. 40. Воскресенье.

<…> Франц. радио все чаще за посл., время клонит к тому, что необходим блок Герм. — Италия — Франция. Нынче прямо сказано: «Без канц[лера] Гитлера невозможно устроение новой Европы и прочного мира». Что должен чувствовать П[етен]! А может, он ничего не чувствует…

Вчерашнее письмо Алданова: «Я получил вызов к америк. консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в С. Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем (Т. М. — буквально), что есть…» <…>

Поехал в Cannes. Нашел Цетлину в кафе. <…> Уговаривала, чтобы я серьезно подумал об Америке — «жить тут вы все равно не сможете». Сказала, что Авксентьев уже уехал, Вишняк и Руднев тоже уже получили визы. «Почему так скоро?» — «Американск. социалисты ходили к самому Рузвельту, просили за социалистов во Франции…» Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!

Погода все та же — горячее солнце и холодный ветер в тени. Олеандры с их мелкими, острыми, бледно-зелеными листьями, сплошь осыпан. розовыми цветами, уже скоро потеряют эти цветы — они стали подсыхать, кое-где чернеть, умирать.

Весь день сижу за своими набросками, заметками. <…>

27. VIII. 40. Вторник.

Вчера завтракал в Cannes с Цетлиными и Алдановым. Цетлины и Алданов приехали к нам со мною к вечеру на обед и ночевку. Нынче у нас завтракали Адамович, Кантор, Цетлины и Алдановы.

Все уехали в 5 ч.

Офицеры бежали больше всего. «Лучше Гитлер, чем Блюм».

29. VIII. 40. Четверг.

Немцы бомбард. «sans répit»[29] порты и заводы англ[ичан].

Из Виши: Запрещение в свободн. зоне спектаклей, galas, festifals.

М. А. говорил за завтраком у нас, что читал три тома генерала de Gaul (кот. сейчас в Англии и заочно присужден франц. правительством — нынешним — к смертн. казни) и был соверш. поражен как его литер. талантом, так и знанием Германии и предсказаниями насчет будущей войны Франции с Герм.

Кофе будут выдавать тоже по карточкам— 100 грамм в месяц на человека. Похоже и это на издевательство.

Как-то на днях ахнул, вдруг подумав: в первый раз в жизни я живу в завоеванной стране!

Читал эти дни в «Сев[ерном] в[естнике]» (1897 г.) «Дневник бр[атьев] Гонкуров». Очень хорошо — кроме посл. лет, когда Эдмон стал писать сущий вздор (напр., о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во фр. литературе, который будто он с братом совершил.

В одном месте говорит: «Книги никогда не выходят такими, какими задуманы». Правда, правда.

Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат. Мих. (Лопатиной. — *О. М.*). Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалим. Еще — историю моих стихов и рассказов.

Суб. 31. VIII. 40.

<…> Вчера был в Ницце. Завтракал, как всегда, в Эльзасск. таверне, с безнадежной тоской в душе: вот еще год жизни прошел, и уже далекой кажется грустная прошлая зима и нет несчастной, всегда бодро усмехающейся Ирины, и Цакни сидит в остроге (это с ними бывал я в этой таверне). <…>

На днях в «Ecl. de Nice» было большое пустое место — зачеркнута цензурой целая статейка. Оказывается, <…> в Ницце было такое событие: стояла толпа в очереди, дожидаясь выдачи горсточки кофе, а мимо проходил итальянский офицер с денщиком (очевидно, из оккупир. части Ментоны); из толпы стали кричать злобно и насмешливо: «эй, вы, макароны!», офицер ответил толпе тоже каким-то оскорблением, а кто-то из толпы дал ему пощечину, а его денщик застрелил этого кого-то…

День облачный. К вечеру так прохладно, что я надел теплую куртку.

Александр III умер в Ливадии в 2 ч. 15 мин. 20 окт. 1894 г. (стар. стиль). В тот же день на площадке перед церковью Малого дворца присягнула Николаю вся царская фамилия. Думал ли он, какой смертью погибнет он сам и вся его семья! И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после всего пережитого опять в Данию, старухой, почти нищей, и умершей там! И чего только не пережил на своем веку *я*! И вот опять переживаю.

1. IX. 40. Воскресенье.

Все увеличивающая[ся] «воздушная дуэль» Германии и Англ. <…> Налеты на Лондон и на Берлин, алерты и там и тут по 2, по 3 часа. Немцы подводят итоги воздушной войны *за год*: «мы уничтожили 7000 вражеск. авионов, сами потеряли всего 1050». Довольно странно! <…>

Все-таки это правда — наступают *самые* решительные дни.

В прошлом году первое сентября было в пятницу. После

завтрака все внезапно полетело к черту — радио известило, что немцы ворвались в Польшу и что завтра начнется всеобщая мобилизация во Фр. Г. и М. сошли с ума, кинулись собираться в Париж, и через час мы отвезли их в такси в Cannes на вокзал.

3. IX. 40.

Были с В. у М-me Жако — просили ее написать нашей хозяйке — эта старая дура надеется кому-то сдать «Jeannette», соверш. не представляет себе жизнь во Франции.

Облачно, у нас почти холодно, внизу было душно как перед грозой. Ночи совсем свежие. <…> Годовщина объявления войны!

4. IX. 40.

<…> Письмо от Гребенщикова об Америке. <…> На днях прочитал (перечитал, давным-давно не перечитывал) «Мальву» и «Озорника» Горького. Вполне лубок. И хитрый, преднамеренный.

6. IX. 40.

Отличный тихий солнечный день, хорошо выспался, неплохо себя чувствую, только втайне тревожусь, как всегда утром, — жду газету.

Часто думаю: как незаметно прошло такое огромное событие — исчезновение целых трех государств — Литвы, Латвии, Эстонии! Давно ли я видел их со всей их национальной гордостью, их президентами, их «процветанием» и т. д.! Поиграли больше 20 лет во все это — и вот точно ничего этого никогда не было! От Карамзиной уже давным-давно ни слуху ни духу — и, верно, навсегда… А Чехия, Польша, Бессарабия, Дания, Голландия, Норвегия, Бельгия, прежняя Франция? Уму непостижимо! И изо дня в день, самыми последними словами, поносят в газетах и по радио сами себя французы — эту прежнюю, вчерашнюю Францию.

Пишу и гляжу в солнечный «фонарь» своей комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой красотой и пространностью лежит вокруг под нами, и огромное белесо-солнечное небо. И среди всего этого — мое одинокое, вечно грустное *Я*.

Принесли газету. <…> Речь Черчиля devant la chambre des communes[30]. За 2 посл. месяца Англия потеряла 558 авионов. За август погибло смертью среди гражданск. населения 1075 человек, 800 домов разрушено. Атаки немцев в сентябре еще усилятся. <…>

Радио в 12 1/2: нынче ночью большие демонстрации в

Букаресте против евреев и с требованием отречения короля; король ночью отрекся и намерен переселиться в Швейц. Все теперь во власти «Железн. гвардии», т. е. немецких ставленников. На престол вступил Михаил.

7. IX. 1940.

Вчера в три часа поехал в Cannes, — автобус, как всегда, был набит народом до ужаса, — купался на пляже Grand Hôtel'я; кабинка стоит теперь уже 8 франков! Возвратясь, поднимался пешком, — такси уже совсем исчезли, — тяжкий труд! <…>

Декреты, декреты, декреты… Вчера особенно замечательный: запрещается пить кофе в кафе с 3 ч. дня. Да, если бы не немцы, уже давным-давно все летело бы к черту, — «грабь награбленное!».

Дневник братьев Гонкур: почему Тургенев «милый варвар»? Какая французская тупость, какое самомнение! <…>

Радио в 12 1/2: Антонеску послал телеграммы «великому фюреру» и «великому дуче». Так прямо и адресовался. Еще одно дельце Гитлер обделал. Какие они все дьявольски неустанные, двужильные — Ленины, Троцкие, Сталины, фюреры, дуче!

Нынче ночью проснулся с мыслью, которая со сна показалась ужасной: «Жизнь Арс[еньева]» может остаться не конченной! Но тотчас с облегчением подумал, что не только «Евг. Онегин», но не мало и других вещей Пушкина не кончены, и заснул.

Уже давным-давно не могу видеть без отвращения бород и вообще волосатых людей.

За мной 70 лет. Нет, за мной ничего нет.

8. IX. 40. Воскресенье.

<…> Еще раз просматриваю «Красную лилию» Франса. Нет, это редкий роман, во многих отношениях прекрасный.

9 ч. вечера. Восьмичасовое радио: <…> «гигантская битва» немцев с англ., — тысяча авионов над Лондоном, сброшено *миллион* пудов бомб, сотни убитых и раненых, а англичане громят Берлин и сев. побережье Франции. Уже два часа идет дождь и через кажд. пять секунд тяжко, со стуком потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на «Фраме» Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок — очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить?

9. IX. 40. Понедельник.

И в газете то же, что вчера говорили по радио — вчера после

полудня был страшный налет на Лондон. <…>

Дым от пожаров в Англии виден с северных берегов Франции.

Вечерн. радио: немцы *продолжают* свое дело. Англ[ичане] три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то америк. газете говорят: «Это истинный ад на земле!»

Опять думал о том *необыкнов*. одиночестве, в котором я живу уже столько лет. *Достойно написания.*

<…>

12. IX. 40.

Вчера в 6 ч. вечера Черчиль говорил перед радио: немцы всячески приготовились к высадке в Англии — нападение может произойти каждую минуту — и мы готовы к нему; каждая пядь земли, каждая деревня, каждая улица будет защищаться нами. (…)

Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людовику Моро — между прочим, в качестве скульптора и живописца: «во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, — *по сравнению с кем угодно*». Вот это я понимаю!

Пушкин незадолго до смерти писал: «Моя душа расширилась: я чувствую, что могу творить».

16. IX. 40. Понед.

Итальянцы, в количестве 260 000 человек, вторглись в Египет. Англо-немецкая «дуэль» продолжается с большой силой. Леон Блюм посажен в château de Chazeron. За что? Я его всегда терпеть не мог, но сейчас все-таки возмущен чрезвычайно. Ведь он был избран и правил «волею народа».

17. IX. 40.

Все то же, непрекращающееся. Вчера вечером *пятый* алерт над Лондоном *за день*. В ночь на понедел. алерт длился 9 1/2 часов. <…> В Риме пишут, что главное наступление на Англию *будет только* весной.

Франц. правительство обращается к стране с советом есть сыры, зелень и фрукты — в них есть все нужные витамины. Беда только в том, что сыров почти нет. Чудесный день.

19. IX. 40. Четверг.

Позавчера ездил с М[аргой] и Г[алиной] в Cannes, бегали по городу, там и сям накупая сыры (дают по кусочку, все бросились их покупать, прочитав в «Ecl.», что в сырах много всяких

витаминов).

Вчера, как и предыдущие дни, — уже дней пять теперь, — пишу заметки в серой тетради. <…>

20. IX. 40.

Начал «Русю». 22. IX. 40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой». 27. IX. 40. Дописал «Русю». 29. IX. 40. Набросал «Волки». 2. X. 40. Написал «Антигону». 3. X. 40. Написал «Пашу» и «Смарагд». 5. X. 40. Вчера и сегодня писал «Визитные карточки». 7. X. 40. Переписал и исправил «Волки». 10, 11, 12, 13. X. 40. Писал и кончил (в 3 ч. 15 м.) «Зойку и Валерию». 14, 17, 18, 20, 21, 22. X. 40. Писал и кончил (в 5 ч.) «Таню». 25 и 26. X. 40. Написал «В Париже» (первые страницы — 24. X. 40). 27 и 28 X. 40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4 часа 40 м. дня 28. X.).

23. X. 40. (10. X. 40 по старому стилю), 11 1/2 ч. вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукивание капель. Иногда все сотрясающие раскаты грома. Лежал, читал «Несмертельного Голована» Лескова, потом выпил полстаканчика водки.

70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже на Дворянск. улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного и пройдут они очень быстро, — давно ли, напр., была осень в Beausoleil, где мы жили на этой горе, в этом высоком доме (Villa Dominante)! А прошло уже 2 года.

Проснулся поздно (в 9 ч.), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь. Все-таки мое рождение немного праздновалось — баранье плечо, вино (Марга подарила Понте-Канэ). Галина переписывала «Таню», которую я кончил вчера в 5 ч. вечера.

30. X. 40.

С утра солнце, но из-за Альп над Вансом дожд[евые] облака. К полудню распогодилось, прохладно. <…> Перетащил сейчас (три часа дня) к себе письм. стол из кабинета внизу. Тотчас после того началась ужасная кровь.

Все посл. время то дожди, то хорошая погода. 14(1 окт., на Покров) Вера ездила в Cannes к обедне (в страшный дождь) — ее рождение. Жалко ее, больную, слабую, нервную, утешающуюся чем Бог даст, — жалко нестерпимо.

С месяц почти пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед сном.

18 окт. ездил с Бахраком (он живет у нас) в Ниццу —

прощальное свидание в кафе под Казино с Алдановым (опять вернувшимся).

26 окт. получена была от Зайцева открытка: 17-го окт. умер Н. К. Кульман (19 похоронен в St. Gen[evieve] du Bois) — кончается, кончается наша прежняя, долгая и сравнит. благополучная эмигр. жизнь. Да, 20 лет, треть человеч. жизни мы в эмиграции.

28 окт., вечером, узнал: началась еще одна война — Италия напала на Грецию, придралась к чему-то, о чем *сама* солгала, и напала.

9. XI. 40.

Семь лет тому назад весть о Ноб. премии. Был счастлив — и, как ни странно сказать, молод. Все прошло, невозвратимо (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами).

10. XI. 40.

Были чудесные, солн. дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечная, небо в ней было яркое, бирюзовое. (Другая липа все еще густая, зеленая.) Нынче ливень, холод.

11. XI. 40.

Вчера поздно вечером кончил «Генриха» (начал 6, писал 7 и 9). Опять хороший, теплый день. В 2 ч. ходил в город, в банк, меняю посл. тысячи. <…>

«Генриха» перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось — помоги и спаси, Господи.

За прошлую неделю оч. много потерял крови, слабость и боль в темени.

14. XI. 40.

Позавчера был в Ницце у доктора Карлотти — все слезится левый глаз. Прописал новые капли, сказал, что зрение у меня хорошее и что все-таки я должен постоянно носить очки (для дали, а работать в прежних).

Весь день перечитывал написанные за эту осень рассказы и клал их в две папки — одну надо положить в сейф.

Молотов был два дня в Берлине: решают новое устройство Европы «на развалинах старой», — как пишут итальянцы.

Умер и похоронен, как самый обыкнов. человек, забытый уже

всеми Чемберлен.

Итальянцы пока напоролись на греков.

17. XI. 40.

Все добываем пропитание, <…> добыли 1/2 бут. прованского масла, 2 кило картошек, 30 яиц — и счастливы! Серо, дождь.

Среда, 20. XI. 40.

<…> Прошу устроить мне денежн. помощь у богатых шведов. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

Пятн. 22. XI. 40.

Письмо от Алданова из По: умер В. В. Руднев. Рак желудка. Очень жалко. Алдановы уезжают в Америку 25-го. Кончаются, кончаются наши эмигрантские годы!

Воскр. 24. XI. 40.

<…> После захода — там, к Марселю: внизу темнеющее оранжево-красное, выше зеленоватое, прозрачное, еще выше — бесцветная синева.

Среда, 27. XI. 40.

<…> Хочется писать, но чувствую себя тревожно, мысленно хватаюсь то за одно, то за другое.

4. XII, 5. XII и *9. XII. 40.*

Написал «Три рубля».

13. XII. 40. Пятница.

<…> Италия объявила о своем вступлении в войну 10 июня в 6 часов вечера — уже отлично зная, что немцы разбили Францию, спускаются в долину Роны и угрожают «de prendre à revers»[31] французск. Альпийскую армию. <…>

Нынче сообщение англичан, что они взяли в Африке 20 тысяч итальянцев в плен.

Греки бьют их (итальянцев) все время.

Статья в «Candide» о Блюме. При выборах все эти Блюмы делали черт знает что.

Перечитываю Чехова. Очень хороша «Жена». Какая была всяческая опытность у него уже в те годы! Всегда этому дивился, и опять дивлюсь. Удивительны и «Скучн. история» и «Дуэль».

С 28 ноября приказали опять полное затемнение. Ночи стоят лунные, прекрасные и очень холодные.

В конце ноября зверства в Румынии.
<…>

1941

1. I. 41. Среда.

«Встречали» Новый год: по кусочку колбаски, серо-сиреневой, мерзкой, блюдечко слюнявых грибков с луком, по два кусочка жареного, страшно жесткого мяса, немножко жареного картофеля (привез от N. N.), две бутылки красного вина и бутылка самого дешевого асти. Слушали московское радио — как всегда хвастовство всяческим счастьем и трудолюбием «Советского Союза» и танцулька без конца.

Позавчера речь Рузвельта, необыкновенно решительная <… > Нынче в газетах вчерашнее новогоднее послание Гитлера: «Провидение за нас… накажем преступников, вызвавших и длящих войну… поразим в 41-м году весь мир нашими победами…»

Небольшой мистраль. Красота гор над Ниццей.

3. I. 41.

С утра дождь и туман. После завтрака проглядывало солнце. К вечеру белые туманы в проходах Эстереля, море серо-свинцового тумана в долинах и горах в сторону Марселя.

Перечитывал «Петра» А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!

6. I. 41. Понедельник.

Дождь, сыро, серо, холодно, опять сижу при огне — «фонарь» с закрытыми ставнями, задернутой занавеской и ширмами. <…>

Англо-немецкая война все в том же положении — бьют друг друга, как каждый день всю осень. Осточертело читать и слушать все одно и то же.

Японский м[инистр] внутр. дел произнес речь на весь мир — «41 год будет самый трагический для человечества, если продолжится война и не будет возможности для Яп., Ит. и Германии организовать новый мир ко всеобщему благополучию». Последнее особенно замечательно. <…>

21. I. 41.

Были по всей Европе страшные холода, снега. У нас тоже. Холод в доме ужасный, топить вволю нельзя, нечем: запасы наши угля и дров на исходе, дальше будут давать только 100 кило в месяц — насмешка! Все время ищем что купить! Но нечего! Находим кое-где скверный, сморщенный горох (и торговец и мы врем — «для посева»), ржавые рыбки, род stet. селедочек и

сардинок — и все. Питаемся скверно. <…>

Ждали, что немцы пройдут через Болгарию в Грецию. В Средиз. море их авиация работает уже — помогает итальянцам.

Гитлер виделся с Мус[солини] — «приняты важнейшие решения».

Нынче вечером советск. и швейц. радио: англич. взяли Тобрук. Междоусоб. война в Румынии.

25. 1. 41. Суббота.

Солнечный и уже теплый день. Вчера послал av.-recom. Цетлиным в Америку. Нынче — открытку Тане Муравьевой. Сходил опустить ее после завтрака в ящик возле женской обители (под Helios'ом). Сидел на подъеме к «Chaumière». Припекало. Тишина и грусть на душе.

При взятии Тобрука захвачено около 20 000 пленных. Англичане идут дальше к западу. <…>

Нападения на Англию притихли. «Затишье перед бурей»?

Хитлер, верно, уже понимает, что влез в опасную историю. Муссолини усрался — чем бы там дело ни кончилось. Возможно, что и Абиссинию потеряет.

9 янв. были на именинах у Самойлова. Прекрасный день. «Альпийский» вечер, когда не дали автоб[уса].

Вечер 11 янв.: выделились белые дома внизу, в окрестности, потемнела зелень камен[ного] дуба у ворот, желтая луна на бесцветно-синем небе; ночью: луна оч. высоко, небо пустое, огромн., на юго-в. лучисто играет чистый голубой брил[лиант] Сириуса.

26. I. 41. Воскр.

Солнечный и теплый день. Ездил в Cannes на концерт Барсукова (с оркестром). Моцарт, Метнер. Потом пили чай в англ. кофейне. <…>

28. I. 41.

Дождь, сыро, холодно. Вера чем свет уехала за яйцами. Был о. Николай, святил дом. Зуров подпевал при службе.

29. 1. 41.

Последние деньги утекают. <…>

В Норвегии голод. В Финляндии — голод, во Франции голод. Вся Европа ввержена в смертоносные битвы, голод, холод, рабство, муки.

30. I. 41.

Холод, дождь, туман. 889 фр. из Швеции — там читали что-то мое для радио.

31. I. 41. Пятница.

Всю ночь проливн. дождь и буря. И днем дождь. Ходили в город, истратили на покупки, — на всяческую дрянь, — больше 100 фр.

Чрезвыч. бодрое английск. радио вечером.

1. 2. 41.

Непременно изменить жизнь, — не пить на ночь, гулять днем и перед сном — видел нынче в 2 часа, когда пошли с Бах[раком] в город, тонкий серп нов. месяца, будут, значит, светлые ночи и м. б. теплее, а то все был мрак и холод.

С утра было сумрачно, к десяти разгулялось — солнце и тепло. Груды кремовых курчавых облаков (снизу серых), навалившихся на собачью гору над М.-Карло.

И в Африке и в Греции продвижение англ[ичан] и греков.

Гитлер в своей речи 30 янв. признал «неуспехи» итальянцев. Но это не важно, — все равно, сказал он, «en 1941 1'histoire connaitra un ordre nouveau — il n'y aura plus *de priviléges, plus de tyrannie… le monde aura le dernier mot…*»[32].

6 ч. вечера. Полчаса тому назад над М.-К., над горами, было нечто гигантское, состоящее из белых клубов, по клубам озаренное красным. Что там, в северн. Италии? Сейчас завешивал окна — высоко, высоко мутный серп месяца — и «синие тучи весны на западе будут видны (Андреевский)» — синие тучи на закате. Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось, — молодо, нежно и грустно, — вспомнилось почему-то время моей любви, несчастной, обманутой — и все-таки *в ту пору* правильной: все-таки в ту пору было *в ней*, тогдашней, удивит. прелесть, очарование, трогательность, чистота, горячность… Впрочем, все это очень плохо говорю.

<…>

12. 2. 41. Среда.

Вчера вечером англ. радио: Франко проехал по франц. Ривьере к Муссолини. Петэн выехал из Виши в свое поместье (близ нас) и будет иметь свидание с Франко на его возвр. пути. В чем дело? Нынче в газетах ничего нет об этом, но сказано, что Испания решила примкнуть к «Оси» в «мировой политике». Итальянск. сообщение: «итальянский народ в страшном гневе на подлость англичан, бомбардировавших Геную, и *«накажет» их*

жестоко». <…>

23. 2. 41. Воскресенье.

<…> Открытки от Веры Зайцевой и Каллаш. Вера: «Jisn gavno» (жизнь гавно). «Va bien»[33].

Кал[лаш]: «Jrem brukvou va bien» («жрем брюкву»). <…>

6 1/2 вечера. Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, — хоть шаром покати!

24. 2. 41. Понед.

Был в Cannes. Пошел в порт, в ресторанчик-бистро, прославившийся своей кухней среди богатых людей. Бедно, 4 столика, за конторкой седенькая жена хозяина, седой небритый хозяин, оба жили в России, вспоминают ее с восторгом и грустью, говорили (плохенько) по-русски. Жаловались: ни провизии, ни газа. Дали мне 1/2 б. оч. хорош. красного вина, салат из свеклы и рубл. кусочки курицы (кости гл. образом) и скверного «café national». Счет 44 фр. <…>

Ждал час билета и посадки в автобус (на горячем солнце). Дома гороховый суп и по 2 ломтика колбасы, сделанной из черт его знает чего. <…>

Кончил «Даму с кам[елиями]». Ничуть не трогает, длинно, фальшиво.

25. 2. 41.

Солнце, но холодно. <…>

Комментарии к речи (воскресной) Муссолини и к речи (вчерашней) Гитлера. <…> Оба вождя выразили «уверенность в их конечной победе». Гитлер говорил, что ni le general «hiver», ni le general «Fain»[34] не страшны Германии и что с помощью Провидения англичане будут разбиты повсюду.

26. 2. 41. Среда.

Проснулся в 8, недоспал, но решил встать, начать раньше ложиться и вставать раньше. Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь, дикие сожители. М., Г. — что-то невообразимое. Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки. <…>.

Вечером. Синяя муть (грядой) на западе, над ней муть красно-оранж. неба, выше небо зеленоватое.

1. 3. 41.

Ровно год тому назад начал записывать более или менее правильно события дней. Целый год тому назад! И мог ли думать,

в каком положении буду писать через год!

Проснулся в 8, выпил ту бурду, которая называется теперь кофеем, и опять заснул часа на полтора.

Серенький, сравнительно теплый день. Больна Вера, — насморк, кашель, легкий жар, а все-таки бегала нынче на базар.

В первом часу радио: Болгария присоединилась к Германии, Италии и Японии! Очевидно, немцы пойдут через нее на Грецию.

2. 3. 41. Воскр.

<…> Присоединение Болгарии к «тройственному пакту» подписано вчера в Вене в половине второго. <…> Серьезный денек был вчера!

4. 3. 41. Вторник.

Немцы на границе Греции. Вечером англ. радио: разрыв дипломат. отношений Англии с Болгарией, объявление Англией ей войны.

Ночь, молодая луна, мистраль.

6. 3. 41. Четверг.

Вчера завтракал в Cannes. <…> Очень глупо кое-что болтал, выпил почти бут. красн. вина. Потом в англ. кафе джин за кофеем, потом в кафе против вокзала vieux porto. Приехав, накупил вина, опять пил. Проснулся ночью, лежал в страхе, что могу умереть.

День был солнечный и свежий. Нынче такой же.

Опять думал, посидев минут пять в саду и слушая какую-то весенн. птичку, что иного представления о Боге, кроме Толстовского (его посл. лет), не выдумаешь. Божественность, этой птички, ее песенки, ума, чувств.

За посл. дни уже много цветущ. мимозы.

8. 3. 41.

Вчера весь день холод, дождь, туман, вечером долго гремел гром.

Переписал кое-что с истлевших, чудом уцелевших клочков моих записей конца 1885, начала 1886 и конца 1887 гг. и с болью сердца, поцеловав, порвал и сжег их. Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни.

Нынче с утра тоже дождь, тучи, туман, сейчас (к вечеру) распогодилось. <…>

Принца Павла вызвал к себе Гитлер. Хозяин Европы вызывает! Что-то выйдет из этого вызова?

Англию, конечно, бомбардируют, — *изо дня в день, восьмой*

месяц! Англичане отвечают тем же. Быстро продвигаются в Абиссинии. <…>

9. 3. 41. Воскр.

Так холодно, что затопил с утра. Облака, тучи, просветы, иногда дождь.

В газете ничего особенного. Бьют итальянцев в Албании и в Африке. Вчера в 10 ч. 50 вечера через Ниццу провезли в Испанию гроб Альфонса. Несколько дней тому назад бывший румынск. король бежал на автомобиле из Испании в Португалию («avec Mme Loupesku»)[35]. Короли бегают!

Три раза в жизни был я тяжко болен по 2, по 3 года подряд, душевно, умственно и нервно. В молодые годы оттого так плохо и писал. А нищета, а бесприютность почти всю жизнь! А несчастные жизни отца, матери, сестры! Вообще, чего только я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война — и все с неслыханными зверствами, несказанными низостями, чудовищной ложью и т. д.! И вот старость — и опять нищета и страшное одиночество — и что впереди!

10. 3. 41.

С утра ужасный холод, дождь. Сейчас (4 ч. дня) с запада расчистило, солнце. Но ветер все еще с Италии и, если не повернет, не пойдет с Марселя, не жди ничего хорошего.

Очень грустное впечатление осталось и все еще держится от переписки с клочков моих полудетских записей (1885, 86, 87 гг.). Очень жалко себя.

11. 3. 41.

Солнечное утро, безоблачн. небо. Сейчас десять минут двенадцатого, а Г. и М. и Бахрак только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 фр. <…>

Газеты: Франц. правительство решило ни в коем случае не дать Англии захватить франц. флот и охранять торгов. корабли военными. Значит, Англия намеревается захватить флот? «Лихорадочно» укрепляется Гибралтар.

Греческий премьер заявил, что Греция не уступит ни метра своей «священной земли». Значит, *немцы* готовятся вторгнуться в Грецию?

Югославия подписала с Германией пакт о ненападении и экономический. Рузвельт через югославского посла обратился к принцу Павлу, чтобы тот держался, ибо он, Р., уверен в победе Англии: это последнее сказано в швейц. газете — во французских

об этом ни слова.

После завтра[ка] по саду. Довольно жаркое солнце. Две ящерицы. Птичка сладко поет, уже по-весеннему. За домом цветет большое старое миндальное дерево — издали кажется, будто бумажными бело-розовыми цветами. Зеленые подушки из мелкой зелени в мелких ярких фиолетовых цветах. <…>

12. 3. 41.

Вчера вечером был с Бахр. в городе, в том синема, где не был целых 7 лет с лишком, — после того дня, когда сидел в нем с Г[алиной] и вдруг в темноте вошел Зуров и сказал: «телефон из Стокгольма, Ноб. премия дана вам…» Вчера там пели, играли и плясали испанцы. Заснул в час, выпив — опять! — рюмок пять водки. Нынче проснулся в 8 1/2, но довольно хорошо себя чувствуя. Солнечно неяркий день, довольно тепло — уже по-весеннему. <…>

Газета: опять о том, что Франция будет защищать франц. Африку (офиц., из Виши). От *кого* защищать? <…> Возобновление греческой активности в Албании.

16. 3. 41. Воскр.

Все дни почти сплошь солнечные, но с прохл. ветром. Нынче теплее всего. Все дни ничего не делал — верно, от потери крови. Читал «Русскую Мысль» за 904 и 905 г. <…> Рассказы в «Р. М. «ужасны. Даже не ожидал, что это такое было. Вера уехала к Самойловым. Насчет питания совсем скверно. Я очень похудел. Что будет с Югосл., до сих пор неизвестно.

17. 3. 41.

Солнечно, облака, почти совсем тепло. Утром прогулка через лес.

Греки сообщают о провале итальянск. наступления в Албании. Англичане продвигаются к Аддис-Абебе. <…> Гитлер опять говорил — «в день героев» (вчера). Опять обрисовал положение Германии после Версаля, опять сказал, что Германия «все-таки» не хотела войны, что ответств. за нее падает на таких господ, как Churchill, и на масонов и на евреев, затем «выразил веру» в победу Германии, в новое, прекрасное устройство Европы после победы. <…> Говорил вчера вечером и Рузвельт о помощи Англии, Греции и Китаю, — с необыкн. твердостью сказал, что Америка даст им «все, все»: «корабли, авионы, продовольствие, пушки, танки и т. д.» и что эта дача уже началась.

19. 3. 41.

Солнечный холодный день.

Вчера перед (пропущено слово. — *О. М.*) начал писать «Натали Станкевич», писал и после обеда до часу, пил в то же время коньяк, спал мало, нынче еще не выходил на воздух (а сейчас уже почти пять), все писал — словом, веду себя очень глупо, но, дай Бог не сглазить, чувствую себя не плохо: верно оттого, что принимаю уже дней пять «Pancrinol», по три ампулы в день.

Вечер. Обед: голый гороховый суп, по две ложки шпинату, варенного в одной воде и ничем не приправленного, по одной кудре такой же цветной капусты, по 5 фиников. <…>

В каких страстных родах двух чувств — ненависти к врагам и любви к друзьям — живу я почти непрестанно уже более четверти века, — начиная с 14-го года!

24. 3. 41.

Сейчас, в 10 вечера, проветривал в темноте комнату, стоял возле открытого окна — дружно орут первые лягушки.

Весна. Все посл. дни солнечно, но все еще прохладно не на припеке. Все дни сидел почти не вставая, писал «Натали».

4. IV. 41. Пятница.

В шесть вечера кончил «Натали». Серо, холодный ветер, то и дело по стеклам дождь.

Переворот в Югославии, взошел на престол Петр II, Павел бежал в Афины. Озлобление против немцев (по газетам) — страшное <…>

31 марта послал заказное в Виши насчет денег мне из Белграда и такое же грасскому сборщику податей о своих доходах за 40-й год — не показал, разумеется, ничего. <…>

7. IV. 41. Понедельник.

Вчера в 12 1/2 дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопротивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!

В 4 поехал в Cannes, отвез Барсукову, едущему в Америку, пакет с рукописями всей своей новой книги — кроме «Натали», для передачи Алданову. Второй отдел кончается 185-ой стр. <…>

Забыл: вчера же другая огромная весть: англичане взяли в субботу вечером Аддис-Абебу. <…>

11. IV. 41. Пятница. (Католич. Страстная)

Проснувшись около 8, лежал, покорно думая: ну, что ж, если даст Бог веку, надо жить, смирившись. <…>

В 10 прошелся по Route Napoleon. Полнолуние, вся долина в тонком тумане, во впадинах полосы бело-голубого тумана.

Еще раз (кажется, окончательно) перечитал (днем) «Натали», немного почеркал, исправил конец последней главы. <…>

Пишу в первом часу ночи, очень усталый и грустный, в ожидании, что скажет англ. радио (слушает Бахр[ак]).

12. IV. 41.

Солнечное утро, но не яркое, не ясное, облака.

Австрия, Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, теперь на очереди Сербия и Греция — если Германия победит, что с ней будет при той ненависти, которой будут одержимы к ней все эти страны? А если не победит, то дальше и думать страшно за немецкий народ. В Белграде, пишут газеты, сейчас тысячи трупов под развалинами — простят это сербы? Да, еще Румыния, Венгрия — 13 стран! <…>

18. IV. 41.

<…> Избегаю читать газеты и слушать радио. <…>

По огородам уже давно висят подушки мелких фиолет. цветочков; зацвела сирень, иудино дерево, каштанчик весь в нежнейшей зелени, рядом деревцо все в зеленовато-коричн. листве и розовых цветах — нарядно удивительно.

В полдень радио: югославск. армия сдалась «sans conditions»[36].

20. IV. 41. Св. Христово Воскресение.

Христос Воскресе, помоги Господи!

С утра пухлые облака, солнце, сейчас (полдень) серо, тихо, неподвижно. Дубы уже дымчато засерели зеленью.

Тобрук еще держится, греческий флот тоже. <…>

23. IV. 41. Среда.

<…> 34 года тому назад уехали в этот день с Верой в Палестину. Боже, как все изменилось! И жизни осталось на донышке.

Радио, вальс, который играли в Орле на балах и в городском саду. <…>

27. IV. 41. Воскресенье.

В шестом часу вернулись с Верой от Самойловых —

завтракали (курица под белым соусом). С утра солнечно, но дуло холодным ветром, вроде мистраля.

Г. сказала: слушали радио — на Акрополе немецкий флаг. Вот тебе и Англия. Сейчас (около шести) тихо, слабое закатное солнце по равнине, все неподвижно. И также неподвижно, грустно-покорно на душе.

Слух, что умер Шмелев.

Нет больше ни Югославии, ни Греции. Все погибло в один месяц.

2. V. 41.

Солнце, довольно слабое, облака.

Начал еще раз перечитывать «Темные аллеи». *Перечитал и кое-где почеркал весь первый отдел.*

В пятом часу чуть не час гроза: фиолетовое с белым полированным блеском мелькание, затем, через неск. секунд, удары с затяжкой, разрывы, тяжкий стук, дребезг стекол и раскаты с одной стороны неба на другую, отходящее шипение.

12 тысяч немцев с танками в пр. в Финляндии — это в швейц. газете — будто бы идут на отдых из Норвегии. Предостережение Сталину? В пять минут возьмем Птб., ежели ты…?.

13 мая 41.

<…> Ночью вчера англ. радио: улетел, сбежал Hess, упал на парашюте в Англии, сломал себе ногу. Непонятная история. <…>

Был дождь и гроза. Серо, влажно. Птицы, соловей.

Мой вес 10 шюня 40 г.: 72–71. <…>

Ходили в город, добывали папиросы. Очереди, хвосты. Серый табак стоит уже 6 фр.

14. V. 41. Среда.

<…> Вечерн. русское радио: в Швеции скоро не будет мяса. Да, через полгода *вся* Европа — и Германия в том числе — будет околевать с голоду. «Nouvelle Europe»!

Америка, очевидно, вот-вот войдет в войну.

Жалкая посылка (нынче утром) из Португалии: колбаса, пакетик картофельной муки, 2 маленьких плитки шоколада, пакетик чаю — *все самого дрянного качества*. Но и то праздник!

16. V. 41.

Был вчера с Бахр. в Cannes, сидели с Кантором в «Clarige'e», потом в кафе «Пикадилли». Съели с радостью и удивлением по 2

бутерброда — с яйцом и с сардинкой. Красавица в платье с маргаритками — маргаритки по красной блузке и марг. по синей юбке. <…>

10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» живет в каком-то «чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей…» Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!

Прочел еще одну книжку Marcel Prevost «Lettres de femmes»[37]. Пошлое ничтожество. И был славен. <…>

17. V. 41. Суббота.

Мутный день с ветром. Письмо от П. Б. Струве из Белграда — от 1 апреля. <…>

Скучно — и все дивишься: в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция!

22. V. 41. Четв. Католич[еское]. Вознесение.

<…> С Ривьеры высылают куда попало 2 тысячи евреев. Перед завтраком заходил к Полонским в Hôtel Victoria на Victor Hugo. Когда-то жил тут Боборыкин, жил в ту зиму, когда мы с Найденовым были в Ницце. <…> Кончил перечитывать «Madame Bovary», начал перечитывать «Былое и думы». У Герцена многое очень скучно. Перечитываю, скорее всего, в последний раз в жизни — немного мне осталось лет. (…)

Почти 12 ч. ночи (по новому времени). Днем было голодно, хочется спать, но, м. б., дождусь англ. полночного радио.

Лягушки, сыро, облака и звезды. Вот уже скоро 2 года — ни одного немецкого поражения!

25. V. 41. Воскресенье.

Будто бы потоплено в Средиз. море много англ. военных судов и в Атлант. океане самое большое. На Крите бои еще идут.

«День матерей». Чуть не весь день этот грасский колок[ольный] звон (как часто в мае). Погода к вечеру немного портится — ветер пошел с Италии. Множество роз у нас в саду — белых, розовых, темно-красных.

В[ера] принесла утром кусок белого хлеба — выдавали бесплатно, по карточкам — хлеб из белой муки, подаренной Франции Америкой. Чудесный хлеб! Мы едим отвратит., кислый, желто-серый.

5. VI. 41.

<…> Слабость, сонливость, подавленность.

Все гадают: что дальше? Кипр?

Маки вдоль стены тисов перед нашей часовней — яркий огненный цвет (на солнце с оранжевым), их легкость. В саду много роз: чайные (палевые), белые с зеленоватым оттенком. Палевые, высыхая, желтеют (цвет желтка).

12. VI. 41.

Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной фон Розен-Мейер, рожденной Пушкиной — дочь А. А. Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича.

15. VI. 41.

Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е. А., эта внучка Пушкина.

Неделю тому назад англичане начали наступление на Сирию.

16. VI. 41. Понед., вечер.

Прошлый год мы в этот вечер были в Ниме, по пути куда-то к черту на рога.

Презрение первых христиан к жизни, их отвращение от нее, от ее жесткости, грубости, животности. Потом варвары. И уход в пещеры, в крипты, основание монастырей… Будет ли так и в 20, в 21 веке? <…>

21. VI. 41. Суббота.

Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия эвакуирует из городов женщин и детей… Фронт против России от Мурманска до Черного моря? «Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя черт его знает. Для Германии или теперь или никогда — Россия бешено готовится.

Послал телеграмму Алданову: «Pas nouvelles ni argent»[38]. 12 слов, 77 фр.

В городе купили швейцарские газеты: «отношения между Герм. и Россией вступили в *особенно острую* фазу». Неужели дело идет всерьез?

С некоторых пор каждый день где-то в Грасе ревет корова. Вспоминается Россия, ярмарки. Что может быть скучнее коровьего рева!

Одиннадцатый час вечера: швейцарское радио о падении Дамаска.

Туманный вечер, еще не совсем стемнело (ведь наши часы на 2 часа вперед), множество лючиолей: плывут вверх, вниз, вспыхивают желто-зеленовато, гаснут и опять вспыхивают; от них в деревьях, в тени темнее, таинственнее.

22. VI. 41. 2 часа дня.

С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — *Германия нынче утром объявила войну России* — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» ее.

После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апр. 1851 г.), как вдруг крик Зурова: «И. А., Герм. объявила войну России!» Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахр[ак] Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно. <…>

Тихий, мутный день, вся долина в беловатом легком тумане.

Да, теперь действительно так: или пан или пропал.

23. VI. 41. Понедельник.

В газетах новость пока одна, заявление наступающих на Россию: это «la guerre sainte pour preserver la civilisation mondiale du danger mortel du bolchevisme»[39].

Радио в 12 1/2 дня: Англия вступила в военный союз с Россией. А что же Турция? Пишут, что она останется только «зрительницей событий». <…>

Мутный, неподвижный день.

24. VI. 41.

Ночью болела голова и горло. Прекрасное тихое утро. И позавчера и вчера Россию в 10 1/2 вечера уже не слышно.

Письма Флобера из Египта (1850 г.) превосходны. Вообще, совершенно замечательный был человек.

Весь день лежу и читаю. 37 и 2.

Начал читать (с конца) рассказы Левитова, прочел (вернее, просмотрел) уже страниц 300 — совершенно нестерпимо, пошло и бездарно до тошноты. Но среди всего этого «Горбун» писал точно другой человек. И теперь я опять испытал некоторое очарование. И замечательно: с изумлением увидал, что много мест и фраз я помню с тех пор чуть не наизусть.

Утром в газетах первое русское военное сообщение: будто бы русские уже бьют немцев. Но и немцы говорят, что бьют русских.

Опять весь день думал и чувствовал: да что же это такое — жизнь Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя! И вот уже третий год так живут!

29. VI. 41.

Послал Олечке открытку:

С постели рано я вскочил:
Письмо от Оли получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
«Как наша Оля подросла!
Переросла она осла!
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите, как она
Ужасно сделалась умна!
Должно быть, очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих,
Когда зимой кормила их!»
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне, —
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал…
И так обиделся я вдруг,
Что посинел и весь распух.

30. VI. 41.

<…> И вообще становлюсь все грустнее и грустнее: *все, все* давит мысль о старости. <…>

Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его!

Швейцарские газеты уже неинтересно читать.

В двенадцатом часу полиция. Рустан с каким-то другим. Опрос насчет нас трех мужчин, кто мы такие, т. е. какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки — меня освободили по болезни, Зурова взяли; Бахрак в Cannes, его, верно, там арестовали. Произвели осмотр моей комнаты.

Рустан вел (себя) удив. благородно.

Во втором часу радио: Франция прервала дипломат. отношения с Россией ввиду ее мировой коммунистич. опасности.

8 часов вечера.

Был д-р. Deville, осматривал меня, Веру и Маргу.

Часа в три приехал из Cannes Бахр., пошел в полицию и должен провести там ночь, как и Зуров. А, м. б., еще и день и ночь?

На душе гадко до тошноты.

Слухи из Парижа, что арестован Маклаков (как и все, думаю).

Радио — немцы сообщают, что взят Львов и что вообще идет *разгром* «красных».

Поздно вечером вернулись М. и Г., ходившие в полицию на свидание с З. и Б., которым отнесли кое-что из еды и для спанья. Оказалось, что всех арестован/ русских (вероятно, человек 200–300) отвезли за город в казармы; М. и Г. пошли туда и видели во дворе казармы длинную вереницу несчастных, пришибленных (и в большинстве оборванных) людей под охраной жандармов. Видели Самойлова, Федорова, Тюкова, взятых с их ферм, брошенных у некоторых, несемейных, на полный произвол судьбы со всеми курами, свиньями, со всем хозяйством. Жестокое и, главное, бессмысленное дело.

1. VII. 41. Вторник.

С горя вчера все тянул коньяк, ночь провел скверно, утром кровь. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5, 6 от города туда и назад). Видела З. и Б. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих.

Вчера перед вечером и весь вечер грохотало громом. Нынче с утра солнечно, с полудня тучки, редкий дождь изредка. На душе тупая тошнота. Валяюсь и читаю Флобера (его письма 70-го года).

В Эстонии уже горят леса. Думаю, русские будут жечь леса везде.

Вечер, 9 1/2, т. е. по-настоящему 7 1/2. Мутно, серо, мягко, все впадины долины в полосах белесого дыма — оч. тихо, дым от вечерних топок не поднялся.

Не запомню такой тупой, тяжкой, гадливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна 19-го года, Одесса, большевики — оч. похоже на то, что тогЗ З., Самойлова, Федорова — этот о своей собаке, «нынче моего сукина сына еще покормят, а завтра? Издохнет сукин сын!» Город прислал в казармы кровати, будет кормить этих узников. Большое возмущение среди французских обывателей тем, что делается.

Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень, и начало 1871 г.).

Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится.

Желтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца.

Да, опять «Окаянные дни»!

2 VII. 41.

Проснулся в 6, оч. плохо себя чувствуя. В. встала еще раньше и ушла — в казарму, очевидно. Заснул до 8 1/2, сладостр. сны. В

9 телеграмма М. от кого-то. Г. вошла, прося 5 фр. для телеграфн. мальчишки и сказала, что сами русские только что объявили, что они сдали Ригу и Мурманск. Верно, царству Сталина скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две.

Приезд в Париж 28 марта 20 г., каштаны, новизна и прелесть всего (вплоть до колбасных лавок…). Какая была еще молодость! Праздничные дни были для всех нас.

3. VII. 41.

Часов в 8 вечера вернулись из казарм Бахр. и Зуров. Там было все-таки тяжело — грязь, клопы; спали в одной камере (правда, большой) человек 30. Сидели и ждали опросов. Но никто ничего не спрашивал. А нынче вдруг приехала какая-то комиссия, на паспортах у всех поставила (пропуск. — *О. М.*) и распустила всех. Глупо и безобразно на редкость.

5. VII. 41. Суб.

С утра довольно мутно и прохладный ветерок. Сейчас — одиннадцатый час — идет на погоду. И опять, опять, как каждое утро, ожидание почты. И за всем в душе тайная боль — ожидание неприятностей. Изумительно! Чуть не тридцать лет (за исключением десяти, сравнит. спокойных в этом смысле) живешь в ожидании — и всегда в поражении своих надежд!

<…>

12. 8. 41.

Погода все последнее время все-таки неважная. Солнце, облака, ветер с востока. Печет — и прохладный ветер. «Politique Bulgare. Mot d'ordre: lutter contre le bolchevisme[40].

Страна за страной отличается в лживости, в холопстве. Двадцать четыре года не «боролись» — наконец-то продрали глаза. А когда ко мне прибежал на Belvédère сумасшедший Раскольников с беременной женой (бывший большевицкий посланник в Болгарии), она с восторгом рассказывала, как колыбель их первенца тонула в цветах от царя Бориса. <…>

Вести с русских фронтов продолжаю вырезывать и собирать.

Кончил «La porte étroite» Gide'a[41]. Начало понравилось, дальше пошло что-то удивительно длинное, скучнейшее, совершенно невразумительное. <…>

«Москва под ударом» Белого:

— За сквером просером пылел тротуар… — Там алашали… — Пхамкал, и пхымкал… — Протух в мерзи… — Рукач и глупач… И так написана вся книга.

Да, не оглядывайся назад — превратишься в соляной столп!

Не засматривайся в прошлое!

Шестой (т. е. четвертый) час, ровно шумит дождь, сплошь серое небо уже слилось вдали с затуманенной долиной. И будто близки сумерки.

Семь часов, за окнами уже сплошное, ровное серое, тихо и ровно шумит дождь. Уже надо было зажечь электричество.

22. 8. 41. Пятница.

В прошлую пятницу (15, католическое Успенье) был в Cannes. Уже не помню, купался ли. Возвратясь, шел домой, сидел, смотрел на горы над Ниццей — был прекраснейший вечер, горы были неясны, в своей вечной неподвижности и будто бы молчаливости, задумчивости, будто бы таящей в себе сон, воспоминания всего прошлого человеческой средиземной истории.

Прочел в этот вечер русское сообщение: «мы оставили Николаев». <…>

Рузвельт сказал, что, если будет нужно, война будет и в 44 году.

Сейчас (около полудня) газета: итальянск. газеты пишут, что война будет длиться 10 лет! Идиотизм или запугивание? Да, Херсон взят (по нем. сообщению), Гомель тоже (рус. сообщение).

Война в России длится уже 62-й день (нынче).

Олеандры в нынеш. году цветут у нас (да и всюду) беднее — цвет мельче, реже. И уже множество цветов почернело, пожухло и свалилось.

Как нарочно, перечитываю 3-й т. «В[ойны] и м[ира]», — Бородино, оставление Москвы.

Ветер с востока, за горами облака, дует, довольно прохл. в приоткр. окна. Но в общем солнечно.

24. 8. 41. Воскр.

Вчера Cannes, купался. Никого не видал.

Юбочки, легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женств., которые носят нынешнее лето. Стучат дерев. сандалиями.

Немцы пишут, что убили русских уже *более 5 миллионов*.

С неделю тому назад немцы объясняли невероятно ожесточенное сопротивление русских тем, что эта война не то, что во Франции, в Бельгии и т. д., где имелось дело с людьми, имеющими «l'intelligence»[42], — что в России война идет с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти. Румыны вчера объяснили иначе — тем, что «красные» идут на смерть «под револьверами жидов-комиссаров». Нынче румыны

говорят, что, несмотря на все их победы, война будет «*непредвиденно* долгая и жестокая».

Днем нынче было соверш. палящее солнце — настоящий провансальский день.

28. 8. 41. Четверг.

Был André Gide. Оч. приятное впечатл. Тонок, умен — и вдруг: Tolstoy — asiatique. В восторге от Пастернака (как от человека — «это он мне открыл глаза на настоящ. положение в России»), восхищ[ался] Сологубом.

Вечером известие, что Персия сдалась.

Вчера: ранен Лаваль (на записи волонтеров франц., идущих воевать с немцами на Россию). <…>

Gide видел Горького, но в гробу.

В Париже выдается литр вина на человека на целую неделю.

30. 8. 41. Суб.

С утра солнце, потом небо замутилось, совсем прохладно. Ночью ломило темя и трепетало сердце — опять пил на ночь (самод[ельную] водку)!

Взят Ревель. <…>

Кончил вчера вторую книгу «Тихого Дона». Все-таки он хам, плебей. И опять я испытал возврат ненависти к большевизму.

<…>

22. IX. 41. Понедельник.

Русское радио: «мы эвакуировали Киев». Должно быть, правда, что только вчера, а не 19-го, как сообщали немцы.

Г. и М. продолжают еще раз переписывать мои осенние и зимние рассказы, а я вновь и вновь перечитывать их и кое-где править, кое-что вставлять, кое-что — самую малость — зачеркивать.

Потери немцев вероятно чудовищны. Что-то дальше? Уже у Азовского моря — страшный риск…

Послал (завтра утром отнесет на почту Бахрак) Олечке письмо: три маленьких открытки шведских и стихи:

Дорогая Олечка,
Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
С косточками съем,

Ушки пополам
Марге с Галей дам,
А для прочих всех —
Лапки, хвост и мех.

23. IX. 41, 24. IX. 41.

<…> Майский, русский посланник в Англии, заявил англ. правительству, что немцы потеряли людьми около трех с половиной миллионов, но что и у русских потери очень велики, что разрушены многие индустр. центры, что Россия нуждается в англ. помощи… Это англ. радио. Французское радио сообщило одно: «Майский признал, что положение русских катастрофично, что потеря Киева особенно ужасна…»

Прекрасная погода.

<…>

19. X. 41. Воскр.

Пошел пятый месяц войны.

Недели 2 т. н. перечитал три романа Мориака. Разочарование.

Нынче кончил «L'école des femmes»[43] Gide'a. Скучно, пресно, незначительно. Зачем это написано? Умный человек, прекрасно пишет, знает жизнь — и только.

[Без даты]

Когда ехал в среду 22-го из Ниццы в Cannes в поезде, голубое вечернее море покрывалось сверху опалом.

<…>

Воскресенье. 9. XI. 41.

Ночь, дождь, холод. Не такая была ночь когда-то — 8 лет тому назад 9 Ноября! (Премия.)

11. XI. 41.

Мрачные тучи, дождь, иногда ливень, туман. Ночь, проснулся, страх смерти.

Липа под моим окном уже почти вся осыпалась, чуть не в один день.

Вчера в газетах речь Гитлера. Говорил, что установит «новую Европу *на тысячи лет*».

В России уже снег и дожди.

Письмо к Марге от Степуна о сумасшествии их матери.

21. XI. 41. Пятница.

В среду поехал с Бахр. в Ниццу (глав. обр. к Дмитренко — холодеет и немного мертвеет правая рука). Дм. уехал к Куталадзе и к нам. Ночевал. Утром он ко мне зашел, сказал, что рука пустяки, что у нас он осмотрел Веру, Г. и Зурова — все сравн[ительно] слава Богу — и что у нас описали мебель за долги нашей хозяйке. <…> Обедали еще и с Жидом — все в «Императоре». В четверг завтрак в Grande Bleu — опять А. Жид и прочие. Завтрак был по настоящему времени удивительный.

23. XI. 41. Воскресенье.

Ночью дождь. И утром, и почти весь день дождь, ветер, туман. Уже разделись обе липы.

Весь день за письм. столом — переписывал итинерарий своей жизни и заметки к продолжению «Арсеньева». Что-то похоже на возвращение к работе.

Сейчас 11 1/2 ночи, буря.

25. XI. 41. Вторник.

Вчера, позавчера солнечно. Липы возле дома уже обе разделись. На верхней площадке редкие листья на липе, желто-зеленоватые на синем небе, как на синем стекле.

Нынче был в Cannes, <…> в «Пикадилли» — сандвич с сагой, тост, чай и два блюдечка вишнев. варенья (как всегда, без карточек), — 31 фр. Потом в Казино, открытая сцена, публика за столиками — точно ничего не случилось. <…>

Большие бои в Африке и в России.

«Фюрер разорвал завещание Петра Великого, хотевшего гегемонии в Европе» (немецк. газеты).

157-й день войны с Россией.

<…>

7. XII. 41. Воскр.

<…> Читаю собр. соч. Бодлэра «Мал. поэмы в прозе». Ничтожны, изысканны до бальмонтовщины, мелодраматичны. <…>

Кашель ужасный. Ничего не могу делать. Нет, не тот я был год тому назад!

9 ч. вечера. Радио: японцы напали на Америку. На дворе мга. Зуров говорит, что шел снежок.

8. XII. 41.

Солнечно и холодно. Кашель.

Война японцев с Ам[ерикой] идет уже полным ходом. Японцы, как и полагается негодяям, напали до объявления войны, без предупреждений.

К вечеру радио: есть уже тысячи 3 убитых и раненых.

В России 35 гр. мороза (по Ц.). Рус. атакуют и здорово бьют.

10. XII. 41. Среда.

Во время нашего «обеда», в 7 1/2 вечера швейцарское радио: умер Мережковский.

13. XII. 41.

Солнечно. К вечеру замутилось. Прошелся — опустил открытку Гиппиус. Чувствую себя оч. плохо. Ледяная рука.

Вчера Гитлер и Мус[солини] объявили войну Америке.

Вечер, 11 часов. Прошли с Верой до монастыря. <…> Вернулись, — Зуров: «швейцар[ское] радио сообщило, что немцы за последн. покушения на них расстреляли в Париже 100 евреев и наложили на парижских (?) евреев *2 миллиарда* контрибуции». Апокалипсис! Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, *и наша мать*!

14. XII. 41. Воскр. (Наше 1 Дек.)

Прекрасный день, солнечный и теплый — как в России в начале сентября. К вечеру замутилось.

Не спокоен и ничего не могу делать. Много думаю о Мережковском.

Мой экспромт Шаляпину (в ресторане «Петроград», против церкви на rue Daru в Париже, после панихиды по Вас. Нем[мировичу]-Данченко).

Хорошо ты водку пьешь,
Хорошо поешь и врешь.
Только вот что, mon ami[44],
Сделай милость, не хами.

Нынче правая рука не холодела.

15. XII. 41. Понед.

Прекрасный день опять. Но прохладно. Опять рука (утром).

Каждый вечер жутко и странно в 9 часов: бьют часы Вестм. абб. в Лондоне — в столовой!

По ночам ветерок не коснется чела,
На балконе свеча не мерцает.
И меж белых гардин темно-синяя мгла
Тихо первой звезды ожидает…

Это стихи молодого Мережковского, очень мне понравившиеся когда-то — мне, мальчику! Боже мой, Боже мой, и его нет, и я старик! Был в городе по аптекам.

Русские бьют.

19. XII. 41. 6 1/2 ч. вечера.

Письма от Манухиной и Веры Зайцевой: умер В. Н. Аргутинский (накануне был на похоронах Мережк[овского] (…)

23. XII. 41. Вторник.

Все дни прекрасная погода, к вечеру в комнате оч. холодно. Серп молодого месяца и Венера (уже давно) над Марселем с заката.

В Африке не плохо, японцы бьют англичан, русские — немцев. Немцы все отступают, теряя оч. много людьми и воен. материалом.

19-го Хитлер сместил главноком. на рус. фронте маршала von Brauchitsch и взял на себя все верховное командование, обратившись к армии и Германии: *откладываю наступление на Россию до весны.* <…>

Завтра Сочельник. Устраиваем несчастный «парадный» обед — выдадут завтра мясо. Делаем водку.

24. XII. 41. Сочельник католический.

Вечером «праздновали»: сделали водку, нечто вроде селянки (купил капусты серой — и плохой), вымоченные рыбки, по кусочку мяса.

28. XII. 41. Воскресенье.

Все дни хорошая погода, но холодно. Ветер все с Марселя. Неприятно трепещут веерные пальмочки.

Русские взяли Калугу и Белев.

Каждое утро просыпаюсь с чем-то вроде горькой тоски, конченности (для меня) всего. «Чего еще ждать мне, Господи?» Дни мои на исходе. Если бы знать, что еще хоть 10 лет впереди! Но: какие же будут эти годы? Всяческое бессилие, возможная смерть всех близких, одиночество ужасающее…

На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в

некоторый порядок свои записи, напечатанное в разное время… И все с мыслью: а зачем все это? Буду забыт почти тотчас после смерти.

Нынче (утро) солнце за облаками.

30. XII. 41.

И вчера и нынче солнце и облака и оч. холодно. Вчера особенно изумительная, волшебно прекрасная ночь — почти половина луны так высоко, как видел только в тропиках. На закате красота — и дивная Венера.

Хотим «встречать» Нов. год — жалкие приготовления, ходим в город, где нет ровно ничего. Почему-то везде много коробок с содой. А что еще?

Пальцы в трещинах от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы…

Нынче записал на бумажке: «сжечь». Сжечь меня, когда умру. Как это ни страшно, ни гадко, все лучше, чем гнить в могиле.

Заплатил за электричество почти 500 фр. Тот, кому платил, делал себе по животу нечто вроде харакири: «Rien à manger! Rien de rien!»[45]

Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой — *Ленинград*, Нижний — Горький, Тверь — Калинин — по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган.

31. XII. 41. Среда.

Еще год прошел. Сколько мне еще осталось!

Проснувшись в 9, чувствовал (уже не первый раз) тяжесть, некоторую боль в темени. М. б., маленькое отравление от печки, которую вчера опять затопил на ночь? Холод правой руки.

Прекрасный солнечный день.

Русские взяли Керчь и Феодосию.

1942

1. I. 42. Четверг.

Вера вчера уехала в 6 вечера к вдове Куталадзе. «Встречали» Новый год без нее. Было мясо, самодельная водка, закусочки — соленые рыбки, кусочки марю, тертая белая репа, по щепотке скверного изюма, по апельсину (местному, оч. кислому), Бахрак поставил 2 б[утылки] Castel vert (по 20 фр., прежде стоившие по 5 фр.).

Нынче опять прекрасный день. Я вял, слаб (как всегда посл. месяцы).

Гитлер вчера вечером говорил своему народу и армии: «<…> Мы одержали самые великие победы во всемирной истории… Советы будут в 42 г. раздавлены. Кровь, которая будет пролита в этом году, будет последней пролитой кровью en Europe pour des generations…»[46]

Вечера и ночи особенно удивительны по красоте. Венера над закатом оч. высоко. Луна по ночам над самой головой (нынче полнолуние). <…>

2. I. 42. Пятница.

Довольно серо, холодно. Ездил ко вдове К[уталадзе], завтракал там (морковь и горошек), воротился к вечеру с В., которая ночевала 2 ночи там.

4. I. 42. Воскр.

Серо, холодно. В комнате нестерпимо, нельзя писать от холода.

Сейчас поздний вечер, протопил у себя. Терпимо.

Немцы отступают (в России и в Африке), их бьют. У Куталадзе взял несколько книг. Читал Чехова.

Денежно продолжаю все больше разоряться. <…>

5. I. 42. Понедельник.

<…> Нынче оч. голодный день: месиво из тыквы с маленькой дозой картофеля и тертая сырая репа (белая) — некоторое сходство с тертой редькой, кушанье оч. противное. (…)

Подумать только: 20 лет, 1/3 всей человеческой жизни прожили мы в Париже!

Барятинский, Аргутинский, Кульман, Куприн, Мережковский, Аминад. Все были молоды, счастливы.

18. I. Воскр.

Вечером во вторник встречали новый год русский. Днем как следует шел снег. К вечеру приехали Либерманы и Гандшины. Либерман два раза сделал чудо — уходил за 2 комнаты, просил нас, сидевших в салоне, задумать, что он должен сделать: первый раз угадал, что нужно меня тронуть за ухо, второй — сесть на диван. <…>

Нынче прекрасный день, холод в доме легче. После заката немного прошелся — родился месяц — тонким серебр. волоском (на закатном небе) рядом с Венерой. Горы слились в темные зеленовато-синие массы. Когда вернулся через 1/2 часа, месяц-волосок стал золотой.

Вчера в Cannes свесился — 67–68. И это в одежде, в снизках, в тяжелых башмаках. А прежде в самой легкой одежде — 72–73. Вот что значит «безбойное питание».

20. I. 42. Вторник.

Вчера довольно теплый день, с мягким солнцем, нынче хмуро, серо, скучно, все небо в пухлых облаках, и так холодно в комнате, что лежа читал в меховых перчатках. <…>

Пробовал читать Горького, «Вареньку Олесову», которую читал лет 40 тому назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 — нестерпимо — так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть «художником». «*Косые* лучи солнца, пробираясь сквозь листву кустов сирени и акаций, *пышно разросшихся* у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами… Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли…» (И липы и сирень цветут вместе.) <…>

7. 2. 42. Суббота.

Особенно тяжелый день. Весь день при электричестве: ставни, занавес, ширмы. Спазмы у Веры.

Холод, сырость, с утра то мелкий дождь, то снег.

«Записные книжки» Чехова. В общем, оч. неприятно. Преобладающее: «N. все считали почтенным человеком, а он был сволочь» — все в этом роде.

Весь день топлю.

26. 2. 42. Четверг.

Дней 10 т. н. В. была у Кудера. Исследование крови. Результаты не дурные. В прошлый четверг уехала в Ниццу — новые исследования и радиография желудка. В понедельник поехал к ней: опущен желудок и легкая язва в нем. Назначен режим и впрыскивание чего-то (др-ом Розановым). Вернулись с ней во вторник.

Слухи: русские нанесли большое поражение немцам, погибла будто бы их 16-я армия.

<…>

[Без даты]

Как горько трогательна, тиха, одинока, слаба Вера!

30. 3. 42.

Послал письмо Олечке: Ты спрашиваешь, как мы пировали у наших друзей. Вот как:

У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.
Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное — мох. <…>

Все это недалеко от правды. «Новая Европа»!

31. 3. 42.

Хороший, почти летний день.

Марга и Г. завтра переезжают в Cannes — «на два месяца», говорят. Думаю, что навсегда. Дико, противоестественно наше сожительство. <…>

Вчера был в Cannes с Верой у зубного врача. Было солнечно, но с прохл. ветром. «Пикадилли», чай, два тоста, два крохотных блюдечка варенья (28 фр.). Тургеневский или Толстовский господин.

Все битвы и битвы в России. Немцы все грозят весенним (вернее, летним) наступлением. А вдруг и правда расшибут вдребезги? Все кажется, что нарвутся. Теперь все дело в Турции.

Нынче в газетах: «Le Japon veut la destruction compléte de 1'Angl. et des Etas-Unis»[47]. Ни более, ни менее. Бедные! Сколько работы впереди! А ведь надо еще уничтожить Россию и Китай.

1. IV. 42. Среда.

С утра пухлое небо, к полудню солнце, но слегка затуманенное.

В 11–45 ушла с мелкими вещами Г. Возле лавабо остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была

не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и тяжело грустно. Как молод был и я тогда.

Час дня. Я все еще в халате, без штанов. Все не могу привести себя в порядок. Хотел ехать в Ниццу с утра — раздумал, проснулся в 6, потом опять спал от 9 до 10.

Сейчас в доме пусто — Бахр. в Ницце, В. и З. завтракают в городе — дома нечего. Я съел крутое яйцо и кусочек мортаделлы — все «благоприобретенное».

Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни.

4. IV. 42.

Проспал 10 часов. Хороший день. Грусть. <…> Великая Суббота — наша и католическая.

Вечер. Обедали «роскошно»: суп из трав и рыба. Вере посчастливилось утром найти.

Пасхальный стол: 4 красных яичка, букетик гиацинтов — и все!

Тупая, тихая грусть, одиночество, безнадежность.

12 ч. 15 м. (10 ч. 15 м). Разговелись — В., З. и я: по крохотному кусочку колбасы (дал З.) и 1/10 яйца.

Над Антибами всходит мутная луна. Значит, бывает в Пасх. ночь!

5. IV. 42.

Христос Воскресе. Сохрани, Господи.

С утра так себе, после полудня мелкий дождь. В доме очень прохладно.

Вдруг почему-то пришло в голову: Добчинский и Бобчинский… Да: Сквозник-Дмухановский, Яичница… даже Чичиков — все очень плоско, балаганно — и сто лет все с восторгом повторяют: Добчинский и Бобчинский!

Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!

10. IV. 42.

Был в Ницце. Бюффа, Пушкина. Неприятно было, что сказала, что в ней «немецкая упорная кровь». Ее жадность к моему портсигару, воровское и нищенское существование. Завтрак — 250 фр.! У Полонских. Дама в картузе. Вел себя хмельно, глупо.

12. IV. 42. Воскресенье.

Кончил перечитывать рассказы Бабеля «Конармия», «Одесские

рассказы» и «Рассказы». Лучшее — «Одесск. р.». Очень способный — и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кощунству, подлому, нарочито мерзкому. Как это случилось — забылось сердцем, что такое были эти «товарищи» и «бойцы» и прочее! Какой грязный хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты. И какое сходство у всех этих писателей-хамов того времени — напр., у Бабеля — и Шолохова. Та же цветистость, те же грязные хамы и скоты, вонючие телом, мерзкие умом и душой.

«Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном…»

«Гедали (еврей) обвивает меня несколькими ремнями своих дымчатых глаз…» <…>

О Божьей Матери (икона в Ипатьевском монастыре, занятом «текстильщиками»): «Худая баба сидела расставив колени, с зелеными и длинными, как змеи, грудями…»

<…>

6. V. 42. Среда.

<…> Очень грустно и скучно — погибаю в одиночестве. Ни души даже знакомой. И все воспоминания, воспоминания.

Вчера был в Cannes — зачем? Да, в синема Vox, смотрел La grande farandole — Fred Astaire и Ginger Rogers. Изумительно танцуют — опять был восхищен чрезвычайно.

Англичане захватывают (верно, уже захватили) Мадагаскар. Французское негодование.

Читаю «La mémorial de Sainte Hélène (Comte de la Cases)»[48]. Чувствую и себя на S. Hélène. Страшно подумать, что он должен был чувствовать. А все-таки жил, диктовал, упивался прежней славой, надеялся. <…>

12. V. 42.

Все скверная погода, тучи, сумрачно, холодно, иногда дождь. Уже дней 5 кровь. Верно, поэтому, — перед кровью, — чувствовал такую тоску. Нынче спокойнее. Читаю (по франц.) — «Уединенное» Розанова. В общем ничтожно, иногда просто глупо в смысле необыкн. высокой оценки себя. <…>

«На всякий случай» занимался пересмотром того, что должно и не должно войти в будущее «полное» (более или менее) собрание моих писаний, писал распоряжения. Мучительно! Сколько ерунды и как небрежно напечатал я когда-то! Все из-за нужды.

13. V. 42. Среда.

Весь день дождь, плывущий туман, свинцово-меловые зловещие тучи, холод. (А ночью перед этим часа два ужасная гроза.)

Будто бы взята Керчь.

23. V. 42. Воскресенье.

Керчь давно взяли. Но Москва говорит, что возле К. все еще идут бои. Страшные бои из-за Харькова — уже недели две.

Последние дни уже лето. <…> И страх и тоска за Веру — опять неск. раз были боли. И она испугана, падает духом. Господи, спаси, совсем пропадаю.

Все хочу послать письмо Т. М. [Львовой] Толстой — и все не решаюсь.

Опять у нас в саду множество цветущих роз — и розовых, и белых, и пунцовых как пунцовый бархат — и вспоминаю с грустью, что в прошлом году я в это время еще писал (и вписал в «Натали» о такой розе).

Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще — бабочек.

26. V. 42. Вторник.

Все кровь — уже дней десять. Чувствую себя ужасно, слабость страшная. Тоска, страх за Веру. Какая трогательная! Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик… Мучительная нежность к ней до слез. <…>

3. VI. 42.

Лето. Была дурная, неспокойная погода, теперь как будто установилась.

Май был необыкновенный — соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера) как всегда они заливаются. Удивительно — сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том, и в другом случае — что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут.

Франц. радио — нечто поразительное. Тонем во лжи и холопстве.

Мне, верно, уже не поправиться — переломилось здоровье.

Едва таскаю ноги. Неужели и в прошлом году было то же? Нет, этого не помню. М. б., забыл?

Читал вчера и нынче стихи — Г. Иванова, Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошенница.

7. VI. 42. Воскр.

<…> Вчера письмо от дочери Анны Ник. Готье — приехала в Антибы, но «маму уже похоронили». Нынче все думал о тех прекрасных лесах вокруг Рокфора, по которым старушка спешила к автобусам. Не видеть ей их больше!

1. VII. 42. Среда.

Двенадцатый час вечера. В одиннадцать радио: *Севастополь взят.* Дорого, верно, достался!

Все время полное безволие, слабость, — ничего не могу, кроме чтения лежа. Перечитал первый том «Бр. Карамазовых». Три четверти — совершенный лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно способный писака. <…>

Разгром англичан в Африке. Немцы уже в 100 кил. от Александрии.

Чем же все это кончится? Вот впереди месяц, два самых роковых для Европы — думаю, за эти 2 месяца выяснится.

14. VII. 42. Вторник.

В прошлую среду вырвал еще зуб.

Прекрасный день. Попытка начать что-н. делать.

Прочел (перечитал, конечно) второй том «Бр. Карамазовых». Удивительно умен, ловок — и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем скука, не трогает ничуть. <…>

18. VII. 42.

Скучный день, тоска.

Немцы в России все идут вперед. В Африке начались бои «решительные».

И все слабость, безволие, безделие! <…>

11 часов вечера, радио: «положение Тимошенко катастрофическое». Что-то должно быть вот-вот новое, огромное. Все еще не верится, что все пропало.

19. VII. 42. Воскр.

Видел новую луну. Холодно, тучи, перед вечером прошел дождь.

Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось —

брехня: не взят и по сегодня.

10. VIII. 42. Понед.

Купался всего 2 раза пока — за все лето. <…>

В России ужасно, — кажется, правда гибель нынче: взят Пятигорск. Битва морская американцев с японцами — японцы трубят большую победу. Беспорядки в Индии — арестован Ганди и весь инд. конгресс, позавчера потребовавший ухода англичан из Индии.

<…>

2. IX. 42.

Евреям (взятым) не дают пить.

Все грусть — о прошлой моей жизни здесь. Лоренские острова.

Перечитал Лоти «Fântome d'Orient»[49]. Скучно, длинно.

7. IX. 42.

<…> Перечитываю «Любовь в жизни Толстого» Жданова. Гадко — до чего обнажили себя и муж и жена насчет своей крайней интимности!

Взят Новороссийск. И все-таки думаю — вот-вот будет большое и плохое для немцев.

Расстреляли 5 прав[ославных] священников в Праге — будто бы участвовали в убийстве какого-то немца и «укрывали у себя рус. парашютистов».

16. IX. 42. Среда.

Все прекрасные дни. И все мука — тянет ехать в Cannes, Ниццу, видеть море, женщин, кого-то встретить, — одиночество страшное! — и все мысль: все это напрасно, будет только мука с автобусами — и мука воспоминаний моих прежних лет тут.

Ночи спокойные, теплые, с бледными звездами, с непрерывн. журчаньем сверчков и ночных цикад.

Нынче ездил в Cannes, купался — всего четвертый раз за все лето! И уже кончено лето — м. б., последнее мое. Дов[ольно] большая волна, вода приятная.

Немцы к Цар[ицыну] все «продвигаются» и все атаки русских неизменно «отбиты». День и ночь идут уже с полмесяца чудовищн. бои — и, конечно, чудовищн. потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Только сумасш. кретин может думать, что он будет царствовать над Амер., Браз., Норвегией, Францией, Бельгией, Голл., Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией,

Албанией, Россией, Китаем — 16 странами, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут ее ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие. Но какая сказочная сила — пока.

<…>

1. X. 42. Четверг.

Вчера именины Веры. Роскошный обед — с колбасой «Собачья радость». <…>

14(1). X. 42.

<…> Рождение В. Ездила в Восса в церковь, причащалась. Обед праздничный — по 3 порченых вареных картошки. Но — чай с наст. вареньем — подарок Али («довоенное»).

Покров Пр. Богородицы. Защити, Матерь Божия.

Дела немецкие неважны. 76-ой день берут Царицын.

23. X. 42. Пятница.

<…> Страшный день: мне 72!

Нынче радио о Царицыне: «все атаки большевиков отбиты». Скоро 3 месяца как берут его!

27. X. 42. Вторн.

Третий день дождь, иногда ливень и грозы. В доме уже порядочно холодно.

Большие бои в Африке. Царицын все еще держится.

Чувствую себя плохо, особенно с утра. Верно, конец моим писаниям. Избавь, Господи.

9. XI. 42. Понедельн.

Девятая годовщина Ноб. премии!

Вчера большое событие: высадка американцев в Сев. Афр[ике].

12. XI. 42. Четв.

Вчера в 12 1/2 роковая весть: немцы занимают наше побережье.

Ницца занята вчера днем, Cannes поздно вечером — итальянцами.

В Grasse вошло нынче вечером 2000 итальянцев.

25. XI. 42.

Утром думал, что умираю — отлив крови от головы.

27. XI. 42. Пятн.

Вечером — швейц. радио — Тулон. Кончил «На пост[оялом] дворе».

28. XI. 42.

Страшные вести о Т[улоне] — почти весь флот потопился. Взрывы арсенала. Тряслись дома. Пожары. Моряков погибло оч. много.

Все время прекр. солн. дни. Но уже страдаю от холода.

3. XII. 42. Четверг.

Вчера в полдень Cannes. Потом Певзнеры и ресторан Паскаль. 3/4 красного тяжелого вина — опьянел. Зашел к Гукасову — не застал. Поехал на изв [озчике] с набережной в рус. церковь <…> ходил по церковному двору, обошел церковь — где вход в гробовое подземелье, куда меня в некий день внесут? Холодная, хорошая погода, предвечерн. время. Грустно, тупо, безнадежно. От искания этого входа — гадкое впечатление — глупо — зачем? Не дождавшись библ., ушел, доехал в автоб. до Cannes. На набережной, возле табачн. лавки, встретил Легранд. Бар. <…> Две рюмки коньяку. Потом бар в Карлтоне. Гукасов и те же. Два бокала белого вина.

Нынче кровь.

25. XII. 42. Катол[ическое]. Рожд[ество] Пятница.

Вчера ужин с Бродскими в ресторане «Потиньер». Он приехал из Монте-Карло. Ужин больше 2 1/2 тысяч. Мы — на чужой счет! Вот тебе и слава.

Нынче холод, дождь. *Убили Дарлана.*

Перечитываю «Гарденинных» — как когда-то на Mont-fleury чуть не 20 л. тому н.! Многое не хорошо.

Все грустен. В жизни мне, в сущн., не осталось *ничего*! <…>

27. XII. 42. Воскр.

Месяц тому назад, 27 ноября, умер Осоргин.

Холодно, серо. Топлю.

Писал заметки о России.

Тем, что я не уехал с Ц[етлиным] и Алд[ановым] в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грасе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!

31. XII. 42. Четв.

Грустил ужасно.

«Встречали» Нов. г. втроем (Б[ахрак] уехал куда-то): во время боя часов выпили по стакану белого вина и «поужинали»: по 5 соленых ржавых рыбок, по несколько кружков картошки и по три кружочка, оч. тоненьких, колбасы, воняющей дохлой собакой.

Холодно, но довольно хорошая погода.

Ноябрь, декабрь были почти сплошь солнечны.

Еще год прожит из маленькой человеческой жизни!

1943

1. I. 43. Пятница.

Господи, спаси и помоги.

3. I. 43. Воскр.

Письмо от Н. И. Кульман: умерли Бальмонт и проф. Оман. Исчез из мира и из моей жизни Б[альмонт]! А живо вижу знакомство с ним, в Москве, в номерах «Мадрид» на Тверской! Был рыжий, стрижен ежиком, налит сизой кровью, шея, щеки в крупных нарывах…

Солнечно, довольно тепло, но налеты мистраля.

1. 2. Понед.

Ночь была сырая, с мгой. Проснулся в 4, не спал до 6. Заснул и проснулся в 9. Чувствую себя, однако, сносно.

Паулис произвед. вчера Хитлером. в маршалы, сдался в Царицыне, с ним еще 17 генералов. Царицын почти полностью свободен. Погибло в нем будто бы тысяч 300. Но в Берлине речи — 10-летие власти Хитлера.

2. 2. Вторник.

Сдались последние. Царицын свободен вполне.

8. 2. Понедельник.

Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?

24. 2.

Нездоровится, повышена температура.

Солнечно.

Я был умен и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!

28. 3. Воскр.

Вечер. Часы переведены еще на час вперед — сейчас уже 12 1/2, т. е. по-настоящему 10 1/2.

Радио: умер Рахманинов.

2. 4. Пятница.

Продолжаю читать фр. перевод дневников С. А. Толстой (2 тома). Одержимая!

Читаю записки Порошина, воспитателя Павла I. Обожествление мальчишки, часто оч. гадкого и наглого.

Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?

3. 4. 42. Суббота.

Летний день. Деревцо на нижней площадке — розовые цветы, коричн. листья. Зацвело грушевое дерево, яблоня — самое прелестное. <…> Цветут левкои. Букет у меня на столе. Несказанно очароват. благоухание.

Мучительная медленность войны — наступление в Африке, выдохшееся наступление русских да и немцев в России…

10. 4. Суб.

Кончил «18-й год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, — с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, — игорный притон и притон вообще всяких подлостей!

11. 4. Воскр.

<…> 31 марта умер (оч. тихо) Милюков. Кончена долгая, — т. е. в сущности, оч. короткая — жизнь. Даже не верится. Давно ли — и т. д.

14. 4. Среда.

<…> Ночью разбудил крик Зурова и быстрый, бешеный стук — думал, что это он в стену — оказалось, стрельба по англ. авиону. Был алерт.

Все дни солнечные, но с холодн. ветерком. Нынче день совсем хороший. М. б., от погоды мне лучше?

1. V. Суб.

Перечитываю жизнь Гёте (по-франц.).

2. V.

Уже не помню, что вчера было (кроме того, что бешено убирался — могут выселить).

Весь день дождь, туман густым дымом.

С прошлой среды у нас с 11 вечера «couvre-feu»[50] — из дому ни шагу.

4. 5.

Прекр. день и прекр. облака над горами за Ниццей, — вечные, а наши жизни… Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут. И вся моя жизнь здесь — как молод был, когда сюда приехал! <…>

7. V. Пятница.

Полночь с 1/4. Дождь, лягушки. Час тому назад англичане вошли в Тунис, американцы — в Безерту.

Не было утром газет — не вышли вовремя [для?] автоб. из Ниццы. Там аресты (среди французов), берут заложников.

Второй день дождь и холодно.

Завтра надеюсь поехать в Ниццу. Поеду ли?

Наступление русских на Кубань. Вчера взята Крымская.

9. V. Воскр.

Вчера был в Ницце. Солнечно, бело, слепит, почти жарко. «Гастроном».

Вечером, вернувшись, узнал о письме Г. к Вере (уже из Марсели): «Покидаем Францию». Бросилась в пропасть с головой. <…>

26. V. Среда.

Письма от В. Зайцевой и Михайлова: умер Нилус (в ночь с суб. на воскр). Бесчувственность. <…>

29. V.

Слабость, сонливость. Вот тебе и стрихнин!

Письмо от П. Б. Струве: умерла его жена, Нина Александровна.

14. VI.

Надо начать хоть что-н. делать. Надо бодриться — Господи, помоги.

Слабое солнце, туманно. Полдень. Дождь. <…>

15. VI.

Скука и все ожидание, чтобы война, наконец, двинулась.

Перечитал «Le baiser au l'égreux», Mauriaca[51]. Поэтично, благородно, тонко, но в общем слабо, неубедительно. <…>

Оч. прохл. вечер, гадкая окраска гор и облаков.

18. VI. Пятница.

Прекр. день, но все то же — слабость, лень.

Перечитывал стихи А. К. Толстого — многое *удивительно хорошо*, — и свои «Избр. стихи». Не постигаю, как они могли быть не оценены!

В безделье провожу свои *истинно последние дни*. Но ничего не могу!

6. VII.

Большие бои в России. Немцы говорят о страшных потерях у русских, русские — о таких же у немцев. Те и другие о своих ни слова.

8. VII. Четв.

И вчера и нынче громадн. пожар в Эстерели. Оч. горячее солнце и хол. налеты мистраля.

10. VII. Суб.

Началась высадка в Силиции. Удастся ли? Оч. сомневаюсь. Дело большое!

25. VII. Воскр.

Утром квартирмейстер итальянцев — осматривал дом, чтобы, м б., занять у нас неск. комнат.

Завтрак с Верой у Клягиных.

В 11 1/2 итальянск. король принял отставку Муссолини! Пока еще ничего не понимаю. Но событие гигантское! Конец «цезаря», которому уже чуть не ставили золотые статуи!

27. VII.

День серенький.

Как дико! 23 года был царь и бог — и вдруг «подал в отставку»! Исчез, не сказав на прощание ни слова Италии!

Ясно — Италия выйдет из войны и у нас будут немцы.

2. 8. 43. Понед.

Уже неск. дней *очень* жарко. Небо мутно от зноя. Ходил в 6 ч. к Клягину — все горячо и сладко пахнет — цветы, хвоя.

Сейчас 8 (солнце еще не село), и долина, и горы, и невидное море смутно, в жарк. дымке.

Все еще неизвестно, где Муссолини.

Бои в Сицилии продолжаются — англ., очевидно, не хотят спешить, ждут сдачи.

Да, какой позор свалился вдруг на Мус[солини]!

5. 8. Четв.

Был в Ницце. Тотчас узнал, что взяли Орел. В третьем часу — Катанью. <…>

В Ницце множество немцев, много мальчишек; одеты все тяжело и неопрятно, сапоги пудовые.

6. 8.

Два-три посл. дня сносно, ветерок. А до того нестерп. жара и духота, неподвижность. Не запомню таких жаров — оч. давно не было. И все пожары, пожары — то там, то тут. Нынче огненное солнце в дыму. Огромн. пожары в сторону Тулона и возле Cannes. Говорят о поджогах.

Чувствую себя посл. время сносно. Погода?

Вечер. Пожары от Antibes до Cannes.

«Великий Дуче» исчез как иголка. <…>

23. 8. Воскр.

В понедельник 16-го ходили с Верой страшно-жарким утром в Brès'y. Чудесный, старый дом, огромное поместье. Одинокий, за 60 или больше, сухой, худой, умный. Нашел мое здоровье не плохим.

Все дни жара редкая — тяжкая, душная, ходил почти голый, спал посл. три ночи внизу, в маленьк. кабинете.

Записать о дневниках Гиппиус — верно, все пишет — и воображаю, что только не напишет про всех, про всех, про меня в частности! <…>

30. 8. Понед.

Вчера завтрак с Верой у Клягина. Он читал 2 рассказа. Второго я совсем не слыхал — выпил за завтр. рюмку мару и стакана 3 вина, за кофе 2 рюмки коньяку и 1/2 рюмки ликеру — и сидя, спал. Придя домой, спал от 6 до 10. В 11 лег и проспал еще часов 10. Переутомление. Нельзя мне так пить.

2. IX. Четверг.

Пришел Бахр[ак] и сказал, что в Grasse приходят немцы.

3. IX.

Все хорошие дни, а все слабость.

Нынче на рассвете высадка англичан в Италии, утром ужасная бомбард. Парижа. <…>

7. IX. Вторн.

Нынче письма из Ниццы: Елена Александр. Пушкина (фон Розен Мейер) умерла 14 авг. после второй операции. Еще одна

бедная человеч. жизнь исчезла из Ниццы — и чья же! родной внучки Александра Сергеевича! И м. б., только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду! А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть. <… > *Оргия* нажив в Париже.

8. IX. Среда.

Огромная весть: в 6 1/2 ч. вечера узнали, что Италия вышла из войны, капитулировала — и никто в мире, кроме Руз[вельта], Черч[илля] и Сталина, не знал, что сговорились об этом еще 3 сент. (августа?). Что же с нами-то теперь будет?

12 1/2 ночи. Молодая луна за домом, ни одного огня в сумрачно видной долине, выстрелы. Итальянцы бегут.

9. IX.

Ночью разоружали и арестовывали итальянцев. Из Parc Palace Hôtel бежали высшие чины, но пойманы на дороге в Ниццу.

Couvre-feu у нас с нын. вечера с 8 вечера до 7 утра.

17. IX.

Опять поэтич. грусть — о той, первой, осени в Париже. Как уже давно, давно это было!

Бомб. Париж, Нант, Montmolisson — сотни убитых.

Сейчас, к вечеру, все замутилось, серо, похоже на близкий дождь.

Ночью (прошлой) была где-то, близко от нас, бомб[ардировка].

25. IX. Суб.

Дождь, прохл., — кажется, повернуло на осень.

Все последи, дни чувствовал себя не плохо, пишу по целым дням. (Принимаю уже дней 10 фитин.)

Рус. берут город за городом. Нынче — *Рославль* и *Смоленск*. <…>

17. X.

Пил чай у Кл[ягина]. Какой очар. живой человек!

Бои в Мелитополе — берут дом за домом!

Все последние дни холод — необычный в эту пору.

Сейчас 11 веч. (т. е. 10 по-настоящему) — мрак, холод, дождь.

21. X. Четверг.

Письмо Олечке:

Милая Олечка, как поживаешь?
В школе бываешь иль просто гуляешь,
Дома же в куклы и с Котькой играешь,
А вечерами, под ручку с мама́,
Ходишь то в гости, а то в синема?
Я вас обеих целую и жду
Вскоре иметь от тебя billet-doux[52].

P. S. Очень жалею, что Котьки тут нет:
Аля сварил бы его на обед.

23/10 окт. Суббота.

Господи, сохрани и помилуй. День моего рождения.

Спал мало, часов 7 (а мне всегда нужно 8 1/2 или 9), но чувствую себя сносно.

Дописал рассказик «Начало».

Вечер: взяли Мелитополь.

29. X. Пятница.

Вчера в полночь дописал последн. страницу «Речн[ого] ресторана». Все эти дни писал не вставая и без усталости, оч. напряженно, хотя не досыпал, терял кровь и были дожди. Нынче падение. День был тихий, милый, на душе тихо и грустно, воспоминания.

Взяты за эти дни Екатеринослав, Лоцманская Каменка (когда-то я там был перед проходом по порогам). Теперь это, верно, город, гнусно называемый «Днепродзержинск».

1. XI. 43. Понед.

«День всех святых», завтра самый страшный праздник — «день всех мертвых». Сумрачно, холодно. Сейчас час ночи, соверш. непроглядная тьма, ни *единого* огня и мелкий дождь. Вечером писал начало «Иволги» — не знаю, что напишу дальше, пишу наугад. Нынче переписаны «Дубки», напис. 29-го и 30-го.

Вечером — взят Перекоп.

<…>

1944

1. I. 44. Новый год.

Господи, спаси и сохрани.

День опять солн. и оч. холодный.

Ничего не делал. Бесплодно тревожно.

Сейчас 11 1/2 ночи, первая треть луны, ледяная ночь. Ходил бросить письмо Долгополову — как всегда резкий свет электрич. фонарика в лицо возле клиники — ходят два немецких солдата с 6 часов возле нее. <…>

2. I. 44.

Солнце только что село. Оч. высоко белый, чуть зеленоватый почти полумесяц (над Клягиным). Пять часов. Сижу у окна на запад — впереди все в фиолет. дымке.

Пять часов 5 м. Уже все фиолет. исчезло — стало темнеть под зеленоватой дымкой. День был чудесный. Было 2 алерта — после второго где-то бухало, дым где-то за Cannes.

1 ч. 35 м. вечера — опять алерт!

3. I.

Заснул вчера, несмотря на алерт, раньше 12. Спал не плохо и долго, от 9 до 10 в полусне. И опять около 9 алерт.

В 12 — опять.

Прекр. день, тишина, солнце. На солнце совсем горячо. Чувствую себя совсем не плохо.

Опять удив. закат.

Нынче утром опять страшно били Берлин.

Вчера взяты Новгород, Волынск и Олевск.

Вот-вот будут страшные дни!

4. 1. Вторник.

Опять прекрасный день. В 2 — алерт.

Ездил на вокзал P. L. M. — посылка от Шведск. Кр. Креста.

Взяли Белую церковь, перешли в неск. местах польскую границу.

6. I. Четв.

«Праздновали» русский сочельник. <…> Грибной суп с кусочками сальца, котлеты, картофельное пюре!

В 12-ом часу ночи (ледяной, лунной) вышли с В. погулять в сад — с дороги два резких огня фонариков, крики — дозора возле «Helios». Поспешили в дом.

7. I. Наше Рождество.

<…> Было 2 алерта.

Нынче и вчера читал рассказы Зощенко 37 г. Плохо, однообразно. Только одно выносишь — мысль, до чего мелка и пошла там жизнь. И недаром всегда пишет он столь убогим, полудикарским языком — это язык его несметных героев, той России, которой она стала.

8. 1. Суб.

<…> Вся Европа разрушена чудовищно. Прошлая «вел. война» была совершен. пустяки. И Г[ермания], помимо того, как страшно сдерут с нее шкуру, потеряла уже 3/4 своего самого сильного населения. А что ждет Болгарию, Венгрию, Румынию и несчастную Италию, зарезанную этим быком!

17. 1. Понед.

Солнце (порой горячее), облака.

Сейчас 12 ночи (т. е. 11) — луна еще не взошла.

Война все тянется. И конца этому не видно! Когда же, Господи, что-н[нибудь] решительное?

19. 1. Среда.

Серо, холодно. Ничего не делал, тоска.

Взяты Краен. Село, Петергоф, Ропша, большая добыча. Убито тысяч 20.

20. 1.

Опять прекр. день. Был у Кл[ягина].

Взят Новгород.

Ночи звездные, чистые, холодные. Что ни вспомнишь (а обрывки восп. поминутно), все больно, грустно. Иногда сплю по 9 и больше часов. И почти кажд. утро, как только откроешь глаза, какая-то грусть — бесцельность, *конченность всего* (для меня).

Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Р [оссию]! А зачем? Старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то), кладбище всего, чем жил когда-то…

25. 1.

<…> Вдруг вспомнил Гагаринск. переулок, свою молодость, выдуманную влюбленность в Лоп[атину], — которая лежит теперь почему-то (в 5 километрах от меня) в могиле в какой-то Валбоне. Это ли не дико!

27. 1.

Без 1/4 6. Сижу у окна на запад. На горизонте небо зеленое — только что село солнце, — ближе вся часть неба (передо мной) в сплошном облаке, испод которого <нрзб.> как руно и окрашен оранжево-медным.

Теперь цвет его все краснее, лесная долина к Драгиньяну в фиолетовом пару.

Кругом, — к Ницце, к Cannes, — все в меру, грубовато цветисто, — верно, завтра будет непогода.

Нынче, после завтрака, большая бодрость — бифштекс с кэри, настоящий кофе и лимон?

Получил 2 шведск. посылки. <…>

28. 1. Пятн.

<…> Нынче утром С. Маковский читал свои стихи «Из Апокалипсиса».

Солнечно, совсем тепло.

Немец осматривал дом.

Был у Кл [ягина]. Он читал.

Взяли Любань. Били Берлин.

<…>

15. 2.

Немцами взяты у нас 2 комн. наверху.

Нынче 1-й день *полной* нем. оккупации A[lpes] M[aritimes].

С 8 на 9. V. 44.

Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск. строк «Чистого Понед [ельника]». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейш. движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелкание первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!

14. 5. 44.

2 1/2 часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал «Пароход Саратов». Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутн. звезды, сырая свежесть.

23. 5. 44.

Вечером написал «Камарг». Оч. холодная ночь, хоть бы зимой.

4. VI. 44. Вечер.

Взят Рим! Вчера вечером вошли в него.

6. VI. 44. Вторник.

В 5 1/2 утра началась высадка в Нормандии. Наконец-то!

Полнолуние. <…>

21. 6. Среда.

Взят Выборг.

3 года т. н., в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, «упал как молния в ночи» на Россию. Ах, не следовало!

22. 6.

В 3 ночи алерт. Стояло что-то красное, большое в стороне Ниццы, сверкали вспышки — узнали нынче, что били Вентимилью.

Уже почти час ночи, а хочется писать.

26. 6.

Началось рус. наступление. Вчера молодой месяц, увидал с правой стороны. Взят Шербург.

<…>

3. 7.

Погода плоха, все слабость. Читал Стендаля. Бесконечная болтовня. Но человек умный, хорошо знающий жизнь, людей. — Взят *Минск*.

16. 7. Воскр.

<…> татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето.

Взято Гродно.

20. 7. 44. Четв.

Покушение на Хитлера.

Пухлые облака, все неприятн. погода. Вялость.

Дико! Уже 5 лет живу в какой-то английск. вилле! Привык как к своему дому.

Русские идут, идут.

21. 7.

Облака, прохладно. К вечеру стал чувствовать себя бодрее.

Опять перечитал «Отца Сергия» и «Декабр[истов]». Сколько замечательного в «Сергие»! В «Дек.» кое-что ненужное, напр., обращения к читателю. <…>

22. 7. 44.

Сон про свою смерть. Сумерки, церковь, я выбирал себе могильное место.

Прекр. день, но мистраль. Самочувств. весь день лучше.

Перечитал «Смерть Ив. Ильича». Конец невразумителен. Все лживые, кроме самого Ив. Ильича — он слова, литература; все верно насчет него, но живого образа нет.

23. 7.

Взят Псков. Освобождена уже *вся* Россия! Совершено истинно гигантское дело! <…>

Звездные ночи. Млечный Путь фосфорически-дымный, будто студенистый. В его конце, почти над Эстерелем, мутные крупные звезды. И миллионы, миллионы звезд!

Под Брадами убито 30 т. немцев.

27. 7. 44. Четв.

Взяты Белосток, Станиславов, Львов, Двинск, Шавли и Режица. <…>

1. 8. 44. Вторник.

<…> 3/4 луны. Ходили бросать письмо о. Киприану — послал ему «Балладу».

Возле «Helios» на часах немец и русский пленный, «студент» Колесников. Поговорили. На прощанье немец крепко пожал мне руку.

3. 8.

5 алертов за день. Полнолуние.

Черчилль вчера сказал, что война кончится не позднее октября. Посмотрим.

10. 8. 44. Четверг.

<…> Вчера перечитывал (давно не читал) «Вост. повести» Лермонтова: «Измаил-Бей», «Ангел смерти» и т. д. Соверш. детский, убогий вздор, но с замечательными проблесками. <…>

<…>

18. 8. 44. Пятн.

Взяли La Napoul (возле Cannes). Все время можно различить в море 6 больш. судов. То и дело глухой грохот орудий.

25. 8. 44. Пятница.

Все та же погода — жарко, сухо, жаркий ветер с востока, море все время в светлом белесом тумане.

День 23-го был удивительный: радио в 2 часа восторженно орало, что 50 тысяч партизан вместе с населением Парижа взяли Париж.

Вечером немцы [стали] взрывать что-то свое (снаряды?) в Грасе, потом на холмах против Жоржа начались взрывы в мелком лесу — треск, пальба, взлеты бенгальск. огней — и продолжались часа полтора. Сумерки были сумрачные, мы долго, долго смотрели на это страшное и великолепн. зрелище с замиранием сердца. Ясно, что немцы бегут из Граса!

На рассвете 24-го вошли в Грас американцы. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги!

Днем ходил в город — ликование неописуемое. Множество американцев.

Взяты Cannes.

Нынче опять ходил в город. Толпа, везде пьют (уже все, что угодно), пляски, музыка — видел в «Эстерели» нечто отчаянное — наши девчонки с америк. солдатами (все больше летчики).

В Париже опять были битвы, — наконец, совсем освобожден. Туда прибыл Де Голль.

Румыния сдалась и объявила войну Германии. Антонеску арестован. Болгария просит мира.

«Федя» бежал от немцев за двое суток до прихода американца, все время лежал в кустах, недалеко от пекарни, где он работал (по дороге в St. Jaques).

26. 8. 44. Суб.

Все та же погода. Вчера весь вечер и нынче ночью грохот где-то возле Cannes.

3 часа. Все небо над Ниццей в густом желтоватом дыму — д. б., горят Cannes, St. Laurent.

27. 8. Воскр.

Жарко. Гул авионов над нами.

30. 8. Среда.

Был у Кл[ягина]. Там сказали, что взята Ницца. То же сказал Бахрак, вернувшийся из города. «Говорят, Ницца сошла с ума от радости, тонет в шампанском».

31. 8. Четв.

Все дни так жарко, что хожу полуголый. Оч. душно по ночам.

Перечитываю Гоголя — том, где «Рим», «Портрет»… Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто соверш. мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко — нос в горячем хлебе! «Рим» — задыхаешься от литературности и напыщенности…

А может быть, я еще побываю в Риме до смерти? Господи, если бы!

3. 9. 44. Воскр.

Союзники уже в Бельгии. Финны сдаются.

Прекрасный день, райские виды. И опять — та осень!

4. 9.

<…> Нынче в 8 утра прекращены воен. действия между финнами и русскими. Взят Брюссель. Вошли в Голландию.

5. 9. Вечер.

Россия объявила войну Болгарии. День был прохл.

7. 10. 44. Суб.

Сентябрь был плохой. Вчера и нынче буря, ливни, холод, да такой, что нынче вечером повесил на окна занавески.

Уже давно, давно все мои былые радости стали для меня мукой воспоминаний!

Полночь с 22 на 23 окт. 44.

Роковой день мой — уже 75-й год пойдет мне завтра. Спаси, Господи.

Завтра в 8 утра уезжает Бахрак, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!

Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я никогда уже не буду этого видеть. Приговоренный к казни.

1. XII. 44. Пятница.

<…> Спаси, Господи. Боюсь болезни, все хочу начать здоровее жить.

По ночам кричат филины. Точно раненый, которого перевязывают или которому запускают что-нибудь в рану:

— Уу! (тоска и боль).

И заливисто гулко:

— У-у-у!

Русские все стали вдруг красней красного. У одних страх, у других холопство, у третьих — стадность. «Горе рака красит!»

1945

1. I. 1945. Понед.

Сохрани, Господи — Новый год.

Уже с месяц болевая точка в конце печени при некоторых движениях. Был долгий кашель, насморк, грипп.

Топлю по вечерам, Вера сидит у меня, переписывает на машинке некоторые мои вещи, чтобы были дубликаты. И еще, еще правлю некотор. слова.

Очень самого трогает «Холодная осень». Да, «великая октябрьская», Белая армия, эмиграция… Как уже далеко все! И сколько было надежд! Эмиграция, новая жизнь — и, как ни странно, еще *молодость* была! В сущности, удивительно счастливые были дни. И вот уже далекие и никому не нужные. «Патриоты», «Amis de la patrie sovietique»[53]…(Необыкновенно глупо: «Советское отечество»! Уж не говоря о том, что никто там ни с кем не советуется.) <…>

12. 2. 45. 12 1/2 ночи.

Бедная, трогательная посылочка от Н. И. Кульман — соверш. необыкновенная женщина! Вечером прошелся, бросил ей открытку — благодарность. Холодно, мириады бледных белых точек, звезд, выделяются яркой, крупной белизной звезды Ориона.

Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества не могу примириться с его дикой гибелью! Лет 15 т. н. я обедал у какой-то герцогини в Париже, на обеде был Henri de Reniér в широком старомодном фраке, с гальскими усами. Когда мы после обеда стоя курили с ним, он мне сказал, что Дантес приходится ему каким-то дальним родственником — и: «que voulez-vous?[54] Дантес защищал свою жизнь!» Мог бы и не говорить мне этого.

23. 2. 45.

Кажется, началось большое наступление союзников на Кёльн.

Взята Познань.

Какая-то годовщина «Красной армии», празднества и в России и во Франции… Все сошли с ума (русские, тут) именно от побед этой армии, от «ее любви к родине, к жертвенности». Это все-таки еще не причина. Если так рассуждать, то ведь надо сходить с ума и от немцев — у них и победы были сказочные чуть не четыре года, и «любви к родине и жертвенности» и было, и есть не меньше. А гунны? А Мамай?

Чудовищное разрушение Германии авионами продолжается. Зачем немцы хотят, чтобы от нее не осталось камня на камне, непостижимо!

Турция объявила войну ей и Японии.

24. 2. 45. Суббота.

В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: *умер Толстой*. Боже мой, давно ли все это было — наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!

25. 2. 45.

Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы еще 20 прожить.

26. 2. 45.

Урну с его прахом закопали в Новодевичьем.

24. 3. 45. Суббота.

Полночь. Пишу под радио из Москвы — под «советский» гимн. Только что говорили Лондон и Америка о *нынешнем* дне, как об *историческом* — «о последней битве с Германией», о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном последнем шаге к победе. Помоги, Бог! Даже жутко!

Берлин били прошлую ночь, 32-ую ночь подряд.

Вчера были именины Г. Как-то отпраздновала, Боже мой!

14. IV. 45.

Вчера: взятие Вены.

Смерть Рузвельта.

16. IV. 45. Понедельник.

Вышел вечером, в 10-м часу — совсем золотой рог молодого месяца над пиниями возле часовни. Ходил на дорогу, немного дальше спуска в город.

1946

14/1 октября 46 г. Покров. Рождение Веры.

Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. Чудовищно преступны, достойны виселицы — и все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удавлены как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две их последние ночи на земле…

1949

В ночь с 2 на 3 октября.

Все одни и те же думы, воспоминания. И все то же отчаяние: как невозвратимо, непоправимо! Много было тяжелого, было и оскорбительное — как допустил себя до этого! И сколько прекрасного, счастливого — и все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозевал — тупо, идиотски! Ах, если бы воротить! А теперь уже ничего впереди — калека и смерть почти на пороге.

1951

1/14 октября 1951 г. Париж.

Дай тебе, Господи, еще много лет и здоровья, драгоценная моя!

1953

(В ночь с 27 на 28 января 1953 Бунин, уже изменившимся почерком записал на листке, вырванном из тетради:)

— Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего *все об одном и том же в прошлом*: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и о неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!

23 февраля 53.

Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка Толстой говорил ему, что он, Т., до 16 лет носил фамилию Бострэм, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его — графом Толстым.

2 мая 53 г.

Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела и судьбы *всего, всего* будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом *стараюсь* изумиться, устрашиться!

Олег Михайлов. Разорванная правда

21 октября 1928 года в Грасе Галина Кузнецова, последняя любовь Бунина, записала:

«В сумерки Иван Алексеевич вошел ко мне и дал свои «Окаянные дни». Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью».

Эту книгу у нас или обходили молчанием, или бранили.

Между тем, при всем накоплении в ней «гнева, ярости, бешенства», а может быть, именно поэтому, книга написана необыкновенно сильно, темпераментно, «личностно». Без «Окаянных дней» невозможно понять Бунина.

Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в односторонности своей — художником. Это только е г о боль, е г о мука, которую он унес в изгнание.

При всей кажущейся аполитичности, отстраненности от «злобы дня», Бунин был — и с годами только утверждался в этом — человеком глубоко государственным. Он желал видеть Россию сильной, великой, независимой. Однако после октябрьского переворота все, что кололо, мозолило ему глаза, убеждало, что России — как великому государству — конец. И это приводило в отчаяние. Не только унизительный Брестский мир с передачей Германии Украины и юга России, каждая мелочь, каждый, казалось бы, второстепенный факт подтверждал это.

Вот в честь празднования первого Первомая левые художники получили санкцию Л. Б. Каменева снести памятник герою русско-турецкой войны 1877–1878 годов Скобелеву, находившийся против дома генерал-губернатора (потом — Моссовета, где и главенствовал Каменев). В полночь 30 апреля 1918 года Бунин записывает: «… стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик… И как раз нынче известие о взятии турками Карса!»

В краткой записи выражена глубоко личная и одновременно, хочется сказать, всероссийская, по Бунину, драма. Вскрыта связь между двумя далекими фактами: монумент победителя турок

отправлен на помойку, русская армия на Кавказском фронте отступает, разваливается. Итак — конец.

Вот отчего лейтмотив «Окаянных дней» очень мрачный, можно сказать, беспросветный.

Быть может, впервые на страницы Бунина выплескивается улица: митингуют, спорят до хрипоты или же ропщут, жалуются, угрожают разношерстные лица — коренные москвичи и сошедшиеся в российскую столицу (снова, через двести лет — столицу!) рабочие, солдаты, крестьяне, барыни, офицеры, «господа», просто обыватели. Какое обилие типажей, живых физиономий, характеров, схваченных на ходу, словно моментальной фотографией! Сколько наблюдательности и изобразительной силы!

Гордившийся своим парнасским бесстрастием, Бунин еще не так давно — всего каких-нибудь десять лет назад — утверждал в связи с событиями 1905 года: «Если русская революция волнует меня больше, чем персидская, я могу только пожалеть об этом». И вот этот «парнасец», почетный академик по разряду изящной словесности, бросается в водоворот, в воронку кипящей уличной жизни, жадно впитывает происходящее. Но в итоге только укрепляется в давно выношенном суждении: Россия погибла.

Бунин психологически, просто по-человечески не был способен на то, что предстояло русской интеллигенции — мучительный процесс выживания и вживания в совершенно новую и враждебную ей действительность. Для него это было равносильно тому, чтобы отказаться от себя самого — от человеческого достоинства, чести и совести, от неуклонного и священного права на самостоятельное мнение, каким бы оно ни было, на возможность свободно его высказать.

Шкала прежних, привычных ценностей была для него незыблемой, самоочевидной. «Подумать только, — возмущался он, уже перебравшись из красной Москвы в красную Одессу, — надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если даже она и «антересуется» стихами!»

Трудности и трудности, рождавшие трагизм положения, заключались еще и в том, что Бунин был прежде всего писатель, художник и наблюдатель зорчайший, что именно это было смыслом его жизни, ее существом. «Я как-то физически чувствую

людей» (Толстой), — записал он в дневнике от 22 января 1922 года слова своего любимого художника и мыслителя. И далее, о себе: «— Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро. Боже мой, до чего остро, даже больно!» И наблюдение это, вернее, самонаблюдение, так важно, что Бунин повторяет его в «Окаянных днях», но уже с большей резкостью: «Я как-то физически чувствую людей», записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей странности, «пристрастности». Для большинства даже до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее».

Так возникают на страницах «Окаянных дней» живые, навечно схваченные типы «врага». Вот один из них: «Закрою глаза и вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей… Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!»

Бунин видит себя участником белого движения и в определенной степени делается для этого движения ориентиром. После того как Одессу занимает Добровольческая армия, он присутствует на всех официальных торжествах и 21 сентября 1919 года, при большом стечении интеллигенции, читает антибольшевистскую лекцию «Великий дурман». Его выступления, статьи, стихи открыто отвергают идеологию коммунизма. Но даже и в тех случаях, когда они прямо не направлены против революции, все равно несут внутри себя эту тенденцию. Еще в номере первом за 1919 год в ростовской газете «Приазовский край» было напечатано стихотворение «Архангел»:

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой —
И снова народу являлся
Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о Боге,

А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч.

Дух гнева, возмездия, кары,
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот темный и старый,
Где ты мое сердце пленил.

Напомним, что Михаил Архангел — вождь небесного воинства в его борьбе с темными силами зла. Нужно ли доказывать, сколь злободневно звучали в ту пору эти строки?

Когда Добровольческая армия основывает в Одессе газету, Бунин сначала входит в редакцию «Южного слова», а с 21 октября 1919 года становится ее соредактором (с академиком Н. П. Кондаковым). В числе сотрудников — А. А. Кипен, И. С. Шмелев, К. А. Тренев, С. Н. Сергеев-Ценский, А. М. Федоров. Вера Николаевна записывает:

«Впервые Ян на службе. Ему нравится, что он ездит на машине с национальным флагом. За ним приезжает доброволец, очень милый с калмыцким лицом офицер. И к каждому слову: «Есть, ваше превосходительство». Все эти дни Ян оживлен, возбужден и деятелен. То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, было, несомненно, очень вредно для его нерв[ов] и для его души. Ведь минутами я боялась за его психическое состояние. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы нас не освободили добровольцы. Редко кто страдал, как он».

И покидал Бунин Россию не как эмигрант, а как беженец. Потому что он уносил Россию с собой.

«Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?» — скажет он позднее. Идейный противник Октября, Бунин был и оставался великим патриотом своей страны в пору величайшей национальной трагедии — гражданской войны, уроки которой нам предстоит еще долго и мучительно осмыслять. И в этом отношении значение книги «Окаянные дни» огромно. Без таких книг гражданской войны мы, потомки ее, не поймем и смысла ее не осознаем.

«Окаянные дни» — монолог о революции, страстный и предельно искренний, написанный человеком, ее не принявшим и проклявшим. Гигантская общественная катастрофа, постигшая Россию, нашла здесь прямое и открытое выражение и в то же время отразилась на всем художественном мире Бунина, резко

изменив его акценты.

Окаянные дни (фрагменты)

Москва, 1918 г.

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет…

Бодро с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

Нынче опять такая же встреча, — Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

— Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании «Книгоиздательства писателей», — огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левеет, «почти уже форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявшей стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клич его, —
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

6 февраля.

В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой

рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражение стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий…» Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашении нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

— Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить

обидчика десять раз.

— Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

— Если кто совершит кражу, или кто примет краденое, то лишить жизни.

— Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого…

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

— Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

— Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

7 февраля.

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» — Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оребеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот чтой-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалеет, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять… Вы сами должны понять…

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете…

Приехал Д. — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать…

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как *вы* триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий…

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, — почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь…

Жены всех этих с. с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

10 февраля.

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это… вот Я приведу на народ сей пагубу, *плод помыслов их*».

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского

книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз…
Жара, страда… Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И как Мамай всю Русь пройдет…

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер — что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотом отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более ни менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот, немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь!

Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальством, и недаром. Новые господа. Газеты с белыми колонками — цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

— Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде всё равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов…

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты… Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

— Москва, брат, теперь ни… не стоит.

— Теперь и провинция ни… не стоит.

— Ну, вот немец придет, наведет порядок.

— Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

— А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах…

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

— Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, — может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов — «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

— Да вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский — киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской — главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина… С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью.

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, — пора готовиться на юг, — и как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

— Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, — медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется… Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 года в Васильевском:

— Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь, исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, — ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад…

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами… О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стукалась Махоточка по ухабам.

17 февраля.

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

— Не представляю себе, — говорил А. А. Яблоновский, — не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца, — в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: мир подписан!

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия», и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

18 февраля.

Утром собрание в «Книгоиздательстве Писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, — он уже какой-то комиссар, — ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

— Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

— Не беспокойтесь, — ответил он с мутной усмешке, — порядочно…

По городу общий голос:

— Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать…

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля.

Коган рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест трефного, свято чтит субботу… Затем о Блоке: он сейчас в Москве страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

— Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество

Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение:

— Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно по-дурному стреляющим!

— Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

— Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем, имеющим конячую голову.

— Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

— Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

— Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

— Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая — в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

<…>

13 марта.

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е. П. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

— Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ — народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего…

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много, много рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в «Новую Жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели…

15 марта.

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты «Русские Ведомости» — из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати» Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» — «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

<…>

Одесса, 1919 г.

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели со дня нашей погибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» — «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». — «Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом… А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция…»

Двенадцать лет тому назад мы с В. приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…

* * *

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого

дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» — Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, — непременно почему-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу *грязных остатков издыхающей тирании…*». Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

* * *

Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» — Вечная сказка про красного бычка.

* * *

Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное — совсем нет чувства весны. Да и на что весна *теперь*?

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

13 апреля.

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам…» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами. Колчак взял Сызрань, Царицын… Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву… Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля.

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человечек, нечто вроде самого плохонького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «кажный вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт, — по всему видно, что сыт, — и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела… Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

* * *

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие о «глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

* * *

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер…» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

* * *

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина, — словом вся и всех, за исключением какого-то «народа», — «безлошадного», конечно, — «молодежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата… Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых…»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

* * *

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой…» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

* * *

«Революции не делаются в белых перчатках…» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

* * *

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!» До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому,

что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это *не жизнь*. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

* * *

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень. Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую людей», записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзан», — словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб, и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрированно окая на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьяццу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, — вся, понимаете, пьяцца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок… Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни…» И на зеленых глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно,

мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет — не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» — «Правильно, верно!» — «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» — «Мало, мало!»

* * *

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили…»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь

«народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце, или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

* * *

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!

* * *

— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики…

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощены в грузовике.

* * *

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены… И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах.

* * *

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает…»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника…» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, — высокопарно-площадной жаргон, — все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе…

Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и *своей* лжи, *своего* искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься,

молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, — и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, — вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам, — нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди… и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно…

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, — теперь-то я уж знаю ей цену!

<…>

Как мы врали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых

ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое по его мнению, ответил: «Да черт… Чертом представляется, козлекает…»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности,

очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье… Мы канонизировали человечество… канонизировали революцию… Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения…»

Нет, отрезвление еще далеко.

* * *

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей… Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

«Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии, — в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно-глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, — с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем — «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе…»

В «Известиях», — ох, какое проклятое правописание! — после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих

двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статейка о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и наконец гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев». — Счастливый день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)…

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве, — «сбор» одежды и обуви.

* * *

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я — *только стараюсь* ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт?!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

* * *

В три часа, — все время шел дождь, — выходили. Встретили Полевицкую с мужем. — «Ужасно ищу роль для себя в мистерии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже мой, Боже мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно…

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили

полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

* * *

Сейчас (8 часов вечера, а по-»советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратись с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового», тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

* * *

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке, — масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, — так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, — идейно, — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

* * *

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: «Ну будет, будет. Бог с тобой!» — спрашиваю: «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет… Чужой… *Завидую…*

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: пгусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

* * *

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

[…]

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, — и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

На гривастых конях на косматых,
На златых стременах, на разлатых,
Едут братья, меньшой и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!»
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву… Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба, —
Он за меч, — загорается злоба,
Занимается сердце в груди, —
Нет, и меч не берет! С виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:

Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Это писано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая…

<…>

Напечатан новый список расстрелянных — «в порядке проведения в жизнь красного террора» — и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди, вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи…»

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных» — которые, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи поют, — этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом — ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печататься — и не где-нибудь, а в «толстых» журналах — такие, например, вещи:

Уж все цветы в саду поспели…
Тот лен, из какого веревку сплели…
Иду и колосья пшена разбираю…
Вы об этой женщине не тужьте…
А в этот час не хорошо везде ль?
Царевну не надо в покои пустить…
Я б описал, но хватит слов ли?

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу,

прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядреного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есенинами, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках», и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест, что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь?

* * *

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко

сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая… И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *антисоциальностью,* давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж дивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности.* Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность.*

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнение тех, кому лжет. Вот

преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален…» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая *долголетняя* борьба.

* * *

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжкой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: «Всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины…»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти

без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: «Волною морскою… гонителя, мучителя под водою скрыша…»

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями…

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уж истинно: «Ратуйте, хто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально

захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен… Пусть же гудит набат! Не время *калякать!*»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июня.

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина… Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство…»

Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной «литературы»? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове…

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 июня.

На Дерибасовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который *равнодушно* сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И.

Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове — все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?!»

<…>

Олег Михайлов. В споре со временем

Появление в 1950 году бунинской книги «Воспоминания» явилось подлинной неожиданностью для эмигрантских кругов как из числа, «непримиримых», так и тех, кто в значительной степени переоценил свои позиции по отношению к Советскому Союзу. Это о них писала Нина Берберова, давая свое объяснение произошедшему «сдвигу»: «…так как политическая роль эмиграции, в сущности, кончена, то нечего выпячивать свое антикоммунистическое прошлое, лучше смотреть в будущее, где маячат перемены: перерождение коммунизма, заря свободы, амнистия эмигрантам. К этой группе принадлежали В. А. Маклаков, И. А. Бунин, С. К. Маковский, Г. В. Адамович и многие другие. С каждым из названных у меня был на эту тему разговор с глазу на глаз»[55].

И в самом деле, в 40-е годы мы встретим немало фактов, говорящих о явном «полевении» Бунина. Он дал (широко цитируемое советскими литературоведами) интервью полуофициозной газете «Советский патриот», посетил посла СССР во Франции Богомолова. После того, как руководство русских писателей и журналистов в Париже исключило из своих членов всех, кто принял советское подданство, Бунин в знак солидарности с исключенными вышел из его состава. Большая часть эмиграции отнеслась ко всему этому как к отступничеству; от него отвернулись такие близкие люди, как Б. К. Зайцев (которого Бунин именует теперь «подколодным ягненком») или М. С. Цетлина («И даже она! Как я в ее дружбу верил! Ведь она столько для нас сделала», — возмущался он).

Между тем «заманивание» Бунина продолжалось. Через старого приятеля по литературным «Средам» Н. Д. Телешова он узнал, что в московском издательство готовится том его избранных произведений. Бунина навещает и долго беседует с ним наедине советский «полпред литературы» К. М. Симонов. Насколько далеко зашло это сближение с Москвой, свидетельствует факт, о котором сообщает в дневнике В. Н. Муромцева-Бунина: «Предлагают Яну полет в Москву, туда и обратно, на две недели, с обратной визой»[56]. Ясно, что подобные предложения могли быть сделаны только о «высочайшего разрешения».

Итак, Бунин едва ли не накануне возвращения. Но обе стороны (и официальная, большевистская, и эмигрантская) не учли самого важного: внутренней независимости Бунина и верности, в главном, его прежним идеалам.

Скоро это проявилось.

В итоге: интервью в «Советском патриоте» оказалось сфальсифицированным («Меня просто на удивление дико оболгали», — сообщал он М. А. Алданову); «Избранное» в Советском Союзе так и не увидело света; о возвращении в Россию не могло быть и речи, особенно после репрессивных постановлений коммунистической партии «в области литературы» и известного доклада Жданова. Одинокий, больной, полунищий и лишенный возможности работать, Бунин оказался между двумя огнями: эмигранты отвернулись от него, именуя «большевиком»; с советской стороны, раздраженной и разочарованной, было глухое молчание.

На 80-летие Бунина «главный» журнал правой послевоенной эмиграции «Возрождение» (наследник одноименной парижской газеты) откликнулся горькими словами: «С прискорбием приходится отметить, что И. А. Бунин в последние годы отдалил себя от значительной части российской зарубежной общественности. Это привело к аномалии, в силу которой инициатива чествования на дому болеющего писателя оказалась в руках людей и организаций, несомненно чуждых ему по духу. Но тут же следовала оговорка: «Нам приходилось уже не раз говорить, что автор «Окаянных дней» по существу, конечно, не изменился и не примирился с насильствующим Россию политическим режимом, против которого он так ярко выступал в прежние годы. Недаром «Фигаро», помещая приветствие юбиляру, написанное нобелевским лауреатом Франции Андре Жидом и отмечая неоднократные попытки правительства СССР «соблазнить писателя», напечатало строки: «Бунин вправе думать, что… благородством своего изгнанничества он, так же как и своим творчеством, спас душу своей Родины и русского народа».

В этой обстановке появились бунинские «Воспоминания». Написанная с исключительной силой и блеском, книга «Воспоминаний» включает наряду со светлыми страницами (портреты Л. Н. Толстого, Чехова, Рахманинова, Эртеля, Шаляпина, принца Ольденбургского и т. д.) очерки-памфлеты, исполненные язвительности и сарказма. В советское время главы эти либо вообще у нас не публиковались («Горький», «Маяковский», «Гегель, фрак, метель»), либо публиковались в усеченном, искажающим общий смысл виде («Третий Толстой», «Волошин», «Автобиографические заметки»). В свое время как член редакционной коллегии Собрания сочинений Бунина в 9-ти томах (1965–1967) А. Т. Твардовский писал заведующей редакцией русской классической литературы издательства «Художественная литература» Н. Н. Акоповой: «Решительно не

помещать очерки-портреты А. Толстого и М. Волошина в таком изуродованном виде, — нет, так нет, а то что же: один очерк урезан наполовину, другой на две трети. Это невозможно»[57]. Протест не подействовал. Искромсанные цензурными ножницами очерки появились в заключительном, девятом томе этого собрания, а затем, уже в 1988 году в том же самом искаженном виде были перепечатаны (несмотря на протесты автора этих строк как члена редакционной коллегии) в шестом томе бунинского собрания.

Читатель, конечно, обратит внимание на крайний субъективизм многих бунинских оценок. Задолго до октябрьского переворота сложилась строгая эстетическая система Бунина, и в этом смысле его речь на юбилее газеты «Русские ведомости» в 1913 году мало чем отличается по резкости тона и неприятию «новой» литературы от позднейших очерков и статей. Но, обвинив современную ему литературу в болезненном упадке, он теперь одним из главных критериев в оценке того или иного писателя ставит его отношение к событиям 1917 года. Бунин и ранее не принимал В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина. Но после «Мистерии-буфф», «Двенадцати», «Инонии» и «Сорокоуста» он выступает против них с последовательной, бескомпромиссной враждебностью.

Возвращаясь к мемуарно-публицистическим работам Бунина, хочется отметить не только их общую тенденцию, но и самый тон, ироничность, едкую злость, с которой он живописует своих современников. Изображая писателей, он создает не портреты их, а шаржи, мастерские карикатуры.

Вот, например, беллетрист С. Д. Ауслендер, «весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших чернилах» («Окаянные дни»). Что это? В двух строчках, словно пером карикатуриста, Бунин схватывает и утрирует что-то очень характерное в его облике, так что, увидь вы фотографию Ауслендера, сразу его «узнаете».

То же самое можно сказать и о других язвительных зарисовках: например, Брюсова, «лающего в свой дудкообразный нос», Маяковского, разевающего «свой корытообразный рот», «малорослого и страшного своей огромной головой и стоячими черными глазами» Минского или Кузьмина, «с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки». Бунинские портреты и есть, в сущности (если речь идет, понятно, о «новой» литературе), собрание таких карикатур, зло выпячивающих отдельные, очень характерные черточки. Эти гротески поражают тенденциозностью авторского подхода и вместе с тем исключительной силой и меткостью внешней

изобразительности.

Обращаясь к писателям-современникам, Бунин как бы соизмеряет их мысленно с Толстым и Чеховым, следствием чего является такая высота требовательности, когда даже о таланте Куприна говорится в тонах сочувственно-снисходительных. Подобно героине его позднейшего рассказа «Чистый понедельник», Бунин видит в окружающей его действительности — в том числе и в произведениях искусства — пору безвременья. «Слишком поздно родился я, — сетует он. — Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания…»

Олег Михайлов

Воспоминания

Автобиографические заметки

(фрагменты)

Курсив всюду мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой. — И.А.

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в этот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: *«Встреча в горах с кретином».* Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, — ведь, как известно, и

это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, и, кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз возле*

господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли…» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину… Дуплет в угол.…» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкап). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная… Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов,

оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо; у него в этих поместьях —

Дома *косые двухэтажные*
И *тут же* рига, скотный двор, —

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу *«по дерну»* и несет *«в ягдташе* золотую *лису»:* это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России и во всех прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году, — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко,

Куприн, Левитан бывали здесь…» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: «Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов». Какие мудрые и благосклонные слова!»

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придала этому ровно никакого значения, — как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: *«У Есенина талант пошлости и кощунства»,* в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирал гармонь:

Ненавижу дыхание Китежа!
Обещаю вам Инонию!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!
Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет —
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму вам,
Что имя Ленина шумит, как ветр, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальчонка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с

величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А младшую сестренку
Невинности лишил…

Простила и за то, что он — «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертели эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледелия,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелия!
В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами,
Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменные принадлежности,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нежности…

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщине!» А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву, и там он быстро стал популярен, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубийство…»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, — о том, как надо

пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вот смотри — Белый: и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, — «ах, как замечательно, ах, как гениально!» — а я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости… Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку… Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, — не надо ли, мол, чего покрасить, — и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж там в горницу, креслице барину перепачкаю, пол вощеный наслежу… Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнется: да нет, мы постоим…»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

— Помнишь, Сережа, — спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвечал:

— Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное, помню…

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
Первый раз я запел про любовь,
Первый раз отрекаюсь скандалить…

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синий май. Заревая теплынь,
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черемуха в белой накидке…

Дело происходит в мае, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, —

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый»…

Желание луны понятно, — недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Не могу ничего пожелать,
Все, как есть, без конца принимая…

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются…

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала «Красная новь». Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто «реглан», в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем…» Рисовал Березов и другие «картинки» — как жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюсовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль.

Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом… В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: «Груша, сходите за цветами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество…»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде березок…

О Есенине была в свое время еще статья Вл. Ходасевича в «Современных записках»: Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице посмотреть расстрелы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть Чека покровительствовала той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу…»

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного списывания действительности… Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать

серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гарденинных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Козьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом… Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», — в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее», — такие борцы ведь всегда пламенные, — вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб… Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

> Пусть же гром ударит и в мое жилище,
> Пусть я даже буду первый грома пищей! —

Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом; это уже гораздо позднее многие из них запели, подобно Минскому:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть! —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом, славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!
Вот лежит он хладен, тленен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,
О, плачьте
До радостных слез!
Высоко на мачте
Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы…

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Козьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»… Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на

придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный — и
Неповторный опыт был…

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные…

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн…

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — раздельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастием иметь вашу голову…

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но

немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке; ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказал так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

— Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда наконец дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезызвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона.

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидел род вигвама, заглянул в него и увидал в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому, что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством…

«Я, владеющий многими языками мира…» Не один Бальмонт

так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 году в Москве: «Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском…» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных…» Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брадлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки… Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину…» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем — он, писатель Федоров и я —

купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный…

Удивительный он был вообще человек, — человек, за свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостлив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма… По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед

извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступления», как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона…»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,
Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислялся, — о, не на миг! —
К подлым, к бесчестным, к злодеям!
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!
Труп ты — во гробе червивом!
Кровью ты залил свой жалкий мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты. Проклят тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник…
Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!
Царь губошлепствует…
О, мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!
Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей призывает — притом
Грабит весь мир втихомолку.
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул… Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию…

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа вспоминал чьи-то милые стихи:

Петухи поют на Святой Руси —
Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительное, радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля!»

«И вот приходит еще один вестник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего: и вот большой ветер пришел из пустыни и охватил

четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли…»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так: «Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году, и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД…

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится

«ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов…

Толстой немного позднее определил все это так:

«Удивительная дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры… Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и делаю…» Впоследствии Блок писал в своем дневнике:

— Литературная среда смердит…

— Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости…

— Мережковские — хлыстовство…

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая…

— Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны… Устал… Болен… Вечером напился… Ремизов, Гершензон — все больны… У модернистов только завитки вокруг пустоты…

— Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси…

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни…

— У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница…

— Вернисажи, «Бродячие собаки»…

Позднее писал Блок и о революции, — например, в мае 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по-революционному… Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки…

И в июле того же года писал о том же:

— Германские деньги и агитация огромны… Ночь, на улице галдеж, хохот…

Через некоторое время он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привел

его суждения о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературе, была тоже некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революции тоже было с самого ее начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грешен на счет этих «завитков», да еще каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Белого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной Зеленой Звезде, —

меж тем, как этот «Кормщик», «Зеленая Звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченной в Солнце», был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с воротами, всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинодворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, указания, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, было удивительна.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда…» Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»… Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды

Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву.

…Вот еще одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, — в 1947 году, — в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

— Извините… Я не понимаю… — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»… Но ведь это не литература, а только набор громких слов…

От изумления я обжегся глотком чая.

— Море смеялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это — дешевка, лубок. Вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так — море — и вдруг смеется? Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает… посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит… Никто не рыдает и не смеется…

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»…

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыграться на Художественном театре.

— Ничего, театр как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мере актеры роли знают. А Москвин даже талантливый… Вообще наши актеры еще очень некультурны…

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, — волосатые.

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить…

Мне Чехов говорил о «декадентах» несколько иначе, чем Тихонову, — не только как о жуликах.

— Какие они декаденты! — говорил он, — они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать…

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, исступленный Волынский, малорослый и страшный своей

огромной головой и стоячими черными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков… Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напруженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дорога — огромные черви; локомотивы — жирные утки…» Он был чудовищный графоман: в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавием: «Литературная работа Горького», сказано: «Мы еще не имеем точного представления о полном объеме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его…» А недавно я прочел в московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам еще много, много замечательных творений: и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые врага нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около *восьми тысяч* ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранится в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР»… Таков был Горький. А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ее

непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию: буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев… Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Блока — тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевно больных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем «тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов…» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость — редкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов»; затем он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции…». В первую великую войну он устраивается на фронте чем-то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое — как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что «всех жидов надо повесить»…

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского», журнал «Русский современник», преследовавший, как сказано было в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его,

ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы»:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: заставили и надули.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку…

Поверят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули…

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил… «Он» написан, конечно, с маленькой буквы…

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, — про апостола Петра — «дурак Симон с отвисшей губой») есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действо», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действо», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело

немало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабьими губами… Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при большевиках, — будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккаччио в другой.

При большевиках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне написали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, «народ-богоносец» Достоевского любуется на картинки в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причащаются», — едят кишки Христа, — изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного…»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»… К сожалению, говорила дальше газета, — хотя я не совсем понимал, о чем тут сожалеть? — «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала…» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ее, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был,

кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменил его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: «Хлебников!» — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошеливаться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое

время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова, и <тот> тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снестись со всеми 317-ю Председателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен быть умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

Нет житья от господ!
Одолели, одолели!
Нас заели!
Знатных старух,
Стариков со звездой
Нагишом бы погнать,
Все господское стадо,
Что украинский скот
Толстых, седых,
Молодых и худых,
Нагишом бы, все снять,
И сановное стадо
И сановную знать
Голяком бы погнать,
Чтобы бич бы свистал,
В звездах гром громыхал!

Где пощада? Где пощада?
В одной паре с быком
Стариков со звездой
Повести голяком
И погнать босиком,
Пастухи чтобы шли
Со взведенным курком.
Одолели! Одолели!
Околели! Околели!

И дальше — от лица прачки:

Я бы на живодерню
На одной веревке
Всех господ привела
Да потом по горлу
Провела, провела,
Я белье мое всполосну, всполосну!
А потом господ
Полосну, полосну!
Крови лужица!
В глазах кружится!

У Блока, в «Двенадцати», тоже есть такое:

Уж я времечко
Проведу, проведу…
Уж я темечко
Почешу, почешу…
Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Очень похоже на Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — режь попов, режь господ! Так писал, например, еще Рылеев:

Первый нож — на бояр, на вельмож,
Второй нож — на попов, на святош!

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, революционных призывах поэтов во время первой

революции, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

Восстань! Карай врагов страны,
Как острый серп срезает колос!
Вперед! Туда, где шум и крик,
Где плещут красные знамена!
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит волна,
Всколосись в зеленой нови,
Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

Народу русскому: я — грозный Ангел Мщенья!
Я в раны черные, в распаханную новь
Кидаю семена! Прошли века терпенья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким — взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля!
За заборами низкорослыми
Гребем мы огненными веслами!

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав!
Исуса — на крест, а Варраву
Под руки — и по Тверскому!

Я был в Петербурге в последний раз, — в последний раз в

жизни! — в начале апреля 17-го года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами, и говорились финнам истерически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковский.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

— Много! Много! Много!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем.

Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит, несомненно, им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепнее, чем сделал он один на пиру в честь Финляндии…

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера… Как не позавидовать нашему праотцу *Ною!* Всего *один* потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, — не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый

взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь — и это трогательное младенчество…

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, — хотя и весьма мирный, — возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец того года — что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»! Дальше было вот что:

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свидания с Лениным: в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России, и наконец добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и говорил о своем свидании с ним, разводя руками:

— Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления…

А затем, когда большевики согнали князя-анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба… Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, — только напрасно истратил несколько месяцев! — на получение

ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике»…

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грезы об анархическом рае, — это среди нас-то, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! — и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, при наконец-то осуществившейся революции, *над рукописью о человеческой этике.*

Рахманинов

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячей и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова… Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы:
Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас;
Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотись на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса…

Репин

Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным… Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидать себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настежь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать, как Господь Бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом…

Джером Джером

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский P.E.N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества. Хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услыхал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно расступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку…

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстуха, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

Толстой

Я чуть не с детства жил в восхищении им.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и Мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. В отрочестве чувства к Толстому были у меня уже не простые. Отец говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал, играл с ним в карты в осажденном Севастополе…

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением: живого Толстого видел!

С той поры писатели были для меня уже существами какого-то совсем особого рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, которого я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит был только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писатели. Не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня, — напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по-настоящему влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал, в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя

на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой, где работники сказали мне:

— Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одне сутки! За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым еще несколько лет.

В молодости, плененный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным миром, главное же опять-таки от влюбленности в Толстого как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ, но я терпел. Первый, кого я узнал, был некто Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Коронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в высоких сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского. И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, такие вещи:

— Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова; приходит человек,

называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой, собственно, билет? Отвечает: но билет, по которому вы едете? А я ему опять свое: позвольте, я не по билету, а по рельсам еду. — Значит, говорит, у вас билета нету? — Конечно, говорю, нету. — В таком случае мы вас на следующей станции высадим. — Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать. На следующей станции действительно являются: пожалуйте выходить. Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо. — Значит, вы выходить не желаете? — Разумеется, нет. — Тогда мы вас выведем. — Выведете? Но я не пойду. — Тогда вытащим, вынесем. — Что же, выносите, это ваше дело. — И вот, меня, действительно, тащут: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать…

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопский. Прочие были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший и себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем Теноромо, человек, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братия смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя

Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем…

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопения, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — новый год, понимаю ли я, какую старую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого… И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому вечером, сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: — «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники.

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу

дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу…

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его налево тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши

сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть…

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни… Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне о себе…

Он и заговорил также поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня. Что он еще говорил? Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда… Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти… Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся — из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама.

— Léon, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут… И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве… Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, — цените их, живите ими…

И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу…

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал

мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешения продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме, — от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царский манифест, — затем завел книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братией, серьезно делавшей ему порою такие вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра…

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости. Он слегка нахмурился:

— Какие общества?

— Общества трезвости…

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его…

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтовый голос. И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от

восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни — незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

В последний раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку… Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал ею мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания…

1927 г.

Чехов

I

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня как-то. Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным голосом. — Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем… И короче, как можно короче надо писать.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

— Почему вы не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку…

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другое утро после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, проще…

Белая каменная дача в Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синий треугольник моря, те часы, дни, иногда даже недели, которые проводил я на этой даче, навсегда останутся памятны мне…

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенсне:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а вот еще есть писатель Чехов: нытик…» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист?» Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист…»

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

— Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги «Северных цветов». — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужасами».

Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах «Скорпион» один из своих юношеских рассказов («В море»). Впоследствии в этом раскаивался:

— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение *искуственных* минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час. И потом — вы можете простудиться…

— Молодой человек, не рассуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

— Чудесная ночь! — сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика. А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам…

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце:

«Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно… Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу… Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю.

Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще Вашим друзьям… Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю».

1904 г.

II

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

— Знаете, какая раз была история со мной? И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного Собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» — И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он…»

Многим это покажется очень странным, но это так, он не любил актрис и актеров, говорил о них:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова…

— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать…

И, помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр…

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры? Не раз говорил:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница…

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости…

— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы…

— Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов… Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями… Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи… Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю…

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски…

Однажды, читая газеты, он поднял лицо, и не спеша, без интонаций, сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов…

Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный *был* он человек, душа скрытная.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

— Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один.

В ту же записную книжку он занес такие мысли:

— Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!

— На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»… Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человека забыли»… Он часто сам говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня» — и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом»,

человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку…» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям… Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами…» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте».

Верно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами:

— Это стоит всего Урениуса, — сказал он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно.

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! — говорил он не раз.

— Литература?

— И литература.

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать… Про Андреева тоже не лестно:

— Прочитаю страницу Андреева — надо после того два часа гулять на свежем воздухе. <— И засмеялся с> удовольствием, с которым он хохотал всегда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте! Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер! И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал…

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений…

Побледнев, он встал и вышел.

Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с

едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

— Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц… Будем говорить о литературе…

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

— Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали…

Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вот пишете: «море пахнет арбузом»… Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело…

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд… А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна…

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей-Богу, нет. Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в

воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Постойте, а как это про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно! Только вот вам мой совет, — вдруг прибавлял он: — перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья. Потом, помолчав:

— А Короленке надо жене изменить, обязательно, чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати: вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры Божьей нет».

— Вы знаете, — говорил я, — мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал… Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная, — помните у меня рассказ «Холодная кровь»? — и изображать-то мне решительно все равно что именно — собаку или утопленника, поезд или первую любовь… Меня еще спасали «Хмурые люди», находили, что это рассказы все таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ «Припадок» — там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу — они же лодыри…

Раз, когда он опять как-то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил:

— Я напишу, прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду…» Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» — «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто…» — «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сию же минуту, чье?» — «Антона Павловича Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются…» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства». Он помирал со смеху и говорил:

— Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на

именинах моего отца, фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется уменью приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные. Как почти все,

кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку… Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора…

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

«Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это…

Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам,

поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…

Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественного театра!

«Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле не все верили…»

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу…

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости…

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, назвал так:

— Погребальные дроги стоймя.

1914 г.

Года полтора назад я публично читал в Париже мои литературные воспоминания и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянского

быта, которого он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаний два больших фельетона в «Новом русском слове». «В Женеве, — писала она, — и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горького… Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое…» Вот это было уже подлинное оскорбление Чехова — низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мешало бы помнить, что Горький называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизией». Следовало бы обидеться еще и на знаменитую артистку Ермолову. Среди ее опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ее другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашиваете, отчего не нравится повесть Чехова «В овраге»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ беспросветной тьмы, всевозможных болезней и печали». Зато Горького считала «милой, светлой личностью» и просила Середина: «Вы с Горьким близки, не давайте ему сбиваться с этой светлой нотки, которая так сильно звучит в его произведениях…» Читаешь и глазам своим не веришь! «В овраге» одно из самых прекрасных во всех отношениях созданий русской литературы, но для Ермоловой это «чеховщина, символ беспросветной тьмы», зато Горький — «милая, светлая личность», у него, написавшего великое множество нарочито грязных, злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказывается, «светлая нотка»!

1950 г.

Шаляпин

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему…

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смеясь. Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

— Почему же это свадьба, да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну…

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех, Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и околел.

— Как, например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову…

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

Вот считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила…

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

— А как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем

хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя, — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал

бы):

— Ну что, как я пел?

— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно. Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

— Бесплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, — навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его

всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде, — чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного…» Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас

же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:

— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.

— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу! И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папиросу

за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я.

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чем же я от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература», и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны льстить.

— И то правда, — сказал я, смеясь. — А ты все-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по-твоему…

И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля

приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. А в столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание… Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай Бог так-то всякому!

<15 апреля> 1938

Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'écrivam Maxime Gorki est décédé… Alexis Péchkoff connu en littérature sous le nom Gorki était né en 1868 á Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques…[58]

Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак… Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народного…» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 68-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы; мать — дочь богатого купца красильщика…» Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности…» Чего стоит один этот сусальный вечный

горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма… Из поварят попал в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами… А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками… В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил письмоводителем к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России…»

В 92-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны… Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой», и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»… Уже славился Горький и сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»…

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке…» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки.

Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил…

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил… этой самой женщине… Подарок везу…

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том, и в другом случае, — с одинаковым удовольствием,

одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я немало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»… Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатое, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей… Нет, ты неправ, Алексей… Видишь ли, Алексей… Дело в том, Алексей…

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень

быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич… Алексей Максимович… Вот я… вам…

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович… Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания» — тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по триста, кто по четыреста, а кто и по пятьсот рублей с листа, он — тысячу рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя

превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге… В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге… Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то…» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского… Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал…

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936

Его Высочество

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете — пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Это был удивительный человек.

Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевного благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя — Петр Александров, — в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, — последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, — был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу, и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал…» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца… Меня удивил его рост, его худоба, — какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное — его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка

спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-желтого цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его высочество просит позволения представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!

— Какое высочество?

— Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — «просит позволения представиться»?

— Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный…

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских… Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью… А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года, — день убийства императора Александра II, — связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «переубедить» царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нем не было ничего от «красного принца», от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении…»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о

«золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, Его заветам братской любви между людьми, — «единственного спасения мира во всех его страданиях», — писал горячо лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

— Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок… Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное…

Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:

— «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленям. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения…»

— «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» — что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель достает его, сшибает на зеленя…»

— «Еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно… зачем не слышу я Ее звонкого смеха, не вижу Ее больших добрых глаз, Ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

— «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепы… Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы:

— Семен, а Семен, — несколько раз повторяю я, не слезая с лошади.

Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

— Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечерком посидеть, побеседовать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа.

— Что ж, зайду, спасибо, — отвечает он просто, теребя второченного русака…»

— «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево — флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы… Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю…»

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

— Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, — то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то… то есть тогда, когда мы разошлись с Олей… с Ольгой Александровной….

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!») Ответить на этот вопрос, — что за человек был он, — я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»…

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

— …Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур,

кроликов, копаюсь в саду и в огороде… по субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз… Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике… Очень соскучился по парижским знакомым… Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне… (1921 г.)

— …Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно… Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них как дома… (1921 г.)

— …Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует… Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины… (1922 г.)

— …Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал… Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко… Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже… (1922 г.)

В сущности, я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видал никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии… в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали его кандидатуру в Учредительное собрание… потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику,

тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)… Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог ведает, может быть, были в нем кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные; эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость…

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было еще до признания Францией большевиков, тогда, когда посольство на улице Гренелль, еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении), и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте… Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы…» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом…

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве….

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу…» И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он

приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти…

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.

1931

Куприн

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем кем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом… Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же минуту к чертовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью

много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. «Куприн?» — «Да, а вы?» Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева… Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким… Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи… Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать… Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть…»

В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», — жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Мира божьего», — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню…» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, кода я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином… Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью

человека, которому все трын-трава…

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов… В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности — охоту, например, к издевательству над людьми: «Взять какого-нибудь болвана, — часто говорил он с упоением, — взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески «развертеть» ее, — да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору он написал свои лучшие вещи: «Конокрады», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»… когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика…

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки… — такие крупные, дрожащие каракули и с такими

нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок… Все это и было причиной того, что за последние два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде на возвратном пути из Италии и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР…»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор…». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, — вот и вся моя писательская история…

Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это,

конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней — большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги…

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небережливость: слишком большое доверие к «нутру», в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах… то, что он «не кончил консерватории», как говорили символисты о бытовиках… в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами… Ни в нем, ни в его героях не было двойственности…» *Все это требует больших оговорок.* Точно ли не было двойственности в нем? Жил

он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, *далеко не все шло ему на пользу тут.*

Это еще мелочи, — то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором…» Это еще полбеды, — беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими *шаблонами,* но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сделаю, и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит, — вот вам «Молох»:

«Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности…»

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все *как надо* и дальше, есть все, что требуется *по образцам данного времени,* и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода….

Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус»,

чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни» предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы… Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса… («Молох»)

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами… В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии…

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку…

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу…

— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар… («Болото»)

— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание… Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих… («Лесная глушь»)

— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля,

по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты…

— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович… («Жидовка»)

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы…»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович, — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши… что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки…

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным…

В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бэтси, — да, это уж неизбежно: Бэтси! — и грозовый вечер, — «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза» — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»… В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше.

Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность…» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»…

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба»… Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул, и по исполнению, — написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело… «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой… То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием… Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми…» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Туг опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова», — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далее, — я, читая, уже не

мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом… Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком….

Вот еще статья о нем — строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского:

«Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему… Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта… Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»…

В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам… В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, — таким, каким его характеризуют почти все, — будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

1938

Маяковский

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваления ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского *воплотилось* в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие *долгие* дела. Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станция метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузии, село в Армении, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы…» (а вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта».) Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:

> Твой выстрел был подобен Этне
> в предгорье трусов и трусих!

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-

нибудь ее действию, — обвалу, извержению… Но поелику Пастернак считается в советской России, да многими и в эмиграции, тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

> Поэзия, я буду клясться
> тобой и кончу, прохрипев:
> ты не осанка сладкогласца,
> ты лето с местом в третьем классе,
> ты пригород, я не припев.

Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

— Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»…

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получать по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная

интеллигенция все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения…» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после того:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня; твердо сказал на каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в ее статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом русском слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие «партийные организации»? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его

соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, — словом, как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва *поплевал* в Терек, потом *поплевал* в Арагву; он любил слова еще более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой *осоплено*», над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с *каплями на носу,*
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги
гладь
облевывает
пером,
концом губы, поэт,
как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока
доллар
всех поэм родовей,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надев, Бродвей:
капитал — его препохабие!

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта «плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!».

С такой же силой, с какой он устрашил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм…

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел:
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих

виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной думы Крылов, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних миллионеров! Какое дело было Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба вовеки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай ее
с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, — лично их:

Партия и Ленин
кто более
матери истории ценен?

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от политбюро
чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великого поэта, все растет и растет, поэтические творения его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гнусные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребывание, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплевал» и в Париже, — заявил с томной брезгливостью пресыщенного пшюта:

Я не люблю
парижскую любовь —
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав «тубо»
собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-позвоночник», и, когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно… Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новоселье» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о Полку Игореве», — он,

русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и, наконец, получил кафедру в Харвардском университете, лучшем в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарапортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей, свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

Гегель, фрак, метель

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ее большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весною 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, — я в ту пору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, ощипали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее слово», Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманием уголовного хроникера, оплакивать ваших павлинов — мещанство, обывательщина. Гегель недаром учил о разумности всего действительного!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться…

Все это я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные года. Теперь, словно нарочно, попал в него тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красе его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те

константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне, и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда еще очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу Одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами, и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвета, — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса, человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в десять утра, — в Софии публичные лекции-доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой

ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан незапертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше чем за минуту перед его появлением на эстраде под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичек», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как назвал ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства, совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имении которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз

вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку… Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»…

— Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью… Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил:

«Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не

будет!»

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться со своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, о писателях-эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию «Русь», листов на сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там…» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил:

«Гармонь бы мне…»

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовом Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения и о нем:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом… Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами…

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Это шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древний образ в черной раке,
Перед ней подлец во фраке,
В лентах, в звездах, в орденах…

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты васек жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды за чем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды

вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону…

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал, дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох…

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена…

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом… Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны… А ведь граф Толстой даровитый писатель…»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах, да и в семидесятых, не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему, как тому, что в небесах есть солнце».

Нобелевские дни

Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени…

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба…

В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме. Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом, играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма… И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью… Какой-то перелом в моей жизни…

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов… Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца,

журналисты наперебой засыпают меня вопросами…

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Böök, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время…

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей

принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным…

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса — сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья…

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния… В Швеции мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов… И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и белизна — сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге…

Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано, с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восемь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии,

которая ждет меня нынче вечером, возбуждает…

Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:

«Господа лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м. дня. Его Величество, в сопровождении Королевского Дома и всего Двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество».

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, — и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем; нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпою, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская Академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление Монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху, и Монарх входит в сопровождении

наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстрем, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что, при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам Монарх со всем своим Двором и Домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, — шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского Фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, — в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:

— Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией.

В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к Королю,

вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед Ним, я ответил по-французски:

— Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканиях.

Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский Комитет.

На банкете председательствует кронпринц.

Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь Королевский Дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, — ныне она датская королева, — напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.

Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:

— Ваше Высочество, Милостивые Государыни, Милостивые Государи.

Девятого ноября, в далекой дали в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние

пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш Королевский Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской Академии, выразить Ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.

А. Бабореко. Галина Кузнецова

Галина Николаевна — редкость по своим литературным вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литературным талантам в прозе и в стихах (которые, кстати сказать, так высоко ценил такой поэт, как покойный Вячеслав Ив. Иванов).

И.А. Бунин

Галина Николаевна Кузнецова писала автору данной статьи: «Родилась я в Киеве 10 декабря (27 ноября ст. ст.) 1900 г. Там же окончила гимназию в 1918 г.» — Первую женскую гимназию Плетневой (угол Резницкой и Московской). Ее детство прошло на Печерске, в доме № 3 в Эспланадном переулке, откуда открывался вид на беговую беседку плаца, где бывали смотры, бега. Потом жили на Левандовской улице, по-видимому, в доме № 16. В романе «Пролог» точно описано ее детство. Чуть ли не через полстолетие фотографии мест ее детства и молодости вызвали волнение и радость в ее душе. «Конечно, я все узнала, — писала она 22 июня 1967 г., — несмотря на разросшиеся деревья и некоторые изменения в пейзаже. Как странно смотреть на окна, за которыми когда-то я жила, за которыми сидела в классе! У меня слезы навернулись на глаза! И неважно, что снимки бледные, — мне так грустно и радостно было смотреть на них!»

Смотреть с дальнего берега, — она так и хотела назвать «Пролог» при переиздании, если бы таковое оказалось возможным, «Берег дальний», по Пушкину.

Кузнецова оставила Россию в 1920 г., осенью, по-видимому, в ноябре. Через Константинополь уехала в Прагу. «Литературная моя деятельность, — продолжает она в цитированном выше письме от 8 ноября 1971 г., — началась, собственно, к Праге, где я была студенткой Французского Института (институт не окончила по болезни. — *А.Б.*) (первые стихи были напечатаны в «Студенческих годах», 1922 г.). Из Праги я переехала в Париж, где познакомилась с И.А. Буниным и начала уже постоянно печататься в местных газетах и периодических изданиях, главным образом в «Современных записках». В их издательстве вышли последовательно мои книги: «Утро» (1930), «Пролог» (1933), сборник стихов «Оливковый сад» (1937), перевод романа

Ф. Мориака Genitrix («Волчица») в издательстве «Русские записки» (1938) (с предисловием И.А. Бунина). В 1967 г. вышла моя книга «Грасский дневник» <Вашингтон>, записи (неполные), сделанные в годы моей жизни в доме Буниных».

Рукопись ее перевода «Волчицы» Бунин просматривал и кое-что советовал изменить. Она также перевела «Песнь к молодому поэту» Рильке, из Пруста — описание Булонского леса, «очень понравившееся Бунину. В переводах он ценил не тупую точность текста, а как бы перенесение души произведения (подлинника) на другой язык» (письмо 24 января 1970 г.).

Многое из написанного Кузнецовой рассеяно по газетам и журналам, осталось не собрано: в «Последних новостях», в «Новом журнале», в «Новом русском слове» и других изданиях.

Встреча ее с Буниным произошла в Париже. Пражский профессор придумал для нее поручение передать книгу Бунину, чтобы она могла показать ему свои стихи. Он показался ей холодным, надменным; ушла от него разочарованная и решила забыть о знакомстве. «Я не знала, пишет она, — что этот человек в свое время окажет на меня большое влияние, что я буду жить в его доме, многому учиться у него, писать о нем».

На «Бельведере» жизнь Кузнецовой началась в 1927 г., а первый раз она была у Буниных в Грассе в августе 1926 г. Об этом Бунин рассказывает в письме к Кузнецовой 29 июля 1951 г.:

«Нынче Вера вспомнила июль, бывший двадцать пять лет тому назад. Она сказала, что совершенно точно помнит, что мы познакомились с тобой 6/19 июля, а 15/22 ездили в гости к Зайцевым, которые гостили тогда в имении Эльяшевича за les Ares (имение проф. В.Б. Эльяшевича «Пюжет» в департ. Var в Провансе. — *А.Б.*), в лесистой местности, недалеко от одного мертвого, полуразрушившегося аббатства (аббатство Торонэ — Abbaye cistercienne du Thoronet. — *А.Б.*) в диком прекрасном лесу, куда мы ходили в тот день с Зайцевыми. А вспомнила все это Вера потому, что переписала нынче на машинке стихотворение мое, написанное сравнительно недавно об этом аббатстве, — под заглавием «Ночная прогулка»» (цитирую по ксерокопии с автографа, полученной от Г.Н. Кузнецовой).

Кузнецова прожила у Буниных, уезжая время от времени на два-три месяца, до апреля 1942 г., когда совсем переселилась в Канны. В 1949 г. переехала в Америку. «Хотя я, — писала она 6 ноября 1969 г., — и уехала из Грасса «во время голода», как написал Зуров, но, конечно, не голод был этому причиной. В то время всюду было голодно, а в Каннах еще больше, чем в Грассе, где были все же кое-какие связи. Причин моего отъезда было много, а в частности, были и чисто личные. Разумеется, отъезд

мой на некоторое время создал атмосферу болезненного разрыва с Иваном Алексеевичем, что и ему, и мне было нелегко. Однако связи с бунинским домом не была до конца разорвана: впоследствии завязалась переписка, частью и деловая, так как в 52-м, 53-м годах (по желанию И.А.) мне и М.А. Степун была поручена корректура его книг, издававшихся в Нью-Йорке, в Чеховском издательстве («Жизнь Арсеньева», «Митина любовь и др.). Обе мы вели с ним по этому поводу оживленную переписку. <…> Всякий оттенок горечи исчез из его писем, некоторые из них были трогательно-сердечны. Вера Николаевна написала мне, что последнее письмо, которое он получил и прочел, было от меня.

В Америке я прожила десять лет. В 55-м году поступила в ООН, где и прослужила в издательском отделе корректором семь лет. В 59-м году наш русский отдел, в уменьшенном составе (В. Андреева, М.А. Степун и меня) перевели в Женеву».

Последние годы Кузнецова жила в Мюнхене. Скончалась 8 февраля 1976 г.

Андрей Седых, который был литературным секретарем Бунина в нобелевские дни, с поездки в Стокгольм подружился с Кузнецовой. Он писал: «Была она на редкость тонким, чутким человеком, очень застенчивой…» Бунин, по его словам, почувствовал в ней «настоящий талант и большую душевную тонкость», в Грассе под влиянием Бунина она «духовно и творчески оформилась». О ее книгах писали такие видные критики, как Г.П. Струве, П.М. Бицилли, Г.В. Адамович, причисляли ее к писателям и поэтам бунинской школы.

Ее стихи своей пластичностью близки поэзии акмеистов; вместе с тем в них — соприсутствие тайны, та мистическая стихия, без которой для нее не может быть поэзии; от них исходит ощущение чего-то запредельного; завораживает уход из трезвой жизни, погружение в некую первичную стихию, — пишет она, несомненно, о своих стихах, говоря о творчестве героини автобиографической неоконченной повести «Художник», — в которой надо было только чутко слушать, ловить таинственное направление», погоня за чем-то «волшебным, скользящим, пропадающим, внезапно возникающим» для нее «в только что чужом, безразличном существе». Жизнь была ценна для нее «именно этими мгновениями очарования, открывания повсюду таинственных заветных примет… чего, она не знала, знала только, что именно в них была для нее красота и смысл, без которых все остальное было ненужно и пресно». И выражено это словами точными, несомненными.

Ее рассказы во многом автобиографичны.

«В рассказах Кузнецовой… — писал Г.П. Струве, — о русских людях, застигнутых революцией, и о первых годах беженства, как и в романе ее «Пролог»… — романе ретроспективно-вспоминательном — ничего или почти ничего не происходит… Но они написаны хорошим, сдержанно-поэтическим языком, действующие лица зарисованы бегло, но с несомненным психологическим чутьем» (Струве Глеб. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 305). По мнению П.М. Бицилли, автор «Пролога» «искусно обновил и осмыслил избранную им форму романа-воспоминаний» (Современные записки. Париж, 1933. Кн. 53. С. 454). У Галины Кузнецовой, — отмечал Г.В. Адамович, — «в основании каждого рассказа лежит чувство и нежность, которые она ничем не старается скрыть, и уж всего менее тронуть иронией» (Иллюстрированная Россия. Париж, 1930. № 11. 8 марта).

В марте 1951 г. Бунин писал: несколько лет тому назад Кузнецова «напечатала в Париже книжечку прекрасных стихов — «Оливковый сад» (Архив Колумбийского университета, США).

Бунин писал о Кузнецовой сотруднице «Издательства имени Чехова» в Нью-Йорке В.А. Александровой 4 января 1952 г.:

«Галина Николаевна — редкость по своим литературным вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литературным талантам в прозе и в стихах (которые, кстати сказать, так высоко ценил такой поэт, как покойный Вячеслав Ив. Иванов» (там же).

«Грасский дневник» — в громадной степени книга о Бунине; это важнейший источник точных данных для изучения его биографии и творчества; изо дня в день она записывала свои разговоры с ним, его споры со многими знаменитыми людьми и то, как создавались рассказы и роман «Жизнь Арсеньева». «Жизнь в доме Буниных, — свидетельствует А. Седых, — была сложная, атмосфера не всегда легкая. Г.Н. Кузнецова при отборе записей проявила величайший такт. Иван Алексеевич был человеком «великих страстей», — в гневе мог наговорить Бог знает что, а потом быстро отходил и жалел о сказанном»; но она чрезмерно много внимания уделяет «капитану» Н.Я. Рощину, его писательский талант Иван Алексеевич «расценивал весьма низко, на уровне бульварной литературы; как человека он его не уважал — относился к нему снисходительно, потому что любил вокруг себя молодых и потому что Рощин вносил некоторое оживление в монотонность бельведерской жизни».

«Грасский дневник» печатался отрывками по-английски, эта журнальная публикация вызвала большой интерес в литературных кругах в Америке.

Галина Николаевна так определила свою задачу при издании «Грасского дневника»:

«Когда-то я записывала все это, не думая о будущем, просто из потребности записать свою жизнь, а также, разумеется, и жизнь тех, с кем жила. Хотелось, кроме того, передать Ивана Алексеевича живого, такого, каким он был, — очень разного, он был многогранен — и ни в коем случае не подкрашенного. Если удастся когда-нибудь издать весь «Грасский дневник» — а он довольно большой — картина получится гораздо полнее. Но пока надежды на это мало, да и, правду сказать, это еще рано, так как многие, о ком там идет речь, еще живы, а я не хочу никому доставлять неприятностей. Иван Алексеевич был человек страстный, порой пристрастный, действовал и говорил (а также и писал) часто в горячую минуту, о чем потом так же страстно жалел и горько раскаивался. Это многие могут подтвердить, в том числе и Я.М. Цвибак, хорошо знавший И.А.» (письмо 30 апреля 1965 г.).

В замыслах Кузнецовой было после издания дневника в 1967 г. составить книгу из последующих дневниковых записей; некоторые из них, очень немногие, она публиковала. Писала также книгу «Мои современники»; «наброски у меня есть, — сообщает она в письме 9 ноября 1972 г., — нужно только их отделывать». Но последние годы были омрачены болезнями, силы все убывали. Труды эти остались незавершенными. Две-три тетради дневников за первые годы войны, писала она 8 сентября 1969 г., были уничтожены, а для многого, по ее словам, еще не настало время. Отложила на будущее и «отдельный кусок воспоминаний» о писателе Л.Ф. Зурове, жившем в бунинском доме; отношения с Буниным у него были чрезвычайно сложные (Зуров иногда страдал психическим расстройством); «уж очень много о нем пишут «ненастоящего», если можно так выразиться», — говорит она в письме 14 января 1972 г.

И после отъезда из Грасса, куда бы ни забросила ее судьба, Кузнецова писала стихи и прозу, публиковала в «Новом журнале», в альманахе «Воздушные пути», в газете «Новое русское слово» (эти издания выходят в Нью-Йорке), в альманахе «Мосты» (Мюнхен).

Она была из тех, о ком Бунин сказал: Россию, русское естество мы увезли с собой, — разве можно забыть родину? Когда пришло известие о том, что немцы в Киеве, — плакала.

Литературные вкусы Кузнецовой, ее эстетические воззрения формировались под влиянием Бунина; в атмосфере, царившей на «Бельведере», у нее росло и крепло понимание того, что преходящее и наносное, а что настоящее и останется в русской

литературе, составит ее славу.

Я посылал ей кое-что из литературных новинок. М.А. Булгаков поразил ее умом и талантом. 7 декабря 1966 г. она писала:

«Повесть «Мастер и Маргарита» на меня произвела большое впечатление. Какая сила, напор таланта, но и какие-то зловещие флюиды от нее! Я долго не могла после нее успокоиться. Меня очень интересует, если не трудно, пожалуйста, пришлите и конец!» А прочитав конец, написала:

«Какой талантливый, блестяще талантливый человек Булгаков! Умный и яркий».

Однотомник Михаила Булгакова (Избранная проза. М.: Художественная литература, 1966) доставил ей большую радость. «Какие яркие способности были у этого человека!» — писала она 28 января 1967 г. Она читала и раньше «Белую гвардию»; а пьеса на сюжет этого романа шла в Париже, «но постановка была плохая, хотя и были два-три неплохих актера» (письмо 29 декабря 1966 г.).

Из писателей позднейшего поколения для нее явилось счастливым открытием имя Е.И. Носова. «В последнем номере (февральском, кажется) «Нового мира» напечатаны два рассказа неизвестного мне писателя Носова, — писала она 26 апреля 1966 г. — Должна сказать, что я возрадовалась! Знаю наверное, что Бунин обратил бы на него внимание и очень похвалил бы его». Рассказы Евгения Носова «Объездчик» и «За долами, за лесами» напечатаны в «Новом мире» (1966, № 2).

Восхищалась она и Виктором Некрасовым; прочитав в «Новом мире» (1967, № 8) его статью «Дом Турбиных», она писала 5 декабря 1967 г.:

«Спасибо вам прежде всего за «Новый мир»! Статья Некрасова меня очень тронула и порадовала. Он, вообще, меня давно интересовал — какой живой сердечный писатель!»

«Черные доски» В.А. Солоухина ее «поразили».

Получив «Новый мир» с повестью Василя Быкова, Кузнецова писала 20 августа 1970 г.: «Какая страшная повесть «Сотников» — я жила чуть не две недели под впечатлением прочитанного».

Очень жалела Твардовского, ушедшего из жизни 18 декабря 1971 г.: «Сколько он в свое время сделал для русской литературы!». «Видела его портрет в газете: у него было хорошее лицо» (письмо 14. I. 1972 г.).

О Кузнецовой сказала художница Т.Д. Логинова-Муравьева, автор воспоминаний о Бунине, в письме 8 апреля 1976 г.: «Она была, несомненно, очень одаренным человеком и очень хорошо к вам относилась и ценила вашу верность Бунину».

Доброе расположение, выразившееся в ее письмах, будило во мне желание встретиться с нею, чтобы услышать живое слово о Бунине, хотелось также поговорить и о ее архиве. Такой случай неожиданно представился.

В 1973 г. я имел честь получить от мэра г. Грасса господина Эрве де Фонмишеля приглашение участвовать в «Днях Бунина в Грассе». Отмечались одновременно три даты: пятьдесят лет со дня, когда он поселился в этом городе, сорок лет со времени получения Нобелевской премии и двадцать лет со дня смерти. Узнав о приглашении и о просьбе мэра, адресованной Союзу писателей командировать меня, «биографа Бунина», в Грасс, Кузнецова писала 9 июля 1973 г.: «Очень надеюсь, что вы приедете на Бунинские дни в Грасс. Я думала передать или, в крайнем случае, переслать (если буду больна) кое-что вам из Бунинского архива. Ведь кто знает — может быть, и мне скоро уходить туда, откуда не возвращаются».

Судьба судьбой, а предстояли хождения «по инстанциям». Я имел уже некоторый опыт, были хлопоты об архиве Бунина, доставшемся по наследству Л.Ф. Зурову.

А теперь вот — письма Бунина у Кузнецовой, альбомы фотографий, целый портфель писем Веры Буниной, Кузнецова сама предлагает это свое богатство, зовет. Но тогдашнее руководство Союза писателей, министр культуры Фурцева, которой также было послано письмо из Грасса с просьбой «командировать», «послать», главный идеолог Суслов, которому я писал, — остались глухи. Не помогло и то, что К.М. Симонов, по моей просьбе, обращался к Н.Ф. Федоренке, в ведении которого были заграничные поездки писателей. Архив Кузнецовой, после ее кончины, через малый срок наступившей, приобрел профессор Рене Герра. Вот и не можем видеть «Грасский дневник», подробные записи за многие годы, — Галина Николаевна во время войны эти записи передала на хранение писательнице Наталии Владимировне Кодрянской. При встрече в Москве Наталия Владимировна рассказывала, что она все это возвратила Кузнецовой, — по правилам старого доброго времени, — не читая.

В записях Кузнецовой вырисовывается Бунин великий подвижник, для которого жизнь писателя — это «отречение от жизни», он всегда помнил завет Толстого, что условием совершенства является смирение, пример тому, по словам Льва Николаевича, Пушкин. «Все мы, даже самые сильные из нас», в своем стремлении выразить себя, наставлял своего собеседника Бунин (старик в рассказе Кузнецовой «На вершине холма»), «могут передать только частицу, которая совсем ничтожна, даже

пошла, в сравнении с тем, что чувствуешь. Да, может быть, самое достойное — молчание». И он многие «молодые» свои писания отвергал как незрелые, запрещал не только перепечатывать, но не позволял обитателям «Бельведера» читать их. Бунин всегда был в поиске, как сказать скупо, но щедро; его стихией было служение красоте и правде, которые не мирятся со всякой нарочитой новизной формы и со всем, что не есть высокие идеи. Оттого он не сделал ошибку, о которой говорит Б.Л. Пастернак в письме В.Т. Шаламову, посланном в 1952 г.:

«Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше» (Литературная Россия. 1990. № 6. 9 февраля).

Бунин не соблазнился модными течениями в литературе начала века, с их литературным нигилизмом, доведенным «футуристами», по его словам, до «самого плоского хулиганства», а социальный нигилизм революции определил в «Окаянных днях» как гибельный для русской культуры. Свет неугасимый исходил для него от Пушкина, Толстого, от Достоевского, хотя многое в нем он не принимал.

Пушкин, как и для Достоевского, был для Бунина «наше все»; он воплощал в себе, по его определению, «высшие совершенства» России.

О Толстом и Достоевском на «Бельведере» много спорили — с Ф. Степуном, З. Гиппиус, Д. Мережковским, — Толстой неизменно был с ними, пишет Кузнецова, в их разговорах, в их жизни. И это неудивительно: у Толстого и Достоевского, при всем их несходстве, общее в том, что в их творчестве, в их этическом учении и эстетических воззрениях, в публицистике, в литературной полемике наиболее сильно и глубоко отобразилось то, что тогда носилось в воздухе, что захватывало умы, вызывало порой ожесточенные нападки на их романы и статьи. И как всякое гениальное творчество, созданные ими произведения излучают свет, освещающий путь в будущее, и несут в себе идеи пророческие.

Федор Степун, философ, критик, блестящий спорщик, которому ближе всего были писатели-модернисты, — в частности

Блок, Белый, с его «Петербургом», — их «надлом», «хлыстовство», их «инсценировки» вместо подлинной России, — точно фехтовался с Буниным, во всем с ним не соглашаясь.

Интеллигенция не знала России, парировал Бунин словесные стрелы Степуна, она жила в отрыве от народа, узкокружковыми интересами; у писателей этой среды и не могло быть подлинной России.

У Бунина, хорошо знавшего народную жизнь, русскую деревню, и у эстета Степуна, у которого, по собственному выражению, была этакая «порочная барочность», было различное восприятие Толстого. Поиски Толстым смысла жизни, его философские идеи казались Степуну лишенными мудрости, наивными. Бунин же полагал, что образное мышление Толстого и есть высшая мудрость.

Толстой писал, что «высшая мудрость основана не на одном разуме» — на том, что дают различные науки, — а исходит из света совести и достигается самосовершенствованием личности.

Уяснить восприятие Толстого Буниным — значит многое понять в самом Бунине.

Толстой считал свое духовное я, по словам Бунина «проявлением Бога в нем», и он был близок Бунину не только как великий художник, но и как «религиозная душа». Вера давала Толстому, а равно и Бунину, знание «смысла человеческой жизни» и открывала смысл жизни вечной. А смысл этот — в стремлении к благу. «Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость», — писал Толстой.

И он изображал людей, которые достигают «прозрения высших законов», — Кутузова, Пьера, Наташу, княжну Марью, — жизнь которых есть процесс «освобождения духовного начала». Очевидней всего это — у Пьера, духовно преобразившегося после плена, и у княжны Марьи, душа которой всегда стремилась «к бесконечному, вечному и совершенному».

Толстой и Достоевский возвещали великие идеалы, когда, как говорит Достоевский, в мире все более и более «угасала мысль о служении человечеству»; «новый человек», пришедший в жизнь, о котором говорит Ракитин («Братья Карамазовы»), нигилист, отбрасывающий освещенные традицией ценности, не ценит вовсе то, чем жил народ, — религию, приверженность высшим духовным началам; эти «прогрессисты» отрицают семью, ниспровергают Пушкина, Рафаэля, а преступление — убийство, совершенное Раскольниковым, — с их точки зрения, «протест» и, стало быть, не осуждается. Социалисты из помещиков, либералы нападают на Россию, чужды русскому народу. После реформы 1861 г., писал Достоевский, — «треснули основы общества <…>,

исчезли и стерлись определения и границы добра и зла». Петр Верховенский («Бесы») так и говорил: надо, «чтобы все рушилось: и государство, и его нравственность».

Либералы, социалисты, эти самозванные устроители человеческого счастья, хотели переродить человечество насильственным изменением экономических условий жизни; но не в промышленности, утверждал Достоевский (это также мысли Толстого), а в нравственном перерождении сила, в нравственной идее.

Их, этих «прогрессистов», способ мыслить, их правда враждебны идее сострадания и таким понятиям, как «ум сердца», смирение. Смирение, писал Достоевский, «самая страшная сила, какая только может на свете быть!». Им не пришло бы в голову сказать, как говорила Аглая князю Мышкину («Идиот»): «У вас нежности нет: одна правда, стало быть, — несправедливо».

А в конце концов эти бездушные теории построения «светлого будущего» вели к обоснованию терроризма, к построению этого общества на костях невинных людей, — Шигалев («Бесы») говорил о ста миллионах таких жертв — и ошибся: А.И. Солженицын уточнил — потребовалось сто десять миллионов для того будущего, которое пророчески предвидел автор «Бесов» и определил в терминах наших дней, как «застой и сумбур»;

именно к такому результату, по его словам, должен был привести либерализм «бесов», кончивший антинациональностью и личной ненавистью к России». Бунину пришлось жить, когда сбылись пророчества Достоевского, когда воцарился Азазел;

стало реальностью предвиденье великого романиста: «Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю». И Бунин сказал свое горькое слово и о революциях, и об «окаянных днях». О Достоевском говорил жене. Вере Николаевне: «…только Достоевский до конца с гениальностью понял социалистов, всех этих Шигалевых. Толстой не думал о них… А Достоевский проник до самых глубин их».

Отношение Бунина к Достоевскому было сложным, нередко он отзывался о нем в резких тонах. Достоевский «душе его чужд, — пишет Кузнецова, — но он признает его силу, сам часто говорит: конечно, замечательный русский писатель — сила! О нем уж больше разгласили, что он не любит Достоевского, чем это есть на самом деле. Все это из-за страстной его натуры и увлечения выражением». Он восторгался умом Достоевского и в его романах, и в «Дневнике писателя». А Вере Николаевне сказал:

«Ну, я прочел «Кроткую». И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он

рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой — другое.

Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь черту, одну, другую — и Альпы выросли бы перед глазами».

Можно указать примеры, когда Бунин в своем творчестве то спорит с Достоевским, то, напротив, следует его идеям. В его рассказе «Петлистые уши» (1916) Адам Соколович изображен как антитеза Раскольникову. Соколович, этот «сверхчеловек», проповедует «убийство ради убийства», не способен мучиться совестью, подобно Раскольникову, после совершенного им преступления. Это символическая фигура, отмечалось в критике того времени, для тех трагических дней, когда в войнах участвовали десятки миллионов. Соколович со спокойной убежденностью заявляет: «Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания». Рассказ первоначально так и был озаглавлен: «Без наказания».

Соколович называет себя выродком, а у выродков, говорит он, у убийц, например, «уши петлистые, то есть похожие на петлю». Тут некоторое сходство художественной детали с изображением Достоевским Шигалева, у которого были «уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие».

В повести Бунина «Митина любовь» (1924) есть определения жизненных устремлений Мити, идущие от Достоевского. В романе «Братья Карамазовы» Митя говорит, что красота страшна и таинственна, «еще страшнее, когда уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны». Эти два начала, их совмещение, очерчивает также Бунин. «Таинство любви» Мити («Митина любовь») являло собой, говоря словами поэтессы М.В. Карамзиной, «чудо благодатное». В то же время он, с его потребностью прекрасного, в своих сокровенных побуждениях не чужд был страстям, которые влекли его к связи с развратной женщиной, и он застрелился; жизненный тупик для него оказался неизбежным.

Любовь — тайна; по Достоевскому — «тайна Божия». Бунин писал: «Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле». Этот высокий строй чувств передан в «Митиной любви», «Жизни Арсеньева», в рассказе «Натали» (1941). В нем в некотором смысле отобразилось то, что пережил сам Бунин: его увлечение Галиной Кузнецовой, хотя «свою жену Веру Николаевну, — пишет Андрей Седых, — он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью». В

«Натали», по выражению самого автора рассказа, «мучительная красота обожания» Натали Мещерским и «телесное упоение Соней». При этом надо сказать вслед за Буниным, что рассказ этот от начала до конца вымышленный.

В своем творчестве Бунин обращался и к Петрарке. Возвышенное чувство к женщине, воспетое Франческо Петраркой в его сонетах, было и для Бунина тем миром добра и красоты, который наполнял его душу. Он говорил Кузнецовой 3 июня 1933 г.: «…с годами, а теперь особенно, я все больше начинаю чувствовать в себе какой-то… Петраркизм и Лаурность… то есть какое-то воплощение всего прекрасного, женского <…>, что и правда подобно тому, что я писал в прошлом году о Петрарке — «Прекраснейшая солнца». Кузнецова тонко почувствовала и отобразила эту сторону личности Бунина в многих записях «Грасского дневника»; ведь и ее душа чутко откликалась на все прекрасное, на все то, что есть поэзия, и это придает зоркость ее писательскому взгляду. Бунин, писавший в «Жизни Арсеньева» о Лике в те годы, когда обдумывал рассказ «Прекраснейшая солнца», был, как он говорит о Петрарке, «одержим… беспримерной любовью» к той, юная прелесть которой «могла почитаться небесной». Но «жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавая свой гений и на созидание всех благих его деяний».

Читая Пушкина, он погружался в думы о России наших дней, — в «Борисе Годунове» отметил слова Пимена:

> Прогневали мы Бога, согрешили:
> Владыкою себе цареубийцу
> Мы нарекли, —
> и написал: «Как Ленина».

В Екатеринбурге в 1918 г. были убиты, по велению московских владык, не только царь с женой, но и четверо их детей.

Борису Годунову являлся призрак убитого им царевича Дмитрия, и его терзали муки совести. Бунин написал к монологу царя: «Ух, тяжело!.. дай дух переведу»:

«Ленины да Сталины не терзаются!»

В старости Петрарка писал: «Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке…»

Бунин трудился до последнего дня и часа: писал свой труд о Чехове. Смерть застала его за книгой, с пером в руке.

Он так же, как «прекраснейшая солнца», мог бы сказать о себе:

«Дни мои через смерть стали вечны!»

Галина Кузнецова. Грасский дневник

Покинув Россию и поселившись окончательно во Франции, Бунин часть года жил в Париже, часть — на юге, в Провансе, который любил горячей любовью. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с великолепным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, Бунины прожили многие годы. Мне выпало на долю прожить с ними все эти годы. Все это время я вела дневник, многие страницы которого теперь печатаю.

19 мая 1927
ГРАСС

Живу здесь почти три недели, а дела не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее, потом работать, писать, но даже насладиться до конца не удается. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей виллы, меня манят большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу по открытой площадке перед виллой, смотрю — не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы, те дикие Моры, в которых скитался Мопассан.

По утрам срезаю розы — ими увиты все изгороди — выбрасываю из них зеленых жуков, поедающих сердцевину цветка. Последнему научил меня Фондаминский[59], в котором есть приятная, редкая в мужчине нежность к цветам. Обычно, я же наполняю все кувшины в доме цветами, что И.А.[60] называет «заниматься эстетикой». Сам он любит цветы издали, говоря, что на столе они ему мешают и что вообще цветы хорошо держать в доме тогда, когда комнат много и есть целый штат прислуги. Последнее — один из образчиков его стремления всегда все преувеличивать, что вполне вытекает из его страстной, резкой натуры.

Впрочем, пахнущие цветы он любит и как-то раз даже сам попросил нарвать ему букет гелиотропа и поставить к нему в

кабинет.

Кусты этого гелиотропа растут под окнами виллы Монфлери, лежащей ниже нашей виллы и сейчас пустой. Там на одной из террас есть пустой каменный водоем. На дне его среди веток и мусора лежит маленький, чисто вымытый дождями скелет кошки. Очевидно, она соскочила туда, а выбраться назад не смогла. И хотя умирала она, должно быть, медленно и мучительно — в скелетике ее, в аккуратно поджатых желтых косточках передних лапок есть какое-то глубокое, трогательное успокоение. Она так тихо лежит, и я невольно задумываюсь о том, что же такое эта смерть, которой мы все так страшимся? Может быть, ответ в этих чистых косточках, лежащих под тенью широкой фиговой ветки. В них точно символ полного мира, как бы обещание его всем существам на земле.

И.А., однако, предупредил меня, чтобы я не говорила о кошках в присутствии В.Н.[61] — у нее к ним какой-то болезненный страх. И.А. рассказывал, что позапрошлым летом они со Шмелевым[62] убили кошку, повадившуюся ходить к ним на дачу и пугавшую В.Н. Нельзя сказать, чтобы этот рассказ меня очень обрадовал. Я испытываю к кошкам дружелюбное чувство. Мне нравятся их ловкость, грация и осторожность, таящаяся в глубине их зрачков. К тому же в них есть какое-то аристократическое сознание своего достоинства.

Я пишу, а тем временем совсем стемнело. Долина за пальмовыми ветвями стала мутно-синей, и на ее фоне тихо шевелятся мелкие листочки оливок и желтого бамбука, растущего под окнами. Проснулся в кустах соловей. Ночи здесь великолепные, засыпаю я под перекликание соловьев и неумолчный страстный хор лягушек, которых здесь необычайно много. Но ни одной из них я никогда не видела. Мы только слышим их каждую ночь.

23 мая

Лес над нашей виллой растет по крутизне, гору сейчас взрывают — прокладывают бульвары. Но есть еще густые чащи, где пахнет горными цветами и хвоей, со скал стекает плющ, и плывет сверху такой широкий меланхоличный ропот, какой бывает только в хвойных лесах. Я долго карабкалась сегодня по обрывистым тропинкам, изранила руки, собирая папоротник и какие-то мелкие голубые цветочки с гиацинтовым запахом. Природа успокаивает — я была расстроена перед этим, и эти крутые тропинки, иссохшие источники, опутанные плюшем камни

и, главное, теплый, полный запаха горных трав и хвои воздух успокоили меня. Я соскакивала с каких-то скал, исцарапав при этом босые ноги, и катилась вниз с быстротой пущенного сверху камня. Зато я вернулась домой с большим букетом горных цветов, которые поставила в круглый глиняный кувшин в столовой. Правда, потом оказалось, что кувшин этот служит для приготовления «доба» — провансальского кушанья, но все-таки мои цветы и сейчас стоят в нем.

Вообще прелести в нашей жизни много. Внизу в саду Монфлери поспели черешни, и мы с Ильей Исидоровичем каждый день навещаем их. Сегодня после обеда ходили туда и нарвали полные карманы. Руки саднит до сих пор, но разве они могут сравниться с теми, которые приносят с базара?

Уже начинает темнеть, в городе звонят. Вот еще очарованье — сигналы. Когда из долины прилетает сюда трубное рокотанье, по душе проходит какое-то теплое ласковое дуновенье. Когда-то другие трубы в этот час играли зорю там, далеко, в Киеве, в казармах старой приднепровской крепости…

30 мая

«Синие горы» кончены и начисто перепечатаны. Показала их И.А., он прочел в тот же вечер и, выбрав минуту, когда мы остались одни, высказал свое мнение. Сначала очень хвалил, потом сделал очень существенное замечание, что надо брать сюжетные темы. Я сама чувствую, что у меня действия недостаточно, оно расплывчато. Но с этим мне, вообще, пока трудно. Похвала приятна, но печатать рукопись негде. Велика, в газету не попадет, а журналов подходящих нет. Придется ее положить в стол, что прискорбно — нет никакого поощрения к дальнейшему.

5 июня

Вчера за обедом И.И.[63] говорил, что вилла Монфлери перепродается по случаю болезни снявших ее и что, вообще, будто она пользуется несчастливой славой: прошлой зимой в ней умерла совсем молодая женщина, а перед ней еще кто-то. Тому, что на Монфлери не приедут дачники, я рада. До сих пор этот пустой сад с заколоченным домом принадлежал мне. Я ежедневно гуляю там — слово «гуляю», впрочем, вовсе не изображает моего рысканья по обрывам под деревьями, посещенье развесистой черешни и охоты на верхние, отягченные черными ягодами ветки. Перед домом цветут огромные, переполненные лепестками,

изнемогающие от собственной тяжести розы. Гелиотроп отцветает. Поспевают нефли. В этом саду я опять чувствую себя подростком, и в иные минуты мне странно представить себе мою прошлую жизнь, то, что я была замужем, пережила войну, революцию, разрыв с мужем…

Я сильно загорела, руки у меня исцарапаны до локтей, чулок не ношу и хожу, как все здесь, в белых полотняных туфлях без каблуков, завязывающихся переплетающимися тесемками. Словом, совсем одичала. Дни очень похожи один на другой и кажутся длинными, но зато недели мелькают незаметно. Я чувствую, что за эти недели мною ничего не сделано, хотя я провожу за столом каждый день часа четыре. И.А. пишет рассказ о «веселом мужике», обещает, когда окончит, прочесть его нам «за бутылкой белого вина».

Скоро должен приехать Рощин[64]. Вера Николаевна уже готовит ему комнату рядом с моей.

Живем мы довольно размеренно. И.А. в определенные часы гонит спать, а днем заниматься, «по камерам», как он шутливо кричит. Он ничуть не похож здесь, на И.А. парижского, не умевшего дня прожить без ресторанов и кафе.

7 июня

Знойный великолепный день. Море придвинулось и лежит на горизонте полным голубым дымом, так что глазам весело, небо побледнело от обилия света, и хвойное раскидистое дерево на этом свете и лазури прекрасно. После завтрака И.А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем. Он сегодня в первый раз весь в белом, ему это очень идет, он очень сухощав и по-юношески строен. А все это в целом очаровательно: и он, и голубая горячая даль, и хвойные ветки большого раскидистого дерева в нижнем саду, и далекое море, синей стеной поднимающееся к горизонту. Впрочем, долго лежать он мне не дал — погнал в комнату «заниматься». Надо смотреть на сухие летние дни, как на рабочее время, нечего бездельничать, — постоянно твердит он. А тут еще прибавил: «Только в вашем возрасте и можно дать хороший закал для будущего. Идите-ка, идите». И сам пошел писать о своем «веселом мужике». На этот раз пишет он довольно медленно, еще не разошелся. Я сегодня отнесла на почту свои «Горы», посылаю их в «Звено»1. Надежды, в сущности, никакой, но не лежать же им так в столе — надо хоть попытаться. Послать заставил И.А., он и конверт дал большой, и адрес я писала у него в кабинете. Ну, на авось!

#1 Парижский литературный журнал.

11 июня

Илья Исидорович вчера внезапно уехал в Париж к жене, обеспокоенный каким-то ее капризным письмом. Неизвестно, когда он вернется. Образовалась какая-то пустота в доме. И.А. за столом стал вдруг очень вял и неразговорчив. Уезжая, Илюша разговаривал с В.Н. обо мне и сказал, что ему очень жаль, что я мало работаю. Это, к сожалению, сущая правда.

12 июня

Не люблю праздничных дней. Всегда в них какое-то беспокойство, ожидание чего-то, что должно случиться и никогда не случается.

Уже с утра сегодня проснулась как-то особенно настроенная, вспомнилось, что это Троица, захотелось чего-то необычного. Пошла в собор. Было очень жарко, орган все время напоминал Фауста, а когда стали тушить после окончания службы электричество над престолом под последний завершительный гром сверху, стало совсем похоже на театральное представление. Вернувшись домой, срезала в саду две ветки лилий и поставила в столовой. Хотелось прибавить что-то к обычному течению дня. Да и не мне одной хотелось. В.Н. заказала к завтраку меренги, и днем мы ходили гулять, сидели на площади в кафе и смотрели на праздничную толкотню под платанами и втайне все чем-то томились. В.Н. это высказала, свалив все на скверную русскую натуру. И.А. говорил, что его мучает неоконченный рассказ.

По-прежнему неприятен отъезд И. Ис. Был он как будто неслышен в доме, а исходило от него какое-то успокоительное доброжелательство.

20 июня

Знойные, светом переполненные, настоящие провансальские дни.

Выбежала сейчас на минуточку наверх, прошла по террасам, посидела в тени оливок — внизу пыльно-розовая черепица потоком льется с горы. Две башни — одна совсем черная, точно обуглившаяся, с белым ободком вокруг неровного окошка — все купается в горячем золотом свете. Какая радость в этой сухости, в теплоте земли, трав, все новых и новых диких цветов, кустами

расцветающих на стенах, в расселинах между камнями…

Вчера ездили в Канны. Пили чаи в ресторане над морем. Прекрасный джаз-банд и три пары танцевали чарльстон. Я так обрадовалась даже этой музыке, что сама удивилась — неужели я так все это люблю? Одна пара танцевала отлично.

И.А., с не меньшим, чем я наслаждением смотревший и слушавший, сказал: «Нет, это все не так просто. В этом есть все-таки большой яд, большая талантливость, ловкость…»

24 июня

Приехал Рощин — пока еще не вошел в атмосферу дома и бродит в новеньком галстуке и свежей рубашке по дому и саду. Кажется, ему немного скучно и все еще длится необходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И.А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. Я ему завидую, хотя и остерегаюсь говорить об этом: меня уже достаточно все бранят за «максимализм».

Дни неопределенные, то знойные, сияющие, то серые, чуть мглистые. Вчера вечером, в канун Иванова дня, были всюду зажжены костры. Сквозь туман это было очень красиво — вся долина усыпанная большими красными огнями, а на площади в девять часов играл оркестр и пели какие-то белые, одинаково одетые девицы. Несмотря на трогательную старательность, детонировали они сильно. Изумительно как мало музыкальны французы! Италия совсем рядом, страна с таким же климатом, как здесь, кажется, то же небо, воздух, а между тем… как поют внизу простые итальянские рабочие!

26 июня

Как-то, кажется позавчера, меня вдруг позвали в неурочное время вниз. Я сбежала, и В.Н., уходившая к парикмахеру, шепнула мне на лестнице, что приехал Шульгин, книгу которого «Три столицы» мы только что все прочли и много говорили о ней. В.Н. ушла, и хозяйничать за столом пришлось мне. Он внимательно взглянул на меня, когда нас знакомили. За столом я рассмотрела его. Он весь в белом, наголо обрит, большой рот сверкает золотыми зубами. В форме головы есть что-то, напоминающее большую лягушку. Глаза зоркие, близко поставленные, глубоко сидящие в темных орбитах. Все время, пока он говорил — легко,

без всякого усилия переходя с предмета на предмет, слушая себя, — я невольно следила за его руками: очень белые, большие, мягкие, тщательно вымытые, с коротко обрезанными розовыми ногтями и черными волосами на тыльной стороне, они беспрестанно двигались, встречались, закругленно захватывали то блюдце, то чашку, — вообще его руки заставляют думать о чувственном темпераменте, что, впрочем, подтверждается идущей о нем славой женолюбца. И сейчас он приехал на юг с молодой женой, по слухам хорошенькой. Ему лет пятьдесят пять, пятьдесят восемь, но никто не дал бы ему их, глядя на него. Говорили почти исключительно о его путешествии в советскую Россию, описанном в «Трех столицах», причем он сам сказал, что теперь у него почти нет сомнений в том, что возили его чекисты. О деле Коверды отозвался неодобрительно. И.А. сам говорил мало и больше расспрашивал его, видимо, присматривался и прислушивался — он с ним познакомился очень недавно. Он уехал после часового разговора, обещав приехать как-нибудь завтракать с женой. После его ухода мы с И.А. ходили по саду и говорили о нем. В этот день все были вообще немного возбуждены, и вечером И.А. читал нам в саду свой новый рассказ «Божье древо».

Сегодня пришло письмо от Кантора, редактора «Звена». Он пишет, что летом журнал будет выходить в малом размере и поэтому мой рассказ в полтора печатных листа не может быть напечатан, но осенью он надеется на расширение и предлагает оставить рукопись до тех пор у них.

Все читали и комментировали это письмо за завтраком. Фондаминский, как опытный редактор, прочтя письмо внимательно, посоветовал оставить у них рукопись. Я решила оставить.

1 июля

После тою как И.А. вчера прочел мне несколько глав из романа, который он пишет, я потеряла смелость. Писать какой-либо роман рядом с ним — претенциозно и страшно. И все-таки мне хочется писать…

2 июля

Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И.А. остановился и, удержав меня за руку, сказал: «Вот это то, что я больше всего люблю, — настоящий Прованс!» — и, помолчав, прибавил: «Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю

на такие вещи».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо, действительно и изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие, ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все брал меня за локоть и говорил: «Как они прелестны и как хорошо им там вверху… Еще в детстве было для меня в них что-то мучительное…»

Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой, записать, коротко в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря…» И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очеркивалась другой, световой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом…

5 июля

Рассказ кончила, он перепечатан на машинке и исправлен. Я им более или менее довольна. Разбег не кончился, и меня все тянет писать еще, по ночам не спится, что-то волнуется внутри и кажется, что можно взять любой кусок жизни и писать его. Это чувство опьяняет, дает какую-то внутреннюю свободу и радостную уверенность в себе. И.А. сдерживает меня, боясь, что я перетяну струну и сорвусь. Я, правда, все ощущаю как сквозь легкое опьянение, все, даже природу, и у меня уже пробивается утомление. Впрочем, последние дни никто в доме не работает — сегодня уезжает уже окончательно в Париж Илья Исидорович. Вчера весь день они с Рощиным укладывали в ящики книги для отправки вслед за ним. Погода неопределенная, есть что-то беспокойное в воздухе, и это еще усиливает некоторую расслабленность в теле. И все-таки с наслаждением думаю о часах, которые летят так незаметно за работой и дают такую сосредоточенною радость.

8 июля

За закрытой ставней шумит дождь. Весь день наползали серые дымные тучи и вот разразились к вечеру. Я устала и от утреннего писанья, и от двухчасового печатанья на машинке —

беру уроки в школе Пижье в городе — и особенно от гостей, приехавших из Ниццы к чаю. Две пары, очень пожилые и важные персоны в прошлом: Неклюдов, бывший посол, и царский министр Наумов, оба с женами.

Было очень томительно сидеть полтора часа за чайным столом, не раскрывая рта, и слушать о декохтах и вреде нынешних медикаментов. Впрочем, Наумов рассказал кое-что интересное о разных высокопоставленных лицах, до царя и Вел. Князя Ник. Николаевича включительно. Все же я еле дождалась, пока они уехали. Вечером читала И.А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И.А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И.А. Он кричал, например, вчера о Блоке: «Лакей с лютней, выйди вон!», чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам.

13 июля

Целые дни напролет была занята. Диктовала некоторые главы романа И.А. — его перепечатывает на машинке В.Н., два часа в день печатала сама и урывками пыталась писать, хотя при такой системе ничего не удавалось. Даже гулять было некогда и только сегодня, кончив диктовать, выбралась перед обедом наверх, в парк над чайным павильоном, где теперь нет ни души, прелестно-пустынно, деревья и кустарник великолепно разрослись и вообще такая дичь и красота, что можно себе представить таким царство Спящей красавицы. Ходила, смотрела и наглядеться не могла.

14 июля

Вчера вечером были на площади, где начался трехдневный национальный праздник — взятие Бастилии.

Середина площади занята шатром, украшенным флагами и цветными фонариками, оркестр, столы вокруг. Что было действительно великолепно — это шествие альпийских стрелков с факелами. Короткая резкая команда, они вскидывают инструменты, и сразу гром музыки, сомкнутые ряды с идущими по бокам факелоносцами — и идут быстро, ровно, отчеканивая шаг, и удаляются со своими огнями и блестящими трубами в узкие улички, в синюю темноту летней ночи как кортеж юности, мужественности, всего героического, что есть на свете. Великолепно!

18 июля

Написала рассказ, давно задуманный, «Стакан». Писала, в сущности, один день, а вчера уже переписывала и поправляла. И.А. сказал, что хорошо. Я однако же так нервна, что писала страшно спеша, не успевая ставить слова. Мне было как-то уж очень легко писать.

Вчера получили от Ильи Ис. письмо, в котором он между прочим пишет, что мои «Синие горы» будут напечатаны, только Кантор, хочет сократить немного. Пишет также, что мои стихи, посланные в «Современные записки», понравились и будут напечатаны.

Последние дни чувствую себя немного тревожно, все куда-то тянет из дому и даже из Грасса, хоть на день-два. По-прежнему усидчиво пишет только И.А., Рощин болтается, а я только ежедневно сажусь за стол, но далеко не всегда из этого что-нибудь получается. Стихи, например, решительно не пишутся. Но и без того на меня косится Рощин и даже втихомолку поддразнивает «излишним прилежанием», говорит, что я прямо живой на небо собираюсь. Сам он, видимо, скучает, все рвется куда-нибудь поехать, да денег из «Возрождения» ему не шлют. Он — натура, всегда чем-то оскорбленная, все яростно осуждающая и болезненно самолюбивая.

20 июля

Сегодня получила письмо от М. Цетлина[65], очень любезное, с хорошим отзывом о стихах и с извещением, что они будут напечатаны и зимней книжке, т. к. в осенней место занято большой подмой. Конечно, слава Богу и за это! В сущности, для начала отлично.

Я так занята была все эти дни, что писать здесь было некогда. Печатание на машинке и писание, да еще чтение, занимают весь день. Радуюсь, что пишется легче и свободнее, чем прежде, что кажется, можно взять любой кусок жизни и писать — все должно удаваться. Это как бы медовый месяц творчества. И.А. вчера сказал: «Радуюсь, что это так! Это признак настоящего художника…» Он сам чувствует себя немного вяло — устал, должно быть, да и жарко. А я даже мало вижу вокруг, поглощенная работой.

Вчера походила по саду вверху, увидела, что все изменилось, одни цветы и травы отцвели и цветут другие, низкие сливовые деревья за домом обсыпаны маленькими синими сливами, я уже стряхиваю их понемножку. Вообще с внезапным жутким чувством увидела, что весны, светлой, прохладной, с соловьиным пением до рассвета, с запахом гелиотропа в нижнем саду, нет и помину, а вместо нее — сухое жаркое лето, хотя жара стоит всего два дня. И

мне стало страшно, не знаю чего…

Пишут мне редко, так как я сама почти никому не пишу. Но я заметила, что людей мне сейчас как будто и не надо, что они обычно только нарушают ровное течение нашей жизни и вырывают меня из тихого бодрствования, в котором я живу.

С Рощиным говорить не умею, мы всегда только спорим и притом ожесточенно. Он меня часто и легко раздражает самомнительностью и наклонностью почти все бранить и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что такое, наглость, сволочь и тому подобное. Очень нервна В.Н., что неприятно отражается на всех в доме. Во время ее ссор с Рощиным я особенно жалею об отсутствии Ильи Ис. Он всегда умел успокаивать ее.

25 июля

Ровное течение рабочей жизни было нарушено в последние дни. По случаю жары все двери в доме раскрыты, и это способствует разговорам, шуму и постоянному свободному входу друг к другу. Кроме того, была портниха, а В.Н. в такие дни делается необыкновенно общительна, и я, следовательно, рассеиваюсь и даже печатание на машинке, которая теперь взята на дом и печатаем мы на ней обе попеременно, идет у меня довольно невнимательно. Ездили с И.А. в Канны, я в первый раз купалась, но были большие мутные волны и неприятный ветер с песком, засыпавшим глаза, и поэтому купанье не удалось.

Вчера же, в воскресенье, были гости — Ходасевичи, только что приехавшие из Парижа. Весь дом по этому случаю убрали и ждали их к завтраку, но они опоздали и приехали только к половине третьего. Мы с Рощиным дважды ходили их встречать. Был очень жаркий, первый по-настоящему летний день, с нас пот лил градом, несмотря на крайне легкие костюмы. И все же мы их встретили уже у подъема на нашу гору, на бульваре, и сразу не узнали издали. На Нине Берберовой было голубое платье и пастушески простая шляпа с белой лентой, Ходасевич, лишенный пиджака и воротничка, придававших ему некоторую солидность в городе, казался необыкновенно тощим и от этого беспомощным'. Пробыли они почти до вечера. После завтрака сидели под пальмой и разговаривали. Я посмотрела на них из своего окна сверху, — это было красиво, голубые платья женщин, белые костюмы мужчин и этот великолепный, жаркий, сине-золотой день. Разговоры велись, конечно, главным образом литературные. И.А. умеет быть иногда необыкновенно любезным и обаятельным хозяином, он поднимает настроение общества, зато к нему и стекаются всеобщее внимание и все взгляды.

Когда показывали гостям дом, Берберова задержалась в моей комнате и стала расспрашивать о моих литературных делах, причем рассказала, что ее рассказ принят в ноябрьскую книжку «Современных Записок», т. е. в ту же, где должны быть мои стихи, — а другой будет в «Звене», в ближайшем номере. Она была очень любезна, но на окружающую красоту совсем не смотрела, и мы все дружно напрасно обращали ее внимание-то на то, то на другое. Еще раз я подивилась тому, какая у нее завидная твердость воли и уверенность в себе, которую она при всяком удобном случае высказывает. Было условлено, что мы в ближайшее время увидимся в Каннах, поедем вместе на острова, вообще, будем часто встречаться. Когда гости уехали, я пошла ходить по саду и И.А. позвал меня и дал несколько листов, написанных за последние дни, с которыми я и забралась на верхнюю террасу и, сев на траву, принялась за чтение.

Когда кончила, подняла голову и засмотрелась: на нежном розово-голубом вечернем небе венцом лежали серые вершины оливок, воздух тихо холодел, был такой покой и нежность и какая-то задумчивость и в небе, и в оливках, и в моей душе. Почему-то вспомнилось детство, самые сокровенные его раздумья и мечты. В листах, лежавших на моих коленях, было тоже детство нежной впечатлительной души, родной всем мечтательным и страстным душам. Самые сокровенные, тонкие чувства и думы были затронуты там. И глава кончалась полувопросом, полуутверждением в том, что, может быть, для чувства любви, чувства эротического, двигающего миром, пришел писавший ее на землю. И я глубоко задумалась над этим и спросила себя — для чего живу я и что мне милее всего на свете? И ответ будет, пожалуй, тот же, так как в творчестве есть несомненно элемент эротический. Я сидела и думала об этом, когда внизу ни дорожке показался И.А. Я махнула ему, позвала его. Он спросил меня, не портит ли он мне впечатление тем, что дает читать по кускам. Я сказала, что в этом есть своя и, может быть, еще более важная прелесть. В одном месте, указывая на фразу, как бы случайно, вскользь вставленную (о разнообразной прелести деревьев — их вершин, внизу темных, а сверху блестящих), он сказал: «Вот так надо, как бы случайно, уметь сказать о какой-нибудь детали и сказать щедро».

Он часто так учит меня — незаметно, мимоходом. Позднее вечером, во время прогулки он обратил мое внимание на огни, блестевшие «очень чисто», и на ясность и черноту горы: «Это бывает в мистраль — это не летние мглистые вечера — это надо все замечать».

Недавно в автобусе он говорил, что вечно страдал из-за

своего почерка — менял перья, писать ему бывает очень трудно, перо не идет, а ручку он держит между третьим и четвертым пальцами, а не между вторым и третьим, как все люди.

Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительного, важного, а я не записала, поленилась, забыла… Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено. Рощин сказал, что будет записывать за ним, но что Рощин! Будь это кто-нибудь поярче, позначительней! Что сможет сделать с этим богатством Рощин? Он и не работает вовсе, да если бы и работал, нет у него главного в литературе — чувства меры.

26 июля

Вчера ездили в Канны всем домом купаться. Ходасевич не приехал, и только много позже в кафе под платанами пришла Берберова и сказала, что он пишет, а она искала и не нашла нас на пляже. Несколько минут пришлось пробыть с Мережковскими, что для меня всегда мучительно, т. к. З.Н.[66] нагоняет на меня уныние. Она не глядит и не слышит и вообще делает вид, как будто не подозревает о моем существовании. При этом она говорит И.А. одни неприятности, которые он принимает с самым любезным и милым видом. Для того чтобы еще больше подчеркнуть свое незамечание меня, она держится чрезмерно любезно с Рощиным, дает ему милостиво-угрожающие обещания написать о нем по поводу его будущей книги. Руку она подает мне почти неощутимо и не видя меня. Все это делает то, что быть с ней для меня сущая мука. Впрочем, вчера из-за этого И.А. очень быстро собрался и всех увел с собой из кафе и дома торжественно обещал мне, что не будет принуждать меня бывать с Мережковскими. Сегодня никуда не поехали. Отстрадав жаркие часы за машинкой в комнате, я пишу на воздухе, в конце сада, на мраморном столе, который приятно холодит мне руки. Вечернее солнце мягким желтым светом обливает большую пышную ель, зеленым облаком лежащую на низкой равнине, а позади на бледном, туманном от зноя небе огромная волна Эстерели, с теплыми тенями в глубоких впадинах, встает как некое допотопное чудовище, огромное и прекрасное. Какая-то птица еле слышно журчит в кустах легколистного желтого бамбука за моей спиной. Мне хорошо и немного грустно, как всегда, в такие

минуты созерцательного покоя. Я не думаю о будущем, а прошлое рисуется затуманенно и кротко-грустно. Больше всего я люблю эти вечерние часы на воздухе.

31 июли

Долгожданное жаркое лето. С утра горячий ветер шелестит по высохшему, почти лишенному тени саду. После полудня делается так душно, что делать ничего немыслимо. Сначала пыталась вести прежнюю рабочую жизнь, но пришлось ее оставить: я тяжело переношу этот зной вдали от моря. Правда, ездили в Канны несколько раз купаться, но ездить слишком далеко и утомительно. С утра расстилаю под мандаринами одеяло, кладу на него подушку и ложусь с книгой. Иногда ко мне присоединяется кто-нибудь из домашних: уж очень жарко в доме. Только к ночи наступает облегченье; а ночи черные, сухие, с звездным небом, в котором теряется взор. На площади, в городе опять раскинут шатер, опять праздник и сюда почти весь день доносится музыка, что меня как-то грустно волнует. Вчера я и заснула под звуки этой музыки — она точно прилетала ко мне в раскрытое окно из глубины черной страстной ночи и чем-то напоминала юность…

Танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца, подле упраздненной церкви, обращенной в конфетную фабрику. Вчера вечером ходили с И.А. туда вдвоем посмотреть на танцы. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту… Ах, как хороню!..» и пояснил: «Я ведь все-таки, по совести, не могу написать о таком Жозефе или Жанне потому, что не знаю их души. А я ужасно хочу написать о них — ведь Франция для нас теперь вторая родина…»

Мы возвращались через сад Монфлери, и вслед все летела медлительная томная музыка, было так темно, что в двух шагах мы ничего не различали, а вверху огромный газовый шарф Млечного Пути пересекал все небо — темное и точно разгоряченное…

8 августа

Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И.А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее.

«Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе, по пути в Грасс — мы возвращались с купанья. Все время справа в небе видна была горбушка той дальней сиреневой голой горы, что на востоке от нас. По краю ее стояли белые легкие облака с рваными краями. Я особенно люблю эту дикую гору.

15 августа

Несколько дней уже горят леса вокруг в горах. Сегодня ветер и над Мерами клубы серо-розового густого дыма с самого утра. Рвет ветром и какое-то нехорошее, жуткое ощущение в теле. Старуха кухарка то и дело выходит посмотреть на пожар в сад — кроме нее в доме никого нет — все уехали в Канны, а я сижу и пытаюсь сделать хотя бы отчасти все наобещанные себе дела и все полому делаю плохо. Как страшны эти густые белые клубы над морем, застлавшие всю его синеву! Несет все время гарью. Невольно приходят мысли о том, что и здесь может быть пожар, так все страшно высохло вокруг дома.

В последние дни ничего не записывала — все эти дни были заполнены бестолковой суетой. Были гости, кроме того, каждый день ездили в Канны купаться, все это не дает сосредоточиться, даже мое печатанье идет кое-как и не каждый день. От этой беспорядочности очень устала. Впрочем, весь дом разболтался, И.А. первый не работает и томится, не высидит и дня дома. Рощин так и глядит, куда бы поехать, и в конце концов удрал на несколько дней в Ниццу, выпросив у В.Н. очередные пятьдесят франков.

Погода неспокойна, несмотря на жару. На море почти каждый день волнение, и недавно я даже перенесла маленькую неприятность: заплыла в большую волну к плоту, а меня швырнуло и, должно быть, оглушило немного. Я. в ошеломлении, тремя накатившимися на меня волнами была выброшена на песок, где бессознательно встала и сейчас же упала на руки подбежавшего Р. и французов. Рощин уверял потом, что я была без сознания: впрочем, длилось это ровно секунду, и я тотчас же вскочила и стала смеяться. Но все-таки момент подле плота, когда огромная волна подняла его почти отвесно на своем гребне

и я почувствовала, что он летит на меня откуда-то, как мне показалось в ту секунду, с огромной высоты и я могу быть затянута под него или получить страшный удар по голове, был действительно жутким. Рощину, бывшему там же, тоже не удалось взобраться на плот, и он тоже не по своей воле очутился на берегу с разбитым в кровь коленом. Замечательно, что И.А. был в это время на плоту и ничего особенного не заметил, только удивился, что я исчезла под накрывшей меня волной.

Вся Эстерель в огне. Мрачная апокалипсическая картина. Ходили наверх с И.А. Смотрели, потом сидели на траве под туманными деревьями и говорили о моем будущем, о литературе, о работе. Он настаивал на более упорной работе для меня. «Иначе может статься, что душа останется, как облако, которое плывет и тает — слишком лиричной в жизни». Потом еще говорил: «Жить писателя есть отречение от жизни. Надо оставить все, думать только о работе, каждый день, как на службе, садиться за письменный стол, быть терпеливой…» Я слушала почему-то с грустью. В душе был страх перед темным будущим… Вечером, прощаясь перед сном, он сказал тихо: «Завтра я сажусь за работу!»

16 августа

Пожар продолжается. Днем ездили с И.А. в Канны и буквально были ослеплены тучами песка, пыли и удушливого дыма. Здесь на горах сияющий день, а там какое-то мутное, желтое, зловещее, промежуточное между днем и ночью состояние, от которого на душе делается нехорошо. Пусто, ветер гонит бурные белогребенчатые волны, с гор ползут тучи дыма, а на море медно-зеленый, золотой жуткий отблеск. На набережной валяются сухие пальмовые ветки, город зловеще пустынен. Обратно ехали через такую тучу дыма, что дышать было трудно, пока вдруг внезапно не вырвались из дымовой завесы на свет и солнце. Горело уже подле Муан-Сарту и видно было пламя. На дороге стояли женщины с детьми на руках, подростки, мужчины толпой садились на камион, чтобы ехать тушить. Пахло тревогой, как когда-то в предэвакуационные дни. Все чаще поговаривают о возможном пожаре на нашей юре. И сейчас вся долина в дыму, горизонт внезапно прорывается красными языками. Рощина нет дома уже четвертый день — должно быть, попал куда-нибудь на пожар и увлекся приключениями. Говорят о каком-то замке, который горит, о каком-то городе, который спешно эвакуируют…

Мы по-прежнему ничего не делаем, несмотря на все благие намерения, тревожно и как-то неуютно. Мережковские вчера в Каннэ вопили о «последнем дне Помпеи» и, вообще, были в панике. Как ни смешно сказать, мысль о возможной опасности

меня почти веселит и возбуждает. Впрочем, вчера И.А. говорил то же самое. Это ведь какое-то происшествие, следовательно, новизна, праздничность, а мы, люди, это любим больше всего на свете.

Позавчера была Нина Берберова, одна, завтракала у нас. Потом мы вместе ездили в Пре-дю-Лак. Она много рассказывала о себе, о том, как начинала литературную деятельность в Петербурге, о Цехе поэтов, о Гумилеве и о его романах. По ее словам, он посвятил ей стихи, которые она тут же нам прочла. В них говорилось о девушке в белых одеждах, держащей в руках хрустальный шар, в котором отражается мир.

17 августа

Пожар прекратился. Вечером приехал Рощин. Конечно, он был с бойскаутами на пожаре и хотя и не тушил, но присутствовал при том, как тушили другие. Рассказывал какие-то небылицы о военном положении, о войне с Италией, об укреплении берегов… Днем ходили с И.А. в город, и он купил мне книжечку стихов де Ноай. Я возлагаю на нее некоторые надежды по части писания. Я не очень люблю эту поэтессу, но в ней есть крупинки возбудительного, а мне часто нужен какой-то крючочек, с которого начинается писание.

24 августа

Послала сегодня рассказ в «Последние Новости». Перепечатала его сама на машинке — печатаю я уже вполне прилично, только немного медленно. Ходили на почту втроем с В.Н. и И.А. Я вдруг подумала во время этой прогулки, что интересно было бы написать о Грассе, сделать его фоном романа или рассказа. Подумывала об этом и раньше, но сегодня как-то особенно творчески почувствовала интерес к нему. Было это в узкой живописной и грязной уличке старого города, наверное, ничуть не изменившейся со средневековья, где мы встретили дурачка Жозефа, обычно болтающегося по городу и всюду встречаемого нами: он в полуцилиндре — у него всякий раз новый головной убор — и с кистью винограда в руках важно кивнул нам, сказав с гримасой мимоходом: Yes — так как он, очевидно, принимает нас за англичан. А ведь здесь немало интересных фигур, которых я по лени или нелюбопытству не заношу в записную книжку, что жаль, конечно. Но я вообще делаю преступно мало, все время мучаясь этим. Последние дни перепечатывала свои стихи, сколола их в тетрадку и увидела, что их мало. За этот год написала пачку стихотворений (тоненькую) в четыре рассказа. И все жду какого-то таинственного времени,

когда можно будет работать напряженно, запоем, а сил на это все не хватает. Обычно я люблю писать осенью. С надеждой смотрю на голубые кроткие дни, стараюсь вдумываться, вглядываться в себя…

И.А. тоже не работает. Впрочем, его волнует история с «Возрождением», откуда он ушел из-за вынужденного ухода П. Струве. В доме по этому случаю бесконечные дебаты.

29 августа

Вчера получила открытку от Демидова[67]. Пишет, что рассказ мой получил и дал на прочтение редактору: ответит немедленно по получении ответа от него.

Вчера после прихода почтальона меня позвали в кабинет и там я застала горячее обсуждение только что полученного от Шмелева из редакции «Возрождения» письма. Шмелев пишет, что не уходит из газеты, национальный облик которой необходимо сохранить. Это превыше, как он пишет, личных счетов. В.Н., которая особенно горячо настаивала на уходе И.А., очень возмущалась этим письмом, находя его лицемерным, горячась, бранила Шмелева. Ей очень поддакивал Рощин. Я лишний раз изумилась, слушая его, количеству ежедневно повторяемых им по всяким поводам слов, вроде: сволочь, хамы, гнусность, черт знает что такое и т. д. Я предпочитаю не ввязываться в этот спор. Я понимаю все сложности, по которым ушел И.А., но ведь газета действительно остается без лучших сотрудников и погибнет, вероятно, как национальный орган.

Сегодня утром И.А. сказал мне в саду, когда мы по обыкновению вышли после кофе взглянуть на погоду:

«Что же это утра пропадают? Надо не ждать вдохновения, а идти садиться за стол и писать». И я послушалась его и пошла к себе. Его совет как нельзя более соответствует моим желаниям. Только за работой я чувствую себя истинно счастливой, укрытой от всех болезненных влияний, столь мучающих меня последнее время.

8 сентября

Вчера ездила в Канны и зашла к Берберовой. Просидели с ней часа два. Ходасевич был настроен мизантропически и появился на минуту, затем тотчас же ушел. Через час и мы с Ниной поехали пить чай в какой-то кондитерской. Она была очень разговорчива, доброжелательна и любезна, даже советовала, что именно надо посылать в «Последние Новости». На прощанье дала мне номер только что вышедшего «Нового корабля» — этого нового детища Мережковских. В то время, когда я была у Берберовой, наши

ездили в Ниццу и встретились со мной на вокзале. Рассмотрели с ними журнал: в нем стихи Берберовой, два рассказа Буткевича, этого таинственного протеже Берберовой, пасущего мифические стада где-то под Марселем и интригующего и собой и этими стадами все маленькое литературное царство. Эти рассказы — один посвящен Берберовой — очень экзотичны, пропитаны Гамсуном и Лондоном и несомненно талантливы.

Домой вернулись усталые и разошлись по своим комнатам чуть не в десять часов. А утром я проснулась раньше всех и долго думала, лежа в постели, о зиме и о том, что со мной будет, и о том, что я до сих пор писала. Чувствую, что избрала себе самый трудный и неблагодарный путь. В моем, лирическом, восприятии мира нет ни иронической гримасы Ходасевичей, ни «любовной презрительности», столь модной теперь. Моя простота никого не пленит, никого не отравит, а многим будет и скучна. Но что же делать? Ведь то, что я делаю, моя сущность. Вчера, например, Берберова говорила мне, что посылать в газету надо то, что я сама менее всего ценю в художественном отношении, что-нибудь «сюжетное», как теперь говорят. А я поступила наоборот и послала лирический этюд.

12 сентября

Сегодня день Александра Невского — день ангела покойного деда. Должно быть, отец и бабушка поедут на кладбище, а потом напишут, какой был день, как нашли могилу. Здесь же день, после вчерашнего дождя, великолепный, ослепительно яркий, резкий, осенний. Горы, приближенные мистралем, кажутся сделанными из темно-синего рытого бархата, море ясно-голубое, очень далеко видное. Город кажется необычайно близким к нашему саду. Я побыла в саду одну минуту, но все это как-то сразу резко запечатлелось во мне. Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрестанный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И.А. пишет у себя, капитан[68] где-то на верхних террасах сада, лежа на животе, покрывает большой лист мельчайшими неразборчивыми буквами, В.Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатываем всю рукопись «Арсеньева». Я ничего не пишу. Нет необходимого для писания запаса влюбленности в жизнь, в то, что пишешь. Наоборот: усталость и разочарование. Довольно много читаю по-французски и «Казаков», восхищенно дивясь вновь и вновь их простоте и прелести.

Дивлюсь, как могла я до сих пор не чувствовать, не

восхищаться, не влюбляться в здоровую, счастливую красоту этой повести? Нет, тут не только простота и счастье жизни, тут и какое-то колдовство, чистая магия, неизвестная нам. Откуда она берется? В чем она? В сочетании слов, в их подборе, чередовании? Сейчас как раз об этом пишет в своем романе И.А. Вчера давал читать мне главу о тех стихах и повестях, которые произвели на него неотразимое впечатление в детстве. Мы мною говорили с ним на эту тему летом, и я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал — была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.

Сейчас он пишет целые дни, а я и В.Н. печатаем на машинке написанное.

15 сентября

Вчера были гости — Мережковские и Ходасевичи. последние с прощальным визитом перед отъездом в Париж.

Опять был яркий, на редкость красивый день, все сидели в саду, ярко освещенном, вычищенном и выметенном накануне садовником и от этого нарядном, радующем осенней просторностью и праздничностью. Мы с И.А. и Берберовой ходили по дорожке, и я чувствовала, что Гиппиус, сидевшая под пальмой с В.Н., нас рассматривает. Мы отошли за мандариновые деревья и остановились там, разговаривая о стихах Берберовой, и туда к нам пришли Мережковский с Володей Злобиным[69], только что пришедшие, они завтракали где-то в городе внизу.

За чаем я рассматривала Гиппиус. Она сидела в кресле И.А. Всякий раз, когда вижу ее, дивлюсь ее щуплости, цыплячьей худобе, ее подслеповатым глазам и рыжим завитым волосам, завернутым с затылка на макушку, ее маленьким сухощавым рукам и перевязанной лентой шее. И несмотря на это, такая пунктуальность во всех действиях, такая аккуратность в почерке, в ведении своих дел, что диву даешься! Я мало знаю ее, ее неприязнь ко мне не позволяет мне рассмотреть ее поближе, но все же всякий раз она меня чем-то болезненно поражает.

23 октября

Очень жаль, что ничего не записывала о своей работе. Сегодня хотела вспомнить, когда начала вторую часть романа, и не могла. Кажется, с неделю назад или что-то в этом роде. Первая глава второй части далась мне нелегко. Писала ее кусочками и несколько раз переделывала, то сжимала, то расширяла. Теперь, кажется, ничего, хотя все еще есть какое-то не вполне

удовлетворительное ощущение. Хотелось, чтобы было и сильно, и не сентиментально, и вместе с тем трогательно. Вообще, писать о периоде жизни при отчиме необыкновенно трудно.

24 октября

Во вчерашнем номере «Дней» напечатан мой рассказ.

27 октября

Последнее время выходило все так, что я была очень занята домашней работой, т. к. В.Н. слаба и делать почти ничего не может, старуха Мари одна справиться в несколько часов со всем домом тоже не может, да и делает все с убийственной медленностью, а тут рожденье и именины И.А., гости, отъезд капитана, как-никак помогавшего мне. Ходила на базар, убирала дом, готовила завтрак, чай, мыла посуду и ничем другим заниматься уже не могла. Кроме того, у меня есть очень невыгодное для себя самой свойство — бросаться на всякое дело с каким-то изнуряющим жаром и рвеньем, и потому не диво, что я к концу дня пьянею от усталости. Давно не писала и как-то отвыкла и словно утомилась писанием о прошлом; впрочем, вероятно, это отчасти и оттого, что я слишком много сил отдаю роману И.А., о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и некоторые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого, по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу.

31 октября

Вчера, по случаю великолепного дня, поехали с И.А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Каннэ долго ходили по горе: «искали виллу» — это любимейшее занятие вот уже несколько лет у И.А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат. со старинной деревянной мебелью и обоями, «высохшими от мистралей», где-то на высоте, над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутые, — дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместье, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну,

запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на пас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление… И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада…

В автобусах, в трамваях везли целые снопы цветов:

белых восковых тубероз, похожих на пуки церковных свечей, тонко и крепко пахнущих; пушистых пестрых хризантем, точно утомленных собственной пышностью и изобилием. Через день праздник Всех Святых.

Сегодня начала перепечатывать первую книгу «Арсеньева».

8 ноября

Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и треть второй, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И.А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

9 ноября

Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А., по обыкновению, ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен, — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В.Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И.А., а она за все двадцать лег жизни рядом не может примириться с ним.

Сегодня провела день в приведении себя в порядок я была прямо невменяема все эти дни работы. Комната была не убрана, и я тоже. Усиленно чистила все и чистила свои «перышки», по выражению А. Толстого. На дворе сыро, мягко, все время моросит дождь. Я еще не выспалась, и вообще все мы вялые. И.А. ни о чем, кроме книги, говорить не может и ходит в сомнамбулическом состоянии.

Завтра предстоит завтрак у Мережковских и чтение дневника З.Н., колеблющейся перед печатанием его и просящей совета. Ее пугает то, что после появления в печати этого дневника (дело

Корнилова и Керенского, осень семнадцатого года) ей придется «сжечь свои корабли по отношению к эсэрам».

Должна ехать на этот прощальный завтрак — они уезжают в Париж — и я, как это ни неожиданно. После нашей последней встречи в Каннах, когда З.Н. впервые обратилась ко мне с несколькими вопросами, В.Н. получила письмо, в котором среди прочих фраз было приглашение и мне, «хотя она и известная дикарка». Наши посоветовали мне ехать, говоря, что это может быть интересно, и я согласилась.

10 ноября

Были и слушали. Посещение знаменательное и даже довольно волнующее. Множество новых впечатлений и от виллы, очень чистой, нарядно, даже с некоторой кокетливостью убранной (ковры, кретоновые абажуры в розах, мягкая мебель и хризантемы в вазе на камине), от хозяев в домашнем быту: Мережковский в драповом халате, ходит бочком, горбясь, она, кутаясь в шали и платки, протягивается в креслах, и наконец от чтения, во время которого хозяин удалился к себе, — ничто не может нарушить привычек обитателей этого дома.

После завтрака (макароны, баранина с кашей, пирожки, сыр и печеные яблоки с вареньем и ко всему этому один маленький графинчик приторно-сладкого белого вина) перешли в гостиную, куда полногрудая, с черными как вакса волосами и первобытной улыбкой итальянка-горничная подала кофе. Володя[70] принес хозяйке папиросы, изящный дамский мундштук и зеленую папку, в которой оказалась аккуратная стопка скрепленных пачками белых листов, перепечатанных на машинке. Мы сели, и чтение началось. Обычно я плохо переношу чтение вслух и часто отвлекаюсь в первые же пять минут. Но здесь мне не пришлось отвлекаться. Дневник оказался очень интересным. В нем ярко выступает автор, хотя о себе он почти не упоминает. Керенский написан настолько художественно, что я, никогда в жизни его не видавшая, ощутила его как живого человека. Ярко передано и то сумбурное, жуткое время и передано при помощи очень простых скромных слов (без утрировки и почти без обычных для Мережковских восклицаний).

Меня, конечно, больше всего пленила в этом дневнике его художественность, позволяющая видеть политические события в виде обычных картин человеческой жизни. По одной, двум чертам обрисовываются люди и положенья. Таков Зензинов[71], сидящий как сыч у Амалии[72], обложенный газетами; таково утро, когда Керенский объявляет разинувшим рот министрам о том, что Корнилов ведет войска на Петроград; таков разговор с

Корниловым по прямому проводу и вообще то время, когда обыватель ничего не понимал, а посланные Керенским войска шли на защиту Петрограда против войск Корнилова, шедших тоже на защиту Петрограда. «Кровопролития не вышло никакого. Недоумевающие войска постояли, постояли друг против друга, затем, вспомнив уроки полковых агитаторов о том, что с врагом надо брататься, принялись усиленно брататься».

Своеобразна манера чтения: скороговоркой, вполголоса, точно актриса на генеральной репетиции, не дающая полного голоса, с короткими недоговариваемыми пояснениями в сторону, чтобы избежать длиннот, и только в местах значительных, требующих от слушателей особого внимания и эмоций, — повышение, медлительность, почти скандированье, упор на слова и даже на целые фразы.

Мы много говорили об этом дневнике в поезде, возвращаясь домой. Все сходились на том, что это лучшее из того, что написано Гиппиус. «Воображаю, что у нее там еще понаписано, ведь она прочла нам сотую долю!» — сказал И.А.

А в общем сегодня я впервые почувствовала в Гиппиус не только молодящуюся чудачку с ведьмовским началом в натуре: я поняла, что у нее можно многому учиться и с нее надо кое в чем брать пример.

17 ноября

Живу какой-то ненастоящей жизнью — раздвоенной, фантастической. Переписываю константинопольский дневник. Работаю над этим с утра до вечера, и, когда снизу раздается обычное — «Обедать», — пробуждаюсь и бегу с растерянным лицом.

Вижу по этому дневнику, как была беспомощна в выражении своих чувств, как наивны, детски требовательны были эти чувства. Приходится многое выпускать, потому что это ничего не выражает, ничего не рисует. Но зато все описания хороши, что меня очень поражает. Уже было чувство меры, чутье, очень верные определения. Эта работа увлекает меня. Понемногу передо мной проходит моя жизнь, которая всегда мучила меня своей «несказанностью» (по Гиппиус). Я порой теряю чувство действительности: что было тогда, что теперь? Но не я одна так живу: И.А. пишет и живет прошлым. В.Н. пишет род дневника о их странствованиях, и все мы не живем настоящим. А на дворе без конца льет дождь, рано смеркается, и это еще увеличивает фантастичность нашей жизни.

Прочла сегодня у Сологуба:

Быть с людьми — какое бремя!
О зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?

2 декабря

Отвратительная погода, и жизнь точно в осаде из-за непрекращающихся дождей, тьмы и грязи. Я все время точно в оцепенении, все время хочется спать. Послала вчера в два места стихи и уже жалею. И.И. в письме к И.А. между прочим пишет, что мой рассказ «Утро» очень хвалят, но у меня такое чувство, будто это не обо мне; что писал кто-то другой, а я ничего писать не в состоянии. Приходят неприятные мысли о том, нужно ли писать вообще. Как работал этим летом И.А., как убивался над своим «Арсеньевым»! А теперь вот Кульман[73] находит, что «много рассуждений», и напоминает ему в письме, что «художник мыслит образами»…

Да и все другие все чужое бранят, читают только свое, а прочих жестоко критикуют. А «широкая публика»… Где она, кто она? Может быть, она была в России. Здесь же все в каких-то семейных размерах. Кто-то сказал: литературный курятник.

Из письма Фондаминского по поводу «Арсеньева»:

«Думаю, что ваш роман — событие в истории русской литературы. С точки зрения современного читателя, однако, в нем есть недостатки: отсутствие занимательности, недостаток событий, некоторая риторичность. В этом вас, может быть, будут упрекать. Впрочем, вы предпочли писать для вечности, и я вас понимаю…»

5 декабря

И.А. дал мне пачку своих стихов для тою, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятаний себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего

обнаженья души.

7 декабря

Опять дождь. Вчера писала стихи. Сегодня все утро убирала комнаты с новой прислугой. И.А. вялый, подавленный, заперся у себя и голоса не подает. Вчера было письмо от Кантора, взял у меня одно стихотворение для «Звена». Сегодня за завтраком читалось вслух письмо Гиппиус. Литературный Париж нарисован с большой талантливостью.

Чувствую себя посредственно. Голова действует поспешно и беспорядочно. Однако стараюсь заниматься. Вчера взяла открытку с головой Мадонны и стала рисовать ее стихами. Вышло следующее:

В косынке легкой, голову склонив,
Она глядит покорными очами
Куда-то вниз. За узкими плечами
Пустая даль и склоны темных нив.
И городской стены зубчатый гребень,
Темнеющий на светло-синем небе.
Она глядит, по-детски рот сложив,
И тонкий круг над ней сияет в небе.

12 декабря

…Шли по парку, полному пальм, кактусов, самой разнообразной формы, похожих то на гигантских инфузорий, то на пресмыкающихся, то на толстые зеленые подошвы, утыканные иглами. Восхищались великолепными агавами, имеющими форму громадных роз или тюльпанов зеленого цвета. Я остановила И.А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и скачал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразить! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева, покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Апельсиновое дерево для меня что-то чудесное. Я всегда, представляя себе Рай и то дерево, с которого сорвала плод Ева, представляла себе его, а не безобидную северную яблоню. Сказала об этом И.А… он с жаром подтвердил: «Конечно. Ведь сказано просто — сорвала плод, а не

яблоко, это уже прибавили потом, да и вообще плод надо понимать символически…»

Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

«Не могу видеть этого дерева спокойно, — сказал он, — как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины в полусне, в дремоте… да именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром… Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!»

Да, в нем есть какая-то волшебная сила. Кажется, уже все знаешь, весь этот южный мир знаешь, живешь в нем, а он несколькими случайными словами создает волшебный мираж, страну, нигде не существующую, сказочную более прекрасную, чем подлинная, потому что она не сам мир, а его волшебное отраженье.

18 декабря

Вера Николаевна разбудила нас криком «Снег!» Я сейчас же вскочила и открыла окно. На крыше навеса, на бамбуках, на пальмовых ветках белел снег, волна Эстереля была вся белая, — все приобрело новый, незнакомый, немного странный вид и будило воспоминанья. Я, выпив кофе, опять легла, так как эту ночь плохо спала, но заснуть мне не удалось, я только лежала, закрыв глаза и о чем-то смутно думая. Сейчас солнце. Снег, однако, не тает, даже немного морозно. Мы собираемся идти гулять. Этот неожиданный снег, солнце, белизна и блеск, душистый холодный воздух возвращают меня в прошлое, но уже с теперешней обостренностью чувств и жадностью к жизни воспринимаю я это прошлое…

19 декабря

В окнах немецкий рождественский пейзаж: белая гора и под ней тесно слепленный городок с аккуратно присыпанными снегом черепичными крышами и четырехугольной башней. Над ним серое зимнее небо. Зелень деревьев почти обесцветилась и производит не большее впечатление, чем ели под снегом. В неприспособленном для таких неожиданностей доме очень холодно. Краснощекая Анжелика, кажется, втайне приписывает эти северные неприятности нам, у которых на родине всегда такая погода… Всюду так холодно, что мы сегодня завтракали в кухне, где теплее всего. И.А. не снимает с себя пальто, а В.Н. говорит, что ее больше не заманишь проводить зиму на Ривьере.

Вообще наше благополучие понижено.

Больше всех страдает от холода И.А. Он вообще расстроен, его мучают мысли о книге. Сегодня прислали корректуру, он с самого утра сидит над ней.

22 декабря

Настроение всего дома поднялось. Фондаминский прислал письмо, в котором предлагает издать «Арсеньева» при «Современных Записках», что очень выгодно. Главное же из этого письма стало понятно, что роман возбуждает интерес и что все вовсе не так безнадежно, как представлялось И.А. Правда, И.А. колеблется, говорит что написаны всего две части, что нельзя давать согласия не имея ничего в руках… но уже чувствуется в нем поворот, оживленье, может быть, интерес к писанью. Днем ходили с ним в город и говорили об этом. Илюша уезжает на месяц в Египет, и вилла будет свободна до февраля. Поэтому решено в Париж сейчас не ехать, может быть, он будет опять работать. К сожалению, погода отвратительная, дождь без перерыва. Странно думать, что мы на юге.

25 декабря

Ходила в ротшильдовский парк за цветами: их очень мало после ненастной погоды, но все-таки наломала мимозы, бутонов красных роз и веток какого-то тверделистого дерева с кистями цветов, пахнущих орехами. Запах его очень любит И.А. Было так тепло, что пальто стесняло. А между чем сегодня первый день католического Рождества. Опять смотрела на блещущее солнцем море, на голубые дали и думала, что юг без солнца немыслим. А вчера были в Ницце, хотели посмотреть на чужой сочельник, но ничего не вышло. На улицах была обычная ниццкая толпа, в кондитерских также пили чай и ели пирожные англичанки. Закончив кой-какие дела, мы поехали в Канны, где обедали в ресторане. К сожалению, кроме нас там никого не было, и лакеи готовились к ночи: уставляли стол дичью, расстилали скатерти и на нас смотрели как на чудаков. К моему огорченью, В.Н. и И.А. были как-то раздражительны, мрачны, и потому мне стало грустно. После обеда вышли на набережную, и я, отойдя от них, постояла несколько минут у перил над морем, глядя в неприветливую морскую даль, слушая глухие удары волн. В порту на яхтах горели гирлянды разноцветных огней, большие окна казино, задернутые изнутри красным в цветах шелком, были освещены, вверху в черно-синем сухом небе блестели необычные праздничные звезды, а море шумело, разливаясь в полутьме по берегу светящейся ценой. И я вдруг вспомнила о затонувшей

подводной лодке, которую все эти дни пытались безуспешно спасти и не спасли. Я представила себе эту лодку — стальной гроб — в страшной глубине, среди черной ледяной воды, медленное, страшное ее раскачивание…

26 декабря

День газет. Пришли все рождественские номера и несколько журналов. Сначала читали вместе в кабинете И.А., потом отдельно в своих комнатах, и неудивительно, что у меня болит голова.

В «Днях» и «Последних Новостях» вещи И.А. Он внутренне недоволен этим. Но все же ему должно быть приятно, что его печатают всегда с таким чувствующимся почитанием. Его рассказ «Спутник» настоящая маленькая драгоценность, нежная и тонкая.

Читая в «Днях» рассказ Слонима «Рождество в Важце», я очень ярко вспомнила Прагу и встречу Нового года у пана Гала в Богемии. Я уже пыталась написать это, но не нашла верного тона. Но когда-нибудь непременно напишу. Как пахло великолепными красными яблоками в спальне «пана жидителя», которую он уступил мне! Какой морозный седой был этот последний вечер старого года! И какой старый мед в длинных старомодных бокалах с золотыми прожилками. Вес мы тогда были студентами… Жив ли сейчас «пан жидитель»? Все провалилось куда-то. Но я напишу, непременно напишу это когда-нибудь!

Внизу шум: это И.А. закрывает ставни. На дворе непрекращающийся шум дождя. Это просто невыносимо!

27 декабря

Читаю дневник Лоти. Это мое любимое чтение — подлинная жизнь людей. Дневник Лоти не Бог весть какой, но все же я читаю его собственную жизнь и радуюсь. Поразило одно: по собственному его признанью, он целыми годами не брал книги в руки. Как же он писал? В.Н. сказала по этому поводу, что у него была такая древняя культура в крови, что внешняя ему уже была почти не нужна. Вес это хорошо, но вес же…

30 декабря

Были в гостях Пилкины с сыном Колчака. Они милые симпатичные люди. Девочки принадлежат к новому народившемуся в эмиграции типу: ученые, увлекающиеся богословием, классиками. Старшая особенно мила бойкостью, живостью, застенчивой готовностью всякую минуту отвечать на вопросы старших.

И.А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно

любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

[…]

Примечания

Лишь небольшие фрагменты бунинских дневников остались в России — с 1 августа 1917 г. по 18 февраля 1918 г., а также с 16 (29) апреля по 14 мая 1918 года. Они даются по текстам, подготовленным А. К. Бабореко для 6-го тома Собрания сочинений Бунина в шести томах (М., Худож. лит., 1988). Автографы их хранятся в Отделе рукописей РГБ (фонд Н. П. Смирнова-Сокольского).

В особый раздел вынесена книга публицистики, написанная в форме дневника «Окаянные дни», охватывающая 1918–1919 гг. Эти тексты печатаются по изданию: Бунин И. А. Окаянные дни. Лондон; Канада, 1984.

В отдельных случаях, когда предоставлялась возможность, купюры, сделанные составителем трехтомника, восстанавливаются по книге В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина. 1870–1906» (Париж, 1958).

Бунин вел дневники в течение всей своей долгой жизни. Часть их была им уничтожена, часть дневников одесского периода закопана перед отъездом из России. О некоторых своих ранних записях сам он заметил: «Переписано с истлевших и неполных заметок того времени» (Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. С. 27).

Дневники 1881-1953

Основным источником издания дневников Бунина по-прежнему остаются три тома: «Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы», под редакцией Милицы Грин (Франкфурт-на-Майне, 1977–1982). Именно г-же Грин был передан архив Буниных после кончины их наследника Л. Ф. Зурова. Теперь рукописи бунинских дневников за 1881–1953 гг. находятся в Шотландии, в Лидском университете и пока для нас недоступны[74].

Мы отдаем дань большой работе, проделанной доктором Милицей Грин, но не можем согласиться с ее произвольным вмешательством в текст дневников Бунина при их публикации. Во-первых, по непонятной логике, г-жа Грин соединила (день за днем) дневники самого Бунина с дневниками его жены Веры Николаевны, добавив туда же и некоторые письма, а также отрывки из позднейших книг В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью». Во-вторых, она произвела в тексте многочисленные купюры, оставив нас в неведении, что скрывается за ними. Купюры эти явно не ограничиваются крепкими «народными» выражениями, к которым так любил прибегать Бунин. В тех очень редких случаях, когда нам удавалось восстановить полный текст (например, произвольно оборванная г-жой Грин запись о поэте Аполлоне Коринфском от 23 февраля 1916 г., которую жена писателя приводит в полном виде в своей книге «Жизнь Бунина»), выходило, что выброшены самые сочные и любопытные подробности.

Только в самое последнее время может появиться возможность обратиться наконец к подлинникам, ранее не систематизированным. В декабре 2000 г. вышел подготовленный сотрудниками Русского архива при Лидском университете под руководством проф. Ричарда Дэвиса каталог архивов И. А. и В. Н. Буниных, а также их наследника Л. Ф. Зурова[75].

это была барышня маленького роста с светлыми волосами… — В «Записях Бунина» о 1885 г. читаем: «На Рождество приехал домой через Васильевское, Эмилия Васильевна Фехнер, гувернантка Туббе. Тотчас влюбился. В гимназию больше не вернулся» (цит. по: Бабореко А. К. И. А. Бунин: Материалы для биографии, 2-е изд. М.: Худож. лит., 1983. С. 12). Раннее увлечение Фехнер оставило след в душе Бунина. В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает: «В 1937 году, когда Иван Алексеевич был в Ревеле, столице Эстонской республики, после вечера, где он выступал, подошла к нему полная, небольшого роста дама. Это

была Эмилия!.. Они долго говорили… Обо всех расспрашивала подробно. Иван Алексеевич взволнованно рассказал мне об этой встрече. Вспоминал он Эмилию и их неожиданную встречу и незадолго до смерти» (Жизнь Бунина. С. 41–42).

Жуковский В. А. (1783–1852) — поэт, один из основоположников русского романтизма. Внебрачный сын помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи; получил отчество и фамилию от крестного отца — помещика Жуковского.

…стихом размерным и словом ледяным не передашь… — Бунин неточно цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Не верь себе».

Юлий живет в Озерках — под надзором полиции… — Ю. А. Бунин (1857–1921), старшин брат Бунина, оказал на него огромное влияние. Окончив с золотой медалью гимназию, поступил на физико-математический факультет Московского университета, где ему прочили блестящую будущность. Еще в гимназии сблизился с революционерами-народниками и в 1881 г. был исключен из университета за участие в подпольных кружках; университетский курс заканчивал в Харькове. В 1884 г. был арестован в Озерках по доносу соседского помещика Логофета, провел год в тюрьме, а затем был отправлен под надзор полиции в родительское имение. После того как Бунин бросил елецкую гимназию, старший брат много занимался с ним, развивал его интересы и относился к нему, по словам писателя Н. Д. Телешова, «почти как отец».

Маша — сестра Бунина Мария Алексеевна (1873–1930), в замужестве Ласкаржерская.

…приехала в Огневку В. — Речь идет о В. В. Пащенко (1870–1918), мучительный роман с которой, закончившийся в 1894 г. разрывом, оставил неизгладимый отпечаток в душе Бунина; вызвал к жизни позднейший рассказ «В ночном море» (1924) и образ Лики в романе «Жизнь Арсеньева».

Волкенштейн А. А. (1852–1925) — земский врач, жил в Полтаве и помогал Л. Н. Толстому в закупке продовольствия для голодающих.

…бегство В<ари>. — 4 ноября 1894 г. В. В. Пащенко уехала из Полтавы, где они жили с Буниным, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом» (Бабореко. С. 45). В следующем году она вышла замуж за приятеля Бунина А. Н. Бибикова.

Евгений — Е. А. Бунин (1858–1935), брат Бунина.

Мясоедов Г. Г. (1835–1911), художник, один из основателей Товарищества передвижников.

Михайловский Н. К. (1842–1904) — публицист и литературный критик, редактор журн. «Русское богатство»,

крайний сторонник позитивизма.

Кривенко С. Н. (1847–1907) — публицист либерально-народнического направления, член редакции журн. «Русское богатство».

Жемчужников А. М. (1821–1908) — поэт. Бунин высоко ценил его творчество и посвятил 50-летию литературной деятельности Жемчужникова статью «Поэт-гуманист» (журн. «Вестник воспитания». 1900. № 3). В книге В. Н. Муромцевой-Буниной читаем: «Нанес он визит и поэту Жемчужникову, с которым несколько лет состоял в переписке. Жемчужников сразу оценил его стихи и помогал на первых порах устраивать их в «Вестнике Европы». Старший собрат принял молодого поэта с распростертыми объятиями, пригласил обедать и много рассказывал о прошлом» (Жизнь Бунина. С. 91).

Бальмонт К. Д. (1867–1942) — поэт, один из вождей русского символизма; в эмиграции сблизился с Буниным.

Брюсов В. Я. (1873–1924) — поэт, прозаик, переводчик, один из зачинателей русского символизма; принял Октябрьскую революцию.

Эртель А. И. (1855–1908) — прозаик, романист, бытописатель русской деревни. Бунин высоко ценил творчество Эртеля и посвятил ему главу в книге «Воспоминания».

Чехов А. П. — кумир бунинской молодости, один из самых любимых писателей, с которым к тому же Бунина связывали близкие отношения. Бунин посвятил ему (оставшуюся неоконченной) книгу «О Чехове» (см.: Собр. соч.: В 6 т. Т. 6).

Федоров А. М. (1868–1949) — поэт, беллетрист, драматург; приятель Бунина.

Будищев А. Н. (1867–1916) — беллетрист, писавший под сильным влиянием Чехова и Достоевского.

Ладыженский В. Н. (1859–1932) — беллетрист, был близок с Чеховым и оставил о нем воспоминания.

Михеев В. М. (1859–1908) — поэт и беллетрист, бытописатель Сибири.

Потапенко И. Н. (1856–1929) — беллетрист, получивший широкую известность после появления повести «На действительной службе» (1890), где выведен «идеальный» священник о. Кирилл Обновленский, ведущий в народе широкую филантропическую деятельность.

Баранцевич К. С. (1851–1927) — второстепенный беллетрист.

Гиппиус З. Н. (1869–1945) — поэт-символист, жена Д. С. Мережковского, автор воспоминаний «Живые лица».

Мережковский Д. С. (1865–1941) — поэт, исторический романист, критик, идеолог русского символизма и религиозный

мыслитель; в эмиграции Мережковские в течение ряда лет находились в близких отношениях с Буниными.

Минский (Виленкин) Н. М. (1855–1937) — поэт-символист.

Савина М. Г. (1854–1915) — русская актриса.

Елпатьевский С. Я. (1854–1933) — писатель, публицист, представитель народнической литературы.

Давыдова А. А. (урожд. Горжанская; 1848–1902) — издательница журн. «Мир божий».

Муся — дочь Давыдовой Мария Карловна, в первом замужестве Куприна, во втором Иорданская (1881–1966), издательница журнала после смерти матери, автор книги воспоминаний «Годы молодости» (М., 1966).

В. Н. Муромцева-Бунина в своей книге рассказывала: «В этот приезд у него (т. е. Бунина. — *О. М.*) заводятся знакомства среди молодых писателей: Федоров, поэт, романист, впоследствии и драматург, очень в себе уверенный сангвиник, подвижный, любящий путешествия; поэт и левый земский деятель Ладыженский, — милый наш Володя, человек редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии; Михеев, необыкновенной толщины… знаток иностранной литературы, очень образованный и умный сибиряк; Будищев… Потапенко, — с ним я познакомилась в каком-то петербургском ресторане, куда мы однажды поздно ночью заехали с Иваном Алексеевичем. Он сидел один и пил красное вино. Меня поразил его странный синеватый цвет лица. А в пору их первых встреч он был красив, молод, хорошо пел, имел большой успех в литературе и у женщин.

Младшая дочь Давыдовой, еще совсем молоденькая, с горячими глазами, живая брюнетка, очень остроумная, вечно хохотавшая Муся, Бунину понравилась, и они подружились «на всю жизнь». У них или в редакции «Русского богатства» они познакомились с Елпатьевским, писателем, врачом и политическим борцом, побывавшим в сибирской ссылке, человеком большой привлекательности. Его дочь Ледя, или Людмилочка, подруга Муси, в первый год знакомства с Буниным еще была гимназисткой. И они тоже подружились «на всю жизнь» (Жизнь Бунина. С. 95–96).

М. В. — «Вера Николаевна не могла раскрыть эти инициалы» (Устами Буниных. Т. 1. С. 350, примеч.). Отзвук на это мы находим в записи Г. Н. Кузнецовой: «И. А. вчера вечером рассказывал измену Арсеньева Лике в Кременчуге с некоей Марьей Васильевной, женой члена суда» (Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон, 1967. С. 294).

Станюкович К. М. (1843–1903) — писатель, автор «Морских

рассказов».

Миров — сценический псевдоним оперного певца В. С. Миролюбова (1860–1939), ставшего затем редактором-издателем популярного «Журнала для всех».

Мамин — настоящая фамилия писателя-романиста Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852–1912).

Лопатина Е. М. (1865–1935) — писательница (псевдоним — К. Ельцова), роман которой «В чужом гнезде» редактировал Бунин.

Как вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина, «самая большая дружба конца этого года и первой половины 1898 была у него (т. е. Бунина. — *О. М.*) с Катериной Михайловной Лопатиной. В журнале «Новое слово» начал печататься ее роман, и они вместе читали корректуру… У нее был несомненно художественный талант, только она не умела в полной мере им овладеть… Она рассказывала: «Бывало, идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: «Вот вы все смеетесь, не верите, а вот увидите, я буду знаменит на весь мир!» Какой смешной, — думала *я…»*

Вспоминала она об этом, гостя у нас на Бельведере, в Грасе, после получения Иваном Алексеевичем Нобелевской премии» (Жизнь Бунина. С. 105, 107).

Думал о Святополке Окаянном… — Святополк I Окаянный (ок. 980-1019) — князь туровский (с 988), киевский (1015–1019), старший сын Владимира I. В борьбе за киевский стол убил трех своих братьев — Бориса, Глеба и Святослава. Изгнан Ярославом Мудрым; в 1018 г. с помощью поляков и печенегов вновь завладел Киевом, но был разбит.

Куприн А. И. (1870–1938) — писатель, друживший с Буниным; Бунин посвятил ему одну из глав в своей книге «Воспоминания» (см.: наст. изд.).

Карташов А. В. (1875–1960) — министр религий во Временном правительстве (1917), профессор Духовной академии, историк русской церкви и общественный деятель.

Цакни Н. П. — богатый одесский коммерсант, владелец и фактический редактор газ. «Южное обозрение», в которой сотрудничал Бунин.

Цакни. А. Н. (1879–1963) — дочь Н. П. Цакни, первая жена Бунина, с которой он обвенчался 23 сентября 1898 г. Брак оказался неудачным и окончательно распался в 1900 г.

…играла «В убежище сюда…» — Речь идет о романсе Бенжамена-Луи-Поля Годара (1849–1895), французского композитора и скрипача «В убежище сюда направил нас

Господь…».

Беба — Б. Н. Цакни, брат Анны Николаевны.

Златовратский Н. Н. (1845–1911) — писатель народнического направления.

Лохвицкая Мирра (Мария Александровна; 1869–1905) — поэтесса, сестра писательницы Н. А. Тэффи.

Доктор Рот — «специалист по нервным болезням, убедивший Бунина отдохнуть в деревне» (Устами Буниных. Т. I. С. 351).

Поссе В. А. (1864–1940) — литератор и издатель, редактор журн. «Жизнь».

Куровский В. П. (1869–1915) — художник, хранитель Одесского музея. По воспоминаниям Муромцевой-Буниной, «Иван Алексеевич очень ценил Куровского и несколько лет был просто влюблен в него. После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему стихотворение «Памяти друга», где поэт объясняет, чем Куровский был ему так близок…» (Жизнь Бунина. С. 113).

Кульман Н. К. (1871–1940) — философ-идеалист и критик. Близкий знакомый Буниных в эмиграции.

Березина (О. М. Соловьева) — ялтинская знакомая Чехова, владелица имения Су-Ук-Су в Крыму.

…умер Соловцев… Оч<ень> болен Толстой… — Соловцев Н. Н. (Федоров) (1856–1902) — артист, в 70-х гг. играл в Таганрогском театре, где с ним познакомился Чехов; позднее играл в театре Корша и театре Абрамовой. Чехов посвятил ему водевиль «Медведь». О смерти Соловцева Чехов сообщает в письме жене О. Л. Книппер от 15 января 1902 г.; о тяжелом заболевании Л. Н. Толстого («Т<олстой> очень плох… Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо») в письме ей же, от 27 января 1902 г.

…«Осенью» Бунина… — В письме О. Л. Книппер от 31 января 1902 г. Чехов сообщает: «Осенью» Бунина сделано несвободной, напряженной рукой, во всяком случае купринские «В цирке» гораздо выше». О приезде Горького в Крым Чехов извещает О. Л. Книппер в письме от 12 ноября 1901 г.

Нилус П. А. (1869–1943) — художник и писатель, приятель Бунина. См. о нем статью «Памяти Нилуса» (Собр. соч.: В 9 т. Т. 9).

Ярцев Г. Ф. (ум. в 1918) — врач, художник-любитель; в его доме в Крыму первое время жил Чехов.

Найденов (Алексеев С. А.; 1868–1922) — драматург, приобрел широкую популярность пьесой «Дети Ванюшина», показывающей конфликт «отцов и детей» в купеческой среде. Так, служивший приказчиком в магазине готового платья Алексеев получил

Грибоедовскую премию и стал драматургом. Из-за возникшей дружеской близости Бунина и Найденова Чехов называл их «Пунин и Бабурин».

«Бунин почему-то в Новочеркасске». — В Новочеркасске жила в это время сестра Бунина М. А. Ласкаржевская, у которой находилась их мать.

Голоушева Е. И. — певица, жена писателя и врача С. С. Голоушева (Сергея Глаголя).

Софья Павловна — Бонье С. П. (ум. в 1921), ялтинская знакомая Чеховых.

Буковецкий Е. И. (1866–1948) — художник, приятель Бунина.

Уточкин С. И. (1876–1916) — спортсмен и один из первых русских авиаторов.

…отъезд с Верой в Палестину. — В 1906 г. Бунин познакомился с В. Н. Муромцевой (1881–1961), которая стала его женой. Вместе с ней он в 1907 г. совершил путешествие в «святую землю». Впечатления от этой поездки легли в основу написанных позднее рассказов и очерков о Востоке, объединенных затем в сборник «Тень птицы» (Париж, 1931).

…сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. — Согласно Евангелию, Христос повелел бесам, овладевшим человеком, выйти из него и войти в стадо свиней: «и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло» (Евангелие от Луки, гл. 8).

…мы с Колей… — Пушешников Н. А. (1882–1939), племянник Бунина, переводчик Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона. Оставил о Бунине воспоминания.

Таганок милый, трогательный… — В это время (3–8 июля 1911 г.) Бунин работает над рассказом «Сто восемь» (позднее названным «Древний человек»), в котором отразились впечатления от встреч с Таганком.

Николай Осипович — Н. О. Ромашков, домашний учитель Бунина, о котором рассказано в «Автобиографической заметке» (см.: Собр. соч.: В 6 т. Т. 6).

Конфуций (ок. 551–479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель, основатель этико-политического учения конфуцианства.

Придет время… — Как и следующий «стих» («Три сестры жили, три Марии Египетские были…»), использован Буниным в рассказе 1913 г. «Я все молчу».

Читал биографию Киреевского. — Очевидно, биографию братьев Киреевских — И. В. Киреевского (1806–1856), философа, публициста и литературного критика, и П. В. Киреевского (1808–1856), фольклориста, археолога, археографа, переводчика и публициста; см.: Лясковский В. Братья Киреевские. Спб., 1899;

Князев Г. Братья Киреевские. Спб. 1898.

Что за прелестный человек. Яков… — Некоторые черты Якова отразились затем в герое рассказа «Божье древо» (1927) Якове Нечаеве.

Перебирали с Юлием… «тронувшихся» в нашем роду… — Здесь обнажается автобиографическая основа повести Бунина «Суходол» и ее героев, в которых течет «бунинская кровь», с их «странностями» вымирочного «рыцарского» сословия.

Вольное (Владимиров) И. Е. (1885–1931) — писатель, участник революционного движения (социалистов-революционеров).

Начал «Человека»… — по всей вероятности, рассказ «Братья».

…никаких муратовских сатиров… — Речь идет о книге «Образы Италии», т. II (Рим, Неаполь и Сицилия) (М., 1912) искусствоведа П. П. Муратова (1881–1951).

…рассказ «Неизвестный». — Речь идет о замысле рассказа «Казимир Станиславович» (1916).

…в Марфо-Мариинской обители на Ордынке… — Домовая церковь Св. мироносиц Марфы и Марии была построена в начале нашего века по проекту архитектора Щусева для Марфо-Мариинской общины, где содержались увечные воины, на средства великой княгини Елизаветы Федоровны. Впечатления от посещения московских уголков, церквей и соборов, в том числе и Марфо-Мариинской обители, позднее отобразились в рассказе «Чистый понедельник» (1944).

Зачатьевский монастырь — женский монастырь XV в. в Москве, между ул. Остоженкой и берегом реки Москвы. В 1930-х гг. разобран. *Чудов монастырь* — Алексеевский Архангело-Михайловский мужской монастырь в Кремле был основан в 1365 г. Разобран в 1930-е гг.

Вифания — Спасо-Вифанский мужской монастырь; основан в 1783 г.; находился в 3 верстах от Троице-Сергиевской лавры. После 1917 г. упразднен.

Читал свое воззвание о евреях. — Обращение в защиту евреев было написано М. Горьким при участии Леонида Андреева и Федора Сологуба в связи с обвинениями евреев, живших в приграничных областях, в шпионаже и напечатано в газ. «Биржевые ведомости» (1915. № 146448). Позднее М. Горький выступил с обращением в защиту евреев в сборнике «Щит» (Пг., 1916).

Трубецкой Е. Н. (1863–1920) — религиозный философ, друг и последователь В. Соловьева, правовед и общественный деятель, князь.

Авилова Л. А. (1865–1942) — друг Чехова и, по утверждению

ряда исследователей, его главная потаенная любовь. Писательница, автор воспоминаний о Чехове. Бунин неизменно высоко ценил Авилову, видя в ней редкостную натуру с глубокой внутренней духовной жизнью. В мае 1917 г. он сказал о ней в беседе со своим племянником Н. А. Пушешниковым: «Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, — конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с литературным искусством, но в ней есть та сложная таинственная жизнь» (Лит. наследство. Т. 68. С. 402).

Тихонов (Н. Серебров) А. Н. (1880–1956) — горный инженер, литератор, принимавший участие во многих литературных начинаниях Горького; автор книги воспоминаний «Время и люди» (М., 1955).

…с Ильей Толстым… — Толстой И. Л. (1866–1933) — второй сын Л. Н. Толстого.

Корш Ф. А. (1852–1915) — основатель и владелец драматического театра в Москве.

Шкляр Н. Г. — участник Книгоиздательства писателей в Москве, беллетрист. *Зилов* Л. Н. (1883–1937) — поэт и детский писатель. *Ляшко* (Лященко) Н. Н. (1884–1953) — русский писатель, в 1910-е гг. член «Молодой Среды».

«Всенощное бдение» написано С. В. Рахманиновым в 1915 г. и посвящено исследователю и издателю православной музыки С. Смоленскому.

Дмитрий (Димитрий) Туптало, митрополит *Ростовский* (1651–1709) — русский церковный деятель и духовный писатель, борец против раскола, активный сторонник преобразований Петра I; канонизирован православной церковью.

Серафим Саровский (1760–1833) — монах Саровской пустыни, чья беспорочная жизнь описана в ряде церковных работ («Сказания о жизни и подвигах блаженной памяти о. Серафима». М., 1851; «Сказание о старце Серафиме» архимандрита Сергия, 1858 и др.); в православной церкви символ подвижничества.

Записки Дашковой… — Дашкова Е. Р. (1743–1810) — княгиня, президент Российской академии. «Записки Дашковой» (впервые на русском языке — в 1859 г. в Лондоне), при крайней субъективности, содержат множество исторических фактов о времени царствования Екатерины II.

Коринфский А. А. (1868–1937) — поэт. В эмиграции оставил воспоминания литературно-политического характера; учился в одном классе Симбирской гимназии с В. И. Лениным. Запись

Бунина от 23 февраля 1916 г. дается по книге В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина», с. 67–68. В книге «Устами Буниных» произведено значительное сокращение составителем.

Лебедев В. П. — поэт, секретарь редакции журн. «Север» (1892–1890).

Случевский К. К. (1837–1904) — поэт и прозаик, один из предшественников русского символизма.

Нынче именины отца… — А. Н. Бунин (1827–1906); умер 5 или 6 декабря.

Чириков Е. Н. (1864–1932) — прозаик и драматург. *Тальников* Д. Л. (1882–1961) — литературный критик.

Хвостов А. Н. (1872–1918) — министр внутренних дел России (1915–1916), председатель фракции правых 4-й Государственной думы; расстрелян органами ВЧК. *Горемыкин* И. Л. (1839–1917) — министр внутренних дел (1895–1899), председатель совета министров (1906 и 1914–1916); противник 4-й Государственной думы и «прогрессивного блока»; ставленник Г. Е. Распутина.

Бёклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец, представитель символизма и стиля «модерн». В фантастических сценах сочетал символику с натуралистической достоверностью.

…и Фра Беато и Анджелико, и Барыбой Городецкого. — Анджелико (собств. Фра Джованни да Фьезоле, прозвище Беато Анджелико; ок. 1400–1455) — итальянский живописец, представитель раннего Возрождения. Барыба — персонаж произведения не Городецкого, а повести «Уездное» (1912) Е. И. Замятина (1884–1937).

…книгу Н.В. Давыдова… — «Воспоминания» Н. В. Давыдова (1826–1916), сына декабриста В. Л. Давыдова. *«Дневник» Башкирцевой* М. К. (1860–1884), художницы; дневник напечатан в 1887 г. Близ Полтавы находилось имение ее родителей, и Бунин, проживая в Полтаве, встречался с ее братом.

Перечитываю «Федона» — сочинение древнегреческого философа Платона (ок. 427 — ок. 347 до н. э.).

Мартов (Цедербаум) Ю. О. (1873–1923) — один из лидеров меньшевизма, с 1917 г. руководитель его «левого крыла»; с 1919 г. член ВЦИК; с 1920 г. эмигрант.

Начал читать Н. Львову — Львова Н. Г. (1891–1913) — поэтесса, автор сборника стихов «Старая сказка», с предисловием В. Я. Брюсова; в 1913 г. покончила с собой.

Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский поэт, член группы «Парнас», а затем символист.

Аресты великих князей. — В ночь на 22 августа 1917 г. по распоряжению Временного правительства были арестованы великие князья Михаил Александрович и Павел Александрович;

расстреляны органами ВЧК в 1918 г.

Книга Полевого Н. А. (1796–1846) — «История народа русского» (т. 1–6).

…Объявление Керенского… — 28 августа газеты опубликовали «Обращение к населению» Керенского: «26 августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. Думы В. Н. Львова с требованием передачи Вр<еменным> Правительством всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной». Керенский отдал приказ о смещении Корнилова, объявлении Петрограда на военном положении (Керенский А. Ф. Дело Корнилова. М.: Задруга, 1918. С. 141). Ответом был мятеж Корнилова, закончившийся его поражением и арестом бывшего верховного главнокомандующего.

Воззвание Корнилова удивительно! — В «Объявлении верховного главнокомандующего» от 27 августа, в частности, говорилось: «Вынужденный выступить открыто — я, ген<ерал> Корнилов, заявляю, что Вр<еменное> Пр<авитель>ство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, одновременно с высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы, молите Господа Бога об объявлении величайшего чуда, спасении Родной Земли. Я, ген. Корнилов, — сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ — путем победы над врагом, — до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни» (Керенский А. Ф. Дело Корнилова. С. 141–142; см. также: «Фонарь» (Пг.). 1917. Экстр. вып. № 2, 8–9 сент.).

…будто взят Курск Калединым. — Каледин А. М. (1861–1918) — генерал от кавалерии (1917); 17 (30) июня 1917 г. на Большом войсковом круге избран атаманом Донского казачества. На августовском Государственном совещании выступил с программой подавления революционного движения. Известие о выступлении Каледина было ошибочным. Он возглавил мятеж на Дону 25 октября (7 ноября) 1917 г.; после неудачи восстания Каледин застрелился.

Каменев (Розенфельд) Л. Б. (1883–1936) — первый председатель ВЦИК большевиков, в 1917 г. один из редакторов

газ. «Правда», член ЦК (б) и исполкома Петроградского Совета; арестован Временным правительством в июльские дни, но освобожден после корниловского мятежа.

Стеклов (Нахамкис) Ю. М. (1873–1941) — в 1917 г. член исполкома Петроградского Совета.

Клестов Н. С. (псевд. Ангарский; 1879–1943) — издатель и общественный деятель; заведовал практическими делами Книгоиздательства писателей в Москве.

Архаламеевская ночь — искаж. Варфоломеевская ночь, массовые убийства католиками в ночь на 24 августа 1572 г., в день св. Варфоломея, гугенотов, приверженцев кальвинизма.

Гоц А. Р. (1882–1940?) — член ЦК партии эсеров, в 1917 г. вошел в первый состав президиума ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. В 1922 г. осужден советским судом за контрреволюционную деятельность; был амнистирован, позднее погиб во время сталинских репрессий.

Дан (Гурвич) Ф. И. (1871–1947) — один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. член исполкома Петроградского Совета. В 1922 г. в числе других руководителей меньшевистской партии выслан за границу.

Авксентьев Н. Д. (1878–1943) — один из лидеров партии эсеров; министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве Керенского. В 1918 г. выслан по приказу Колчака «за революционную пропаганду» за границу.

Керенский А. Ф. (1881–1970) — один из лидеров партии эсеров, глава Временного правительства и верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал. В Париже неоднократно встречался с Буниным.

Женя — Е. И. Ласкаржевский (1899–1919) — сын сестры Бунина Марии Алексеевны.

«Новая жизнь» — газета, издававшаяся группой социал-демократов, так называемых «интернационалистов» (А. Тихонов, Н. Суханов, В. Базаров, В. Десницкий), редактором и пайщиком которой был М. Горький. Выходила в Петрограде с 18 апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918-го; была закрыта по приказу большевистского руководства.

Шмелевы лгут, лгут про русский народ! — Шмелев И. С. (1873–1950). А. К. Бабореко цитирует воспоминания Н. А. Пушешникова, записавшего в дневнике 21 апреля 1918 г. о споре на собрании Книгоиздательства писателей: «Шмелев говорил чепуху о религии и русском народе. Иван Алексеевич потом сказал <… > «Ты слышал, что он несет! Что это? Бред сумасшедшего? И в какое время! В какое страшное время. И ведь кто это говорит? Это говорит не какой-нибудь захолустный

сельский учитель, а знаменитый писатель, якобы понимающий свою страну, знающий свой народ!» (Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 683). Позднее, пережив голод в Крыму и расстрел единственного сына-офицера большевиками в 1920 г., Шмелев по приглашению Бунина выехал в 1922 г. за границу, жил у Буниных в Грасе. Дневники воскрешают сложные, менявшиеся отношения Бунина к Шмелеву.

«Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. — Газ. «Раннее утро» (М., 1917. 13 авг.) сообщила о «Всероссийском государственном совещании», которое происходило в Москве, в Большом театре, под председательством Керенского. На этом совещании выявились глубокие разногласия между правительством Керенского и военной группировкой главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова, вскоре приведшие к так называемому «мятежу Корнилова». На конференции делегаты большевиков получили наказ огласить свою декларацию и покинуть совещание.

Элефантина — остров на Ниле.

Кускова Е. Д. (1869–1958) — публицист, идеолог «экономизма», деятель «Союза Освобождения»; в 1922 г. в числе других представителей науки, культуры, литературы выслана за границу.

Вернон Ли (1856–1935) — английская писательница, романистка, драматург, критик.

Либер (Гольдман) М. И. (1880–1937) — один из лидеров бунда и меньшевизма; в 1917 г. член исполкома Петроградского Совета и ВЦИК; позднее отошел от политической деятельности. Погиб во время сталинских репрессий.

Кишкин Н. М. (1864–1930) — член партии кадетов, в 1917 г. министр Временного правительства.

Савинков Б. В. (лит. псевдоним — В. Ропшин; 1879–1925) — один из лидеров партии эсеров, руководителей ее «Боевой организации эсеров». В 1917 г. комиссар Временного правительства при ставке верховного главнокомандующего, комиссар Юго-Западного фронта, товарищ военного министра. Впоследствии принимал участие в создании Добровольческой армии, возглавлял антибольшевистский «Народный Союз защиты родины и свободы». Во Франции встречался с Буниными. При попытке нелегально перейти советскую границу был арестован и погиб на Лубянке при невыясненных обстоятельствах.

Брешко-Брешковская Е. К. (1844–1934) — видная деятельница народничества, а позднее одна из основателей партии эсеров. После Февральской революции Брешко-Брешковская активно поддерживала Временное правительство Керенского. После

Октября эмигрировала.

Эрфуртская программа — первая и единственная после объединительного съезда в Готе марксистская программа, принятая социал-демократической партией Германии в 1891 г. на партсъезде в Эрфурте; решающее влияние в ее разработке сыграл Ф. Энгельс.

Милюков П. Н. (1859–1943) — политический деятель, видный историк, с 1907 г. председатель ЦК партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства; в эмиграции, в Париже, издавал газ. «Последние новости», в которой часто печатался Бунин.

Бурцев В. Л. (1862–1942) — общественный и политический деятель, близкий партии эсеров, редактор газ. «Наше общее дело». За успешную деятельность по разоблачению провокаторов, в том числе и Азефа, получил прозвище «ассенизатор политических партий». После 1917 г. — эмигрант.

Алексеев М. В. (1857–1918) — генерал от инфантерии (1914); из семьи солдата. Начальник штаба ставки главковерха (март — май 1917). 30 августа 1917 г. стал начальником штаба главковерха Керенского; по прибытии в ставку арестовал Корнилова, поднявшего мятеж. В ноябре 1917 г. создал Алексеевскую организацию, явившуюся ядром Добровольческой армии. С 31 августа 1918 г. верховный руководитель Добровольческой армии и председатель «Особого совещания».

«Село Степанчиково» — повесть Ф. М. Достоевского. Достоевского как писателя (и как человека) Бунин стойко отрицал, не принимал, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания. В. Н. Муромцева-Бунина, к примеру, записывает в дневнике: «Вчера Ян сказал: «Ну, я прочел «Кроткую». И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой — другое. Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой дал бы какую-нибудь черту, одну, другую — и Альпы выросли бы перед глазами» (Устами Буниных. Т. II. С. 124–125). Или: «За обедом разговор о Достоевском. Ян сказал, что он читал сцену в монастыре и что ему было нестерпимо скучно: «Всегда один прием, собрать всех вместе и скандал» (Там же. С. 241). Ср. также запись в дневнике Бунина от 30. IV. 1940: «Не знаю, кого больше ненавижу, как человека — Гоголя или Достоевского».

Учредительное собрание — представительное учреждение, которое предназначалось для установления формы правления и выработки конституции; его создание предполагалось на основе всеобщего избирательного права. После Февральской революции

мелкобуржуазные партии, а также кадеты провозглашали созыв Учредительного собрания одним из основных своих требований. Открылось 5 (18) января 1918 г. под председательством эсера В. Чернова. Большевистская фракция, а затем левые эсеры покинули заседание, после того как большинство Учредительного собрания отказалось обсуждать предложенную Я. М. Свердловым от имени ВЦИК Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Утром 6 (19) января было разогнано и закрыто. В ночь на 7 (20) января ВЦИК принял по докладу В. И. Ленина декрет о роспуске Учредительного собрания.

«Леонарда да Винчи» — роман Д. С. Мережковского из его трилогии «Христос и Антихрист». О непростых отношениях Бунина к Мережковским (ему и жене его З. Н. Гиппиус) см. в дальнейших дневниковых записях.

Гамсун (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859–1952) — норвежский писатель-реалист; в годы второй мировой воины сотрудничал с фашистами.

Пшибышевский Станислав (1868–1927) — польский писатель-модернист, популярный в предреволюционной России.

Альтенберг Петер (1859–1919) — австрийский писатель-импрессионист.

Фофанов К. М. (1862–1911) — поэт, лирика которого отдельными: чертами родственная символизму в то же время сохраняет близость классическим традициям. Бунин писал брату Юлию 22 июля 1890 г.: «Очень часто испытываю ощущение, которое охарактеризовал Фофанов: «Он мрачен, он угрюм, душа его полна каких-то смутных слов и ноющей печали и плачет, как струна…» (Лит. Смоленск. Смоленск, 1956. Кн. 1. С. 288). Показательно также, что в юношеской статье «Недостатки современной поэзии» (см.: Собр. соч.: В 9 т. Т. 9) он упоминает в числе «современных поэтов» раньше всего Фофанова.

Катерина Павловна — Е. П. Пешкова (1878–1965), жена:, А. М. Горького, длительное время была знакома с Буниным; оставила воспоминания о своих встречах (см.: Лит. наследство. Т. 84. Кн. 2. М., 1973).

Буренин В. П. (1841–1926) — публицист, поэт, критик, сотрудник газ. «Новое время»; в 1910-е гг. в фельетонах обвинял Бунина в «опачкивании народа» (см., напр.: Новое время. 1912. № 12898).

Муралов А. И. (1886–1937) — в 1917 г. командующий войсками Московского военного округа; с 1918 г. — губвоенком и комендант Тульского укрепрайона. Репрессирован в 1937 г.

Малиновская Е. К. (1875–1942) — актриса, комиссар театров в 1917 г.; директор Большого театра в 1920–1924, 1930–1935 гг.

Старк Л. Н. (1889–1937) — в 1917 г. член Исполнительной комиссии Гельсингфоргского комитета РСДРП(б), участник Октябрьского восстания в Петрограде; в ноябре — декабре 1917 г. зам. наркома почт и телеграфов; в марте — апреле 1918 г. комиссар РОСТа. Репрессирован в 1937 г.

Духонин Н. Н. (1876–1917) — генерал-лейтенант (1917); с 3 (16) ноября — главковерх; решением Совета Народных Комиссаров 9 (22) ноября 1917 г. отстранен от должности; убит солдатами после занятия ставки революционными войсками.

Крыленко Н. В. (1885–1938) — с 9 (22) ноября 1917 г. Верховный главнокомандующий (до марта 1918); погиб во время сталинских репрессий.

Возведен патриарх «вся Руси»… — 5 (18) ноября 1917 г. 1-й Всероссийский поместный собор избрал патриарха всея Руси Тихона (В. В. Белавина; 1865–1925); при Петре I патриаршество было упразднено и церковными делами ведал синод, высший государственный орган по делам церкви.

Кипен А. А. (1870–1938) — прозаик, очеркист.

Худяков Н. А. (1890–1939) — в феврале 1918 г. возглавлял отряды Красной гвардии на Дону; в августе — командующий центральным участком Царицынского фронта; в декабре 1918 г. — феврале 1919 г. — помощник командующего 10-й армией; в марте — апреле 1919 г. — член РВС группы войск харьковского направления; с апреля по июнь — командующий 3-й Украинской советской армией. Погиб во время сталинских репрессий.

Петлюра С. В. (1879–1926) — один из руководителей буржуазно-националистического движения на Украине. С 14 ноября 1918 г. член Украинской директории и командующий войсками Украинской народной республики; с 10 февраля председатель Директории. После разгрома Директории бежал в Варшаву; в мае 1920 г. создал в Киеве марионеточное правительство. С 1920 г. — эмигрант.

…у Мити… — Муромцев Д. Н., юрист, в Москве в 1936 г. покончил с собой.

Махно будто бы убил Григорьева… — *Махно* Н. И. (1889–1934) — анархист; в апреле 1918 г. начал борьбу с австро-германскими оккупантами и гетманскими властями на Украине; в 1919–1920 гг. воевал против белогвардейцев и петлюровцев, а также против Красной Армии; трижды вступал в соглашение с Советской властью, участвовал во взятии Одессы и штурме Перекопа и трижды поднимал мятеж. *Григорьев* Н. А. (1878–1919) — служил в войсках Петлюры, после поражения петлюровцев перешел на сторону Красной Армии. Командир 1-й

Заднепровской бригады, 6-й Украинской стрелковой дивизии; вместе с частями Красной Армии брал Николаев, Херсон, Одессу; 7 мая 1919 г. поднял мятеж, захватив значительную часть юга Украины; 27 июля 1919 г. убит по приказу Махно.

Кондаков Н. П. (1844–1925) — почетный академик, знаменитый византолог, соредактор с Буниным (осень 1919 г.) газ. «Южное слово».

Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк, исследователь французской буржуазной революции.

Кун Бела (1886–1939) — в августе 1918 г. комиссар интернационалистов на Восточном фронте; в ноябре нелегально вернулся в Венгрию и стал одним из основателей ее Коммунистической партии; после провозглашения Венгерской советской республики (март 1919 г.) нарком по иностранным и военным делам; после поражения венгерской революции вернулся в Советскую Россию; в октябре — ноябре 1920 г. член РВС Южного фронта, с ноября — председатель Крымского областного ревкома; возглавил акцию по расстрелу оставшихся в Крыму офицеров, не пожелавших уехать с Врангелем (в это время погиб единственный сын И. С. Шмелева, взятый из лазарета в Феодосии). Погиб во время сталинских репрессий.

Койранский А. А. (1884–?) — беллетрист, художник, критик и театральный деятель.

Карташев А. В. (1875–1960) — профессор, министр исповеданий во Временном правительстве, автор трудов по истории церкви.

…не вышла наша близость. — О сложных отношениях в эмиграции А. И. Куприна и Бунина рассказывает К. А. Куприна: «Когда я вернулась из Домреми, мои родители при содействии Бунина поселились в меблированной квартире в одном доме и на одном с ним этаже. Квартиры были четырехкомнатные, стандартные и очень похожие одна на другую, на улице Жака Оффенбаха в квартале Пасси, почему-то облюбованном русскими эмигрантами…

В своей совершенно новой жизни в эмиграции Бунин и Куприн вели себя по-разному. Бунин завел в Париже много знакомств, любил наносить визиты. На европейский манер он заказал себе визитные карточки с дворянским «де» — «м-сье де Бунин», щегольски оделся по последней моде и сбрил бородку русского интеллигента. Отец подтрунивал над ним; Бунин воспринимал это болезненно […]

Отношения между нашими семьями постепенно охлаждались. Близкое соседство усугубляло разногласия, которые бывали между Иваном Алексеевичем и Александром Ивановичем, а когда

мы переехали в Sevres-Ville d'Ivray, пригород Парижа, отношения наши стали еще более далекими. Постепенно столько накопилось неприязни, что имя Бунина в нашей семье стало нарицательным» (Куприна К. А. Куприн — мои отец. М., 1979. С. 128–129). К этому следует добавить, что давняя страсть Куприна к спиртному приняла в эмиграции окончательно характер заболевания. Долгие застолья, шумные проводы гостей на лестничной площадке, когда Куприн жил в доме с Буниным, приводили к ссорам. За границей Куприн оказался в состоянии растерянности и творческой подавленности. Обо всем этом и о своей любви к личности и таланту Куприна Бунин рассказал в одной из глав своей книги «Воспоминания» (см.: Наст. изд.).

…о своей деятельности у Чайковского… — *Чайковский* Н. В. (1850–1926) — участник народнического движения, с 1904 г. примкнул к эсерам, после Февральской революции — член ЦК партии народных социалистов. В 1918 г. участвовал в создании в Москве подпольного антисоветского «Союза возрождения России», который готовил антисоветские мятежи на Севере России, в Поволжье и Сибири. «Союз возрождения России» блокировался с организованным в Москве Савинковым «Союзом защиты родины и свободы». В ходе интервенции на Севере России Антанты Чайковский — председатель и управляющий отделом иностранных дел «Верховного управления Северной области». С марта 1920 г. — член Южнорусского правительства.

Кедрин Е. И. (1851–1921) — один из организаторов партии кадетов.

Кривошеий А. В. (1857–1921) — государственный деятель, министр земледелия Российской империи (1908–1915), управляющий Дворянским и Крестьянским банками; в 1920 г. глава правительства Юга России.

Пошлейшая статья Алешки Толстого о Судейкине. — Толстой А. Перед картинами Судейкина // Журн. «Жар-Птица». Париж, 1921. № 1.

Судейкин С. Ю. — художник, друг А. Н. Толстого.

Бунин исключительно высоко ценил огромный художественный дар А. Н. Толстого («редкая талантливость всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром», «все русское знал и чувствовал как очень немногие», «работник он был первоклассный» и т. д. — очерк «Третий Толстой»). Но одновременно он находил в нем ряд неизвинительных человеческих слабостей, по его мнению, определивших судьбу Толстого. Немалую роль в этих оценках сыграл, конечно, и последующий отъезд А. Толстого в Советскую Россию (1923 г.), обретение там признания и популярности уже в

качестве одного из ведущих советских писателей, автора трилогии о революции и гражданской войне «Хождение по мукам», повести «Хлеб» и т. д. Встречавшийся с Буниным в 1946 г. в Париже К. Симонов приводит его слова о А. Толстом: «После […] предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути» (Симонов К. Об Иване Алексеевиче Бунине//Лит. Россия. 1966. № 30, 22 июля).

Тенденциозность, ощутимая в этих и других воспоминаниях, была, однако, подогрета и некоторыми частными обстоятельствами. После описанной Буниным в книге «Воспоминания» своей встречи с Толстым в 1936 г. в Париже последний, вернувшись в Москву, также откликнулся на нее в статье «Зарубежные впечатления»: «Случайно в одном из кафе в Париже я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня… Я прочел три последних книги Бунина — два сборника мелких рассказов и роман «Жизнь Арсеньева». Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка внешнего мастерства» (Толстой А. Н. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 13. С. 518). Вряд ли А. Толстой был искренен, когда писал это. Как бы то ни было, отзыв этот стал известен Бунину и, бесспорно, обострил его неприязненное отношение к А. Толстому и его писательской судьбе. Впрочем, сложные отношения — дружба-вражда — не мешали Бунину по-прежнему высоко ценить талант А. Толстого. А. Седых вспоминает: «Бунин прочел «Петра I» А. Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию «Известий», такую открытку: «Алеша! Хоть ты и […], но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. И. Бунин» (Седых А. Далекие, близкие. С. 207). К этому роману Бунин возвращался не раз. 3 января 1941 г. записал в дневнике: «Перечитывал «Петра» А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!» Примечательно, что накануне Отечественной войны Бунин писал именно А. Толстому (а также старому другу Н. Д. Телешову) о своем желании вернуться домой. Открытка Телешову кончалась словами: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой». Очевидно, под влиянием полученного письма А. Толстой 17 июня 1941 г. обращается к И. В. Сталину с обширным письмом, где дает высокую оценку бунинскому таланту и говорит о его значении как писателя: «Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно

обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму» (Лит. наследство. Т. 84. Кн. 2. С. 396). В архиве А. Толстого сохранилось три черновых варианта письма Сталину с обширными и очень высокими по оценкам характеристиками Бунина-писателя. Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила все планы. Известие о кончине А. Толстого настолько потрясло Бунина, что он в течение трех дней в дневниках за 24, 25 и 26 февраля 1945 г. возвращается к этому событию (см. наст. издание). В письме к литератору Я. Б. Полонскому от 9 марта 1945 г. он говорит о Толстом, «смертью которого […] действительно огорчен ужасно — талант его, при всей своей пестроте, был все-таки редкий!»

Юра Маклаков — Маклаков Ю. Н., правнук сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны.

Бласко Ибаньес Винсенте (1867–1928) — испанский писатель. *Ллойд Джордж* Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании (1916–1922), одни из крупнейших лидеров либеральной партии. *Прево* Эжен Марсель (1862–1941) — французский писатель, автор любовно-психологических романов, моралист, с 1921 г. редактировал журн. «Французское обозрение».

Пуанкаре Раймон (1860–1934) — президент Франции (1913–1920), один из организаторов интервенции в годы гражданской войны в России.

Иетлина М. С. (1882–1976), урожденная Тумаркина, жена Н. Д. Авксентьева и М. О. Цетлина. Играла большую роль в основании в 1942 г. «Нового журнала» в Нью-Йорке. В 1947 г., после выхода Бунина из парижского Союза русских писателей и журналистов, выступила с нападками на Бунина и заявила о своем с ним разрыве.

И все мысли о Юлии… — Ю. А. Бунин умер в Москве, в июле 1921 г., от истощения в больнице имени Семашко. Известие от Бунина долго скрывали. В. Н. Муромцева-Бунина записывает в дневнике от 21 сентября/4 октября: «Письмо от Федорова, где он сообщает о кончине Юл. Ал., Яну письма не передала. Очень тяжело. Бесконечно жаль Юлия Алексеевича. Страшно подумать, как Ян переживет это известие». 24 сентября/7 октября: «Когда я вошла в семью Буниных, Юлию было 48 лет. Он был в то время еще совсем молодым человеком, очень жизнерадостным, но быстро теряющимся при всяком несчастье […]

Общественная деятельность, журнал, газетная работа — все это было как бы служение долгу, но тяга душевная у него была к литературе. Я думаю, что мало найдется русских, кто бы так хорошо знал всю русскую литературу. […] Он обладал

необыкновенно правильным литературным чутьем. Сам ничего не писавший из художественных вещей, он превосходно разбирался во всех вопросах, касавшихся сферы этого творчества. Это свойство его ценили и понимали все знавшие его писатели, а потому он был бессменным председателем «Старой Среды», также и председателем «Молодой Среды». Был он и председателем вторичной комиссии в Литературно-художественном кружке, а в последние годы он был одним из редакторов в Книгоиздательстве писателей в Москве.

В нем было редкое сочетание пессимистически настроенного ума с необыкновенно жизнерадостной натурой. Он был добр, умел возбуждать к себе добрые чувства людей. К нему шли за советом, за помощью, с просьбой выручить из беды». 27 октября/9 ноября: «Ян все еще ничего не знает, хотя удивляется, что нам ничего не пишет». 7/20 декабря: «Ян из газеты узнал о смерти Юлия Алексеевича. […] После завтрака он пошел отдохнуть, развернул газету и прочел, как он потом рассказывал, «Концерт Юл. Бунина». Перечел, секунду подумал и решил, что концерт в пользу Юл. Бунина. Подумал: кто такой Юл. Бунин? Наконец понял то, чего он так боялся. Сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате и говорить; «зачем уехал, если бы я там был, то спас бы его».

[…] Он говорит, что не хочет знать подробностей. Он сразу же похудел. Дома сидеть не может… Ян очень растерян. Он говорил вечером, что вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже не будет в состоянии» (Устами Буниных. Т. II. С. 64–69).

Бенеш Эдуард (1884–1948) — государственный и политический деятель Чехословакии. В 1915–1918 гг. — член Чехословацкого национального совета, в 1918–1935 гг. — министр иностранных дел, в 1921–1922 гг. — председатель правительства. В 1935–1938 и 1946–1948 гг. — президент Чехословакии.

Фаррер Клод (наст. имя Фредерик Шарль Эдуард Баргон) (1876–1957) — французский писатель, автор приключенческих романов.

Дроздов А. М. (1895–1963) — литератор, участник Добровольческой армии, редактор ежемесячного литературно-художественного журн. «Сполохи» (с конца 1921 г.), где печатался Бунин, а позднее (с весны 1922 г.) альм. «Веретено». В 1923 г. выехал в СССР.

Тэффи Н. А. (урожд. Лохвицкая; 1872–1952) — автор рассказов и поэтесса, близкая знакомая Буниных в конце 20–40-х гг. «Он любит Тэффи», — записала Г. Кузнецова (Грасский

дневник. С. 71).

Колчак А. В. (1873–1920) — адмирал (1916), один из главных руководителей белого движения, 18 ноября 1918 г. произвел переворот и установил в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке военную диктатуру, приняв титул «верховного правителя Российского государства». Был выдан белочехами и расстрелян по постановлению Иркутского ВРК 15 января 1920 г. *Евлогий* (В. С. Георгиевский; 1868–1946) — епископ Холмский и Волынский, член 2-й и 3-й Государственной думы. В 1920 г. назначен Высшим Церковным Управлением управлять русскими церквами и приходами в Западной Европе; с 1922 г. — митрополит; с 1930 г. — экзарх Вселенского Патрияоха.

Злобин В. А. (1894–1968) — секретарь Мережковских (1916–1945), поэт и критик.

Бакст (наст. фамилия Розенберг) Л. С. (1866–1924) — живописец-график, театральный художник, член «Мира искусства».

…лекция Жида о Достоевском… — Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии, высоко ценивший бунинское творчество («Прочел «Деревню» Бунина, — заметил он в «Дневниках». — Это превосходно»). Как вспоминает А. Бахрах, Андре Жид при упоминании Бунина сказал: «Да вы не отдаете себе отчета в том, какой у вас крупный современник» (Бахрах А. Бунин в халате. Нью-Йорк, 1979. С. 5). С конца 1910-х гг. творчество А. Жида развивается под сильным влиянием Достоевского, которому он посвятил цикл статей 1908–1922 гг., объединенных в книгу (1923).

На ночь читал Белого «Петербург». — Роман Андрея Белого «Петербург» (1913–1914, переработанное издание — 1922). В нем дана сатира на сановно-бюрократический Петербург и одновременно развенчивается, по словам Д. Лихачева, «терроризм государственный и терроризм индивидуальный» (Белый А. Петербург. Л., 1981. С. 5). Однако, написанный, по словам самого Белого, «искусственно себе сфабрикованным языком» и перегруженный символистской образностью, роман вызвал резкое неприятие Бунина, как и другие значительные явления того же ряда (например, «мелкий бес» Федора Сологуба).

Шестов Лев (Л. И. Шварцман; 1866–1938) — литературный критик и философ-идеалист, представитель русского экзистенциализма. В русле идей Б. Паскаля, С. Кьеркегорга, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше полемизировал с традиционной рационалистической философией. *Гершензон* М. О. (1869–1925) — историк русской литературы и общественной мысли. *Иванов* В. И. (1866–1949) — поэт-символист, автор философско-теоретических

работ о символизме. В 1921 г., проживая в одной комнате, Гершензон и В. Иванов написали в эпистолярной форме небольшую книжку, в которой отразилось их отношение к событиям «внешнего» мира и глубоко устойчивое религиозно-идеалистическое миросозерцание.

Зилоти (1863–1945) — пианист и дирижер, организатор (1903) симфонических и камерных концертов в Петербурге, профессор Московской консерватории, Джульярдской музыкальной школы (США). *Пикассо Пабло* (1881–1973) — французский живописец, испанец по происхождению.

…чувство все… Все умозрения, милый друг… — цитата из трагедии Гете «Фауст», ч. I, сц. IV. *Лао-Цзы* (IV в. до н. э.) — автор древнекитайского трактата «Дао дэ дзинь», где «дао» означает «путь», а «дэ» — добродетель. С течением времени о жизни и деятельности Лао-Цзы создались легенды: по одной из них, он родился из левой подмышки матери; по другой — мать зачала его, проглотивши жемчужину, спустившуюся с неба; желая объяснить имя Лао (старый) Цзы (учитель), легенды говорят, что он родился на 81-м году, седым.

Неклюдов А. В. — бывший русский посланник в Болгарии, Швеции и Испании; в эмиграции у Неклюдова была небольшая ферма неподалеку от Граса.

Глазунов А. К. (1956–1936) — композитор, дирижер, автор монументальных симфонических произведении, профессор (с 1899), дирижер (1905–1928) Петербургской (Ленинградской) консерватории. В 1929 г. выехал за границу.

…разговаривали с Питомцем. — Речь идет о Л. Ф. Зурове (1902–1971), литераторе, приехавшем в ноябре 1929 г. в Грас к Бунину и оставшемся в бунинской семье. О сложных отношениях, которые постепенно возникли у Бунина с Зуровым, писатель сообщал в письме к своему знакомому, литератору Я. Б. Полонскому от 10 февраля 1945 г.: «Дальше — насчет Зурова: тут тоже горячая просьба — ни слова не пишите мне насчет того, что я пишу Вам о нем — избавь Бог попадет Ваше письмо в руки В[еры] Н[иколаевны], архистрастной защитницы Зурова во всем, во всем, внушившей себе любовь к нему как к родному и будто бы архинесчастному сыну, больному, одинокому сироте и т. д… Зуров сидит на моей шее 15 лет, не слезая с меня, шантажируя моей великой жалостью к В[ере] Н[иколаевне], из-за которой я не могу выгнать его, несмотря на то, что Зуров обращается со мной сказочно грубо, раз даже орал на весь дом, ругая меня при В. Н. последними *матерными,* словами, называя меня «старой сволочью» (как однажды орал *на нее:* «свинья, свинья, старая дура») — и что теперь, ставши «другом советского отечества», уже

совсем распоясался, орет, что «теперь все общее», почему он живет на «pension», что он будто бы имеет какие-то «исключительные полномочия» ревизировать для себя какую угодно квартиру, грозит на меня *доносом* за мою якобы малую любовь к России и т. д.»

…читал «Письмах Мансфильд.. — Мансфильд Кэтрин (наст. имя — Кэтлин Биген; 1888–1923) — английская и новозеландская писательница; письма и дневники Мансфильд были подготовлены к печати ее мужем Джоном Мидлтоном (1928).

Видел во сне Аню… — А. Н. Цакни, первая жена Бунина (см. о ней наст. изд., с.).

Рощин (Федоров) Н. Я. (1696–1956) — писатель; прожил в доме Буниных с перерывами около двадцати пяти лет; в 1941–1945 гг. — участник французского Сопротивления; в 1946 г. вернулся в СССР. Автор воспоминаний о Бунине.

…в письме из Москвы о смерти Насти… — Речь идет о невестке Бунина, жене его брата Евгения Алексеевича Настасье Карловне, урожденной Гольдман.

Зайцев К. И. (1887–1975) — богослов, литературовед, литер. критик, публицист, автор книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество» (Берлин, 1934).

Алданов Марк (наст. имя М. А. Ландау; 1886–1957) — писатель, романист, публицист, близкий друг Буниных.

Блюм Леон (1872–1950) — лидер и теоретик Французской социалистической партии. В 1936–1938 гг. глава правительства Народного фронта, объединившего левые партии. При всей непоследовательности политики Блюма Народный фронт заявил о себе в Париже мощными демонстрациями и забастовками, напомнившими, очевидно, Бунину предреволюционные события в России.

Видел в Ницце Зайцевых… — Зайцев Б. К. (1881–1972) — писатель, близкий знакомый Буниных. В. А. Зайцева (урожд. Орешникова; 1878–1965) — жена Б. К. Зайцева, подруга юности В. Н. Муромцевой-Буниной.

Не застал Цакни… — брата А. Н. Цакни, первой жены Бунина.

Гребенщиков Г. Д. (1883–1964) — бытописатель Сибири, автор обширного романа «Чураевы».

Ясинский И. И. (1850–1931) — писатель, журналист, автор многочисленных романов бытового характера, окрашенных в неглубокие обличительные тона. Редактор журналов «Ежемесячные сочинения», «Беседа», «Новое слово».

…Оля пела и кричала… — Оля Жирова (1933–1963), дочь жившей у Буниных Е. Н. Жировой (ум. в 1960 г.), жены Н. Я.

Рощина. Бунин очень привязался к шестилетней Оле, писал ей шуточные стихи, называл «совершенно очаровательной» (письмо М. В. Карамзиной от 10 апреля 1939 г. — см. Лит. наследство. Т. 84. Кн. 1. С. 681).

зачитался до 121/2 «Le Rêve» Золя. — Роман французского писателя Эмиля Золя (1840–1902) «Мечта» (1888) из его двадцатитомной серии «Ругон-Маккары».

Одоевцееа И. В. (наст. имя — И. Г. Гейнике) — поэтесса, автор мемуарных книг «На берегах Невы» и «На берегах Сены». В 1987 г. вернулась из эмиграции на Родину.

Танеев С. И. (1856–1915) — композитор, пианист, музыкально-общественный деятель; профессор Московской консерватории (в 1885–1889 — директор). *Дебюсси* Клод (1862–1918) — французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

…свои рассказы для новой книги. — Речь идет о сборнике рассказов «Темные аллеи», над которым Бунин работал в 40-е гг.

Краснов П. Н. (1869–1947) — один из руководителей контрреволюционного движения в гражданскую войну, генерал-лейтенант. В 1918 г. атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. В эмиграции выступил как беллетрист, автор многотомного повествования «От двуглавого орла до красного знамени». Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По приговору советского суда казнен.

«Вечерние огни» — четыре выпуска последних прижизненных сборников А. А. Фета, вышедших под общим названием «Вечерние огни» в 1883, 1885, 1889 и 1891 гг.

…«Липяги» Эртеля. Ужасно. — Этот отрицательный отзыв не мешал Бунину высоко ценить творчество Эртеля (см. о нем главу из книги «Воспоминания»).

Что должен чувствовать П<етен>! — Очевидно, речь идет о Петене Анри Филиппе (1856–1951) — французском маршале, главнокомандующем французской армией (в 1917 г.) в первую мировую войну. В 1940–1944 гг., во время оккупации Франции немецко-фашистскими войсками, Петен возглавил капитулянтское правительство, а затем коллаборационистский режим. В 1945 г. приговорен к смертной казни, замененной де Голлем пожизненным заключением.

Авксентьев Н. Д. — см. примеч. в наст. книге, с. В 1917 г. — член исполкома Петроградского Совета, председатель Всероссийского Совета крестьянских депутатов, в июле — августе — министр внутренних дел во Временном правительстве. В 1918 г. в руководстве «Союза возрождения России», председатель

Уфимской директории. Во время колчаковского переворота (1918 г.) арестован белогвардейцами и выслан за границу. *Вишняк* М. В. (1883–1976) — член партии эсеров, секретарь Учредительного собрания. В эмиграции — один из редакторов журн. «Современные записки». С 1940 г. — в Нью-Йорке, входил в редакцию «Нового журнала». *Руднев* В. В. (1879–1940) — член партии эсеров, городской голова Москвы в 1917 г. Член редколлегии журн. «Современные записки».

Голль Шарль де (1890–1970) — основал в 1940 г. патриотическое движение «Сопротивляющаяся Франция». В 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета национального освобождения. Премьер-министр в 1944–1946 и в 1958 гг., президент Франции в 1958–1969 гг.

Карамзина М. В. (урожд. Максимова; 1900–1942), поэтесса, знакомая Бунина, с которым она вела регулярную переписку (с 1935 г.), живя в Эстонии, в Тарту.

Гонкур, де, братья Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) — французские писатели, авторы романов, пьес, исторических и искусствоведческих исследований. Братья Гонкуры вели «Дневник», который до 1895 г. продолжал Эдмон и в котором нашла отражение литературная жизнь эпохи, эстетические взгляды братьев Гонкуров и их современников. *Антонеску* Йон (1882–1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940–1944 гг. В 1946 г. казнен по приговору народного трибунала.

Герцог миланский *Людовик Моро* Сфорца захватил власть после смерти Галеаццо-Марии (1476), отравив своего племянника Джованни-Галеаццо. Изгнан из Милана французским королем Людовиком XII (1499), а затем попал к нему в плен (1500). *Леонардо да Винчи* был вызван Людовиком Сфорца в Милан в 1480 г. в качестве музыканта и импровизатора, но вскоре ему было поручено основать в Милане Академию художеств.

Чемберлен Невил (1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг. Сторонник политики умиротворения фашистских держав. В обстановке военных неудач Великобритании в мае 1940 г. вышел в отставку.

Гукасов А. О. — нефтепромышленник, меценат, издатель русской парижской газ. «Возрождение».

Каверин В. А. (1902–1989) — советский писатель. Роман «Исполнение желаний» (1934–1936) рассказывает о научной деятельности и житейском обиходе ученых, посвятивших себя историко-литературным изысканиям.

Боборыкин П. Д. (1836–1921) — прозаик и драматург, писатель-натуралист. Роман «Василий Теркин» (1892) рисует выходца из недр крестьянства, ставшего фабрикантом, в

идеализированных тонах.

Бунин цитирует стихотворение поэта и литературного критика Андреевского С. А. (1847–1919).

Читаю Шаховского… — Шаховской Д. А. (1902–1989), князь, в монашестве о. Иоанн, архиепископ Иоанн Сан-Францисский, духовный писатель, поэт, литературный критик. Бунин имеет в виду его книгу «Л. Н. Толстой и церковь» (Берлин, 1939).

«*Дама с камелиями*» (1848) — роман французского писателя Дюма-сына (1824–1895), по мотивам которого была написана одноименная драма (1852), ставшая сюжетом оперы Верди «Травиата».

…улетел, сбежал Гесс — Гесс Рудольф (1894–1987) — с 1925 г. личный секретарь Гитлера, с 1933 г. его заместитель по партии. В 1941 г. прилетел в Великобританию с предложением мира; был интернирован. На Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению. По официальной версии, покончил с собой в Шпандау (Западный Берлин).

Левитов А. И. (1835–1877) — автор очерков и рассказов, проникнутых демократическими мотивами в изображении народного быта.

Иден Антони, лорд Эйвон (1897–1977) — премьер-министр Великобритании в 1955–1957 гг., консерватор. В 1935–1938, 1940–1945, 1951–1955 гг. — министр иностранных дел.

Барятинский В. В., князь (1874–1941) — драматург и публицист. Муж актрисы Л. Б. Яворской. *Деникин* А. И. (1872–1947) — один из главных руководителей российской контрреволюции, генерал-лейтенант. Был в числе организаторов Добровольческой армии, с 13 апреля 1918 г. ее главнокомандующий, а с 8 октября — главком. С 8 января 1919 г. главком «вооруженных сил Юга России». Летом — осенью 1919 г. предпринял поход на Москву. С 1920 г. — в эмиграции. В начале второй мировой войны переехал в городок Мимизан под Бордо. В конце 1942 г. Деникину от имени немецкого командования было предложено перебраться «на самых лестных условиях» в Берлин, «но, в противоположность многим генералам, он весьма решительно и с риском для себя отклонил всякую мысль о сотрудничестве с врагами России» (газ. «Русские новости». Париж, 1947. 15 авг.). *Митрополит Евлогий* — см. комментарий в наст. кн., с. С 1930 г. Евлогий на церковном соборе в Париже был в числе тех, кто отделился от Московской патриархии и перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Во время второй мировой войны занимал патриотические позиции.

Раскольников Ф. Ф. (1892–1939) — политический и военный советский деятель, заместитель наркома по морским делам

(1917), член Реввоенсовета республики (1918), командующий Балтийским флотом (1920). В 1921–1923 гг. — полномочный представитель РСФСР в Афганистане, в 1930–1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии. 17 августа 1939 г. обратился с письмом к И. В. Сталину, обвиняя его в массовых репрессиях. *Борис III* (1894–1943) — царь Болгарии. Содействовал фашистскому перевороту (1923) А. Цанкова. Проводил прогерманскую политику. Убит по приказу Гитлера в Берлине.

«Москва под ударом» (1926) — вторая часть исторической эпопеи Андрея Белого «Москва», где он оставался верен символистской поэтике, отвергаемой Буниным.

Лаваль Пьер (1883–1945) — премьер-министр Франции в 1931–1932 и 1935–1936 гг.; в 1933–1935 гг. министр иностранных дел, сторонник «умиротворения» фашистских агрессоров. В 1942–1944 гг. глава коллаборационистского правительства «Виши». Казнен как изменник.

Бак Перль (Сайденстрикер; 1892–1973) — американская писательница, провела детство и юность в Китае. Автор романов и рассказов, правдиво изображающих страдания народа в дореволюционном Китае, трагическое положение китайской женщины.

Майский И. М. (1884–1975) — советский дипломат, историк, академик АН СССР (1946). В 1929–1932 гг. — полпред в Финляндии, в 1932–1943 гг. — посол в Великобритании, в 1943–1946 гг. — заместитель наркома иностранных дел.

Дарлан Жан Луи (1881–1942) — французский адмирал флота, во второй мировой войне — главнокомандующий военно-морским флотом. В 1941–1942 гг. — министр в правительстве «Виши». Вступил в соглашение с союзниками, высадившимися в ноябре 1942 г. в Северной Африке. Был убит французским националистом.

Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, глашатай декадентства. «Маленькие поэмы в прозе» написаны в 60-е гг., изданы посмертно (1869). Русский перевод—»Стихотворения в прозе» (1909).

Аргутинский В. Н. (ум. в 1941) — князь Аргутинский-Долгоруков.

Аминад — Дон-Аминадо (А. П. Шполянский; 1888–1941) — поэт-юморист и сатирик.

Перечитал «Пуншевую водку» и «Могилу воина»… — исторические повести М. А. Алданова «Пуншевая водка» (1940) и «Могила воина» (1940).

Читаю «La mémorial de Saint Hélène…» — Речь идет о кн.: Le comte-de-Las-Casas. Memorial de St. — Hélène (Париж, 1823. 8-е

изд. — 1895).

Розанов В. В. (1856–1919) — писатель, критик, публицист, философ, близкий экзистенциальной ветви «философии жизни». В исповедально-документальных записках «Уединенное» (1912) религиозно-философская и литературно-критическая проблематика слита с «потоком души» Розанова, его затаенными мыслями. В 80-х гг. Розанов преподавал географию в елецкой гимназии, где учился Бунин.

Иванов Г. В. (1894–1958) — поэт-акмеист, после 1922 г. — эмигрант.

Перечитываю «Любовь в жизни Толстого»… — Жданов В. А. Любовь в жизни Льва Толстого. Кн. 1–2. М., 1928.

Порошин С. А. (1741–1770) — воспитатель малолетнего Павла I. Оставил «Записки, служащие к истории его императорского высочества… Павла Петровича» (Спб., 1844).

Милюков П. Н. (1859–1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор газ. «Речь». В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства. Автор трудов по истории России XVIII–XIX вв., Февральской и Октябрьской революций. Незадолго до смерти, в 1943 г., выступил со статьей «Правда большевизма», где заявил о безусловной поддержке русским народом Советского правительства.

Струве П. Б. (1870–1944) — русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», один из лидеров кадетов, редактор журн. «Освобождение», «Русская мысль». В эмиграции редактировал парижскую газ. «Возрождение».

Клягин А. — инженер, промышленник, литератор. Бунин написал предисловие к книге А. Клягина о Сибири «Страна возможностей необычайных» (Париж, 1947). См.: Собр. соч.: В 9 т. Т. 9.

…итальянский король принял отставку Муссолини. — Муссолини Бенито (1883–1945) — глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства в Италии в 1922–1943 гг. Стал главой правительства в результате государственного переворота (1922). Формально Италия оставалась монархией — номинальным главой государства был последний (1900–1946) король Италии Виктор Эммануил III (1869–1947). Поражение немецко-фашистских и итальянских войск в войне против стран антифашистской коалиции и усиление антифашистского движения в Италии привело к падению диктатуры Муссолини (25 июля 1943 г.). В 1943–1945 гг. Муссолини возглавлял марионеточное правительство так называемой республики Сало

на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Италии. Был захвачен партизанами и казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения Северной Италии.

…сговорились об этом еще 3 сентября (августа?). — Декларация об Италии была принята на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которая проходила 19–30. X. 1943 г.

Зощенко М. М. (1894–1958) — советский писатель. Речь идет о кн.: Зощенко М. Рассказы. 1937–1938. Л., 1938.

Федин К. А. (1892–1977) — советский писатель; романы «Братья» (1928) и «Похищение Европы» (1935).

Доде Леон (Альфонс Мари Леон; 1867–1942) — французский писатель, журналист и политический деятель. Сын Альфонса Доде. Повести и романы Леона Доде малохудожественны, наполнены эротикой, вульгарно натуралистичны.

Ренье Анри Франсуа Жозеф (псевдоним — Гюг Виньи; 1864–1936) — французский поэт и романист, близкий декадентскому эстетству, элегическому нравственному безразличию.

…чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. — Речь идет о судебном процессе над главными нацистскими преступниками, который состоялся в Нюрнберге 20. XI. 1945-1. X. 1946 гг. Трибунал приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение. В ночь на 16. X. 1946 г. осужденные (за исключением Геринга, который покончил жизнь самоубийством) были казнены.

…Толстой до 16 лет носил фамилию Бострэм… — Бытовавшая легенда, согласно которой А. Н. Толстой был сыном не графа Н. А. Толстого, а отчима — помещика А. А. Вострома, к которому ушла мать писателя Л. Л. Толстая (урожд. Тургенева). Опровергается позднейшими работами (см., напр.: Петелин В. Красный граф. М., 2001).

Окаянные дни

Очерки «Окаянные дни» печатались в 20-е годы в парижской газете «Возрождение» и целиком были опубликованы только в десятом томе Собрания сочинении Бунина в 11-ти томах в издательстве «Петрополис» (Берлин, 1935). В комментариях не повторяются имена и реалии, которые уже были прокомментированы в примечаниях к дневникам Бунина за 1881–1953 гг.

Инбер В. М. (1890–1972) — советский поэт, прозаик, журналистка.

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган — речь идет о статье Блока «Интеллигенция и революция», опубликованной 19 января 1918 г. в газете «Знамя труда». Коган П. С. (1872–1932) — советский историк литературы, критик. В 1918 г. — проф. 1-го и 2-го МГУ и др. вузов.

«Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич…» — Янушкевич Н. Н. (1868–1918) — генерал от инфантерии, с началом 1-й мировой войны начальник штаба Верховного главнокомандующего. Сообщение газеты «Русское слово» неверно: в 1915 г. Янушкевич был смещен и в конце войны был начальником снабжения Кавказского фронта. Умер в Тифлисе.

Яворская Л. Б. (в замужестве кн. Барятинская, 1872–1921) — актриса московского театра Корша.

Это из Иеремии… — Иеремия — второй из четырех великих пророков Ветхого Завета, которому принадлежит «Книга пророка Иеремии», а также книга под названием «Плач по Иеремии».

для горьковского издательства «Парус» — в 1915 г. совместно с И. П. Ладыжниковым и А. Н. Тихоновым Горький основал издательство «Парус», поставив перед ним большие просветительские задачи: выпустил в 1916–1917 гг. три сборника национальных литератур России, создал план серии брошюр «Европа до и во время войны», задумал издание серии книг для детей, содержащих биографии «великих умов человечества». В издательстве готовилось Собрание сочинений Бунина (в 1918 г. вышел только X том).

Ауслендер С. А. (1886–1943) — близкий к символизму второстепенный прозаик, драматург, критик.

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — генерал-фельдмаршал, с 1916 г. начальник штаба и фактический главнокомандующий германской армией. В 1918 г. под руководством Гинденбурга осуществлялась военная интервенция против Советской России.

Саликовский А. Ф. (1866–1925) — публицист, редактор ряда украинских периодических изданий. В феврале 1917 г. — председатель Комитета украинских автономистов-федералов и Украинской Рады в Москве. С сентября 1917 по май 1918 г. — губернский комиссар Киевщины.

подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна! — Гогенцоллерны — дом, из которого вышли короли прусские и короли румынские, одна из самых старинных династий Европы. В данном случае речь идет о короле прусском и императоре германском Вильгельме II (1859–1941). Бронштейн — настоящая фамилия Л. Д. Троцкого.

Суриков В. И. (1848–1916) — русский живописец, показавший в своих монументальных полотнах, посвященных переломным моментам, напряженным конфликтам русской истории, главным героем народную массу, разнообразную, богатую типами, индивидуальностями, исполненную сильных чувств.

Каменская — жена прозаика, драматурга, киносценариста А. П. Каменского (1876–1941).

Принесли икону «Нечаянной радости» — Нечаянная радость, икона Божьей Матери, написана в память следующего события. Некто, идя на греховное дело, помолился перед иконой Богоматери для его успешного исполнения. В ответ разгневанная Богоматерь указала ему на открывшиеся язвы младенца Христа, которые всегда открываются, когда человек идет на грех. На иконе изображена горница, икона Божьей Матери и раскаявшийся грешник перед ней на коленях. Память иконы Нечаянной радости отмечается 9 (22) декабря.

Саблин Ю. М. (1897–1937) — комдив, в германскую войну — прапорщик, в 1917–1918 гг. — левый эсер. Весной 1918 г. командовал 4-ой армией в боях с немцами. Летом — военком Московского района Западного отряда участков завесы.

Стучка П. И. (1865–1932) — советский партийный и государственный деятель. В ноябре 1917 — марте 1918 гг. нарком юстиции РСФСР.

Карахан (Караханян) Л. М. (1889–1937) — советский государственный деятель. В 1918–1920 гг. — зам. наркома иностранных дел. *Каменев* (наст. фамилия Розенфельд) Л. Б. (1883–1936) — советский партийный, государственный деятель. В 1918–1926 — председатель Моссовета.

Грузинский А. Е. (1858–1930) — литературовед, переводчик.

Распутин (Новых) Г. Е. (1872–1916) — фаворит государя Николая II и его жены Александры Федоровны. Приобрел неограниченное влияние на царя, царицу и их окружение, вмешивался в государственные дела. Убит группой монархистов.

Тренев К. А. (1876–1945) — прозаик, драматург.

Спиридонова М. А. (1884–1941) — видный деятель партии эсеров, террористка. Поддержала большевистский переворот, но затем резко отошла от большевиков и участвовав 1918 г. в убийстве германского посла в Москве Мирбаха. *Фигнер* В. Н. (1852–1942) — член исполкома «Народной воли», участница подготовки покушения на императора Александра II.

Фриче В. М. (1870–1929) — литературовед и искусствовед-марксист, после Октября 1917 — руководитель Института языка и литературы и др. идеологических центров.

Суханов (наст. фамилия Гиммер) Н. Н. — бывший эсер, меньшевик-интернационалист, с апреля 1917 — редактор горьковской газеты «Новая жизнь». Член ВЦИК 2-го, 3-го и 4-го созывов, в июне 1918 г. исключен из ВЦИК вместе с другими меньшевиками и правыми эсерами. Автор «Записок о революции» (Берлин, 1922–1923).

Бах А. Н. (1857–1946) — известный советский ученый, биолог и химик. В прошлом видный деятель народовольческого движения, автор агитационной книги «Царь-Голод» (в дальнейших переизданиях под заглавием «Экономические очерки») и «Воспоминаний народовольца. 1882–1885»), затем — член партии эсеров. С февраля 1918 г. работал в московском химико-бактериологическом институте.

Миролюбов В. С. (1860–1939) — издатель, редактор «Журнала для всех» (1898–1906), где печатался Бунин.

Минор О. С. (1861–1934) — «эсеровский патриарх» (по характеристике Н. Суханова), старый народоволец, много лет проведший в тюрьмах и ссылках. Возглавляя в октябре 1917 г. Московскую городскую думу» выступил с воззванием в защиту Временного правительства против большевиков. Член Государственной Думы по эсеровскому списку, он, после ее разгона, был арестован большевиками, но освобожден по требованию левых эсеров. В 1919 г. эмигрировал из России.

…особняк Цетлиных на Поварской…— Цетлин М. О. (псевдоним — Амари, 1882–1945) — поэт, прозаик, критик, редактор, издатель, член партии эсеров. В эмиграции помогал Буниным. После вторжения Гитлера во Францию эмигрировал в США, где вместе с М. Алдановым основал «Новый журнал» (1942). В «Новом журнале» был напечатан ряд рассказов Бунина из книги «Темные аллеи». Особняк Цетлиных на Поварской был под № 9 (через дом от церкви Св. Симеона Столпника).

Давыдов Н. В. (1848–1920) — председатель окружного суда в Москве; председатель театрально-литературного комитета. *Загоскин* М. Н. (1789–1852) — прозаик, драматург.

Катаев В. П. (1897–1986) — советский писатель. В качестве офицера участвовал в русско-германской войне. В годы революции и гражданской войны резко менял свои позиции: в Одессе, называя себя учеником Бунина, разделял его взгляды, затем с приходом красных защищал революционное искусство. После занятия Одессы Деникиным воевал на стороне добровольческой армии (о чем писал Бунину) и наконец был мобилизован в Красную Армию.

…спрашивает звонарь у Ибсена. — Речь идет о пьесе норвежского драматурга Генрика Иоганна Ибсена (1828–1906).

Волошин М. А. (1877–1932) — поэт, близкий символизму.

Северный (Юзефович) Б. С. (1888–1937) — начальник одесской чека в 1919 г., затем на хозяйственной работе. В 1937 г., будучи директором Тульского патронного завода, арестован как враг народа и в том же году расстрелян.

…Как любил рычать это Горький! — Имеются в виду стихи (5-я строфа) французского поэта П. Беранже «Безумцы» в переводе В. С. Курочкина. Их читает во втором акте горьковской пьесы «На дне» Актер.

Татищев В. Н. (1686–1750) — русский историк и государственный деятель, автор «Истории Российской с самых древнейших времен».

Немитц А. В. (1879–1967) — русский и советский военачальник, в августе — декабре 1917 — командующий Черноморским флотом. После Октября перешел на сторону большевиков. В августе — октябре 1919 — нач. штаба Южной группы войск 12-й армии.

Бунин неточно цитирует стихи К. Н. Батюшкова (1787–1855) «К Дашкову».

Скабичевский А. М. (1838–1910) — критик, историк литературы народнического толка.

Раковский Х. Г. (1873–1941) — советский государственный и партийный деятель, дипломат. В 1918–1923 гг. председатель СНК Украинской ССР. *Чичерин* Г. В. (1872–1936) — советский государственный деятель, дипломат. С 30 мая 1918 г. нарком иностранных дел РСФСР (в I923–I930 гг. — СССР).

Полевицкая Е. А. (1681–1973) — русская драматическая актриса, жена режиссера И. Шмита.

Трубецкой Е. Н., князь (1863–1920) — русский философ и политический деятель, один из основателей и руководителей Конституционно-демократической партии (кадетов).

Пешехонов А. В. (1867–1933) — публицист, один из организаторов Трудовой народно-социалистической партии. После Октября и разгрома партии энесов выехал из Москвы на юг,

участвовал в белом движении и сотрудничал в его различных периодических изданиях.

Короленко В. Г. (1653–1921) — писатель и публицист народнического толка. Пытался встать «над схваткой», всякий раз принимая сторону потерпевших. Когда Полтава, где он жил, была занята Добровольческой армией, гневно протестовал против еврейских погромов; когда же утвердились большевики, обратился с открытыми письмами к А. В. Луначарскому, где мужественно говорил о преступлениях новой власти (эти шесть писем были позднее опубликованы в IX тетради парижского журнала «Современные записки» за 1922 г.).

Салтычиха (Салтыкова Д. Н., 1730–1801) — помещица Подольского уезда Московской губернии, замучившая более ста крепостных. По указу Екатерины II приговорена к смертной казни, замененной заключением. С 1768 г. в монастыре.

…Абрашка-Гармонист (Регинин) — один из псевдонимов петроградского журналиста В. А. Рапопорта (1887–1952).

Толстой А. К., граф (1817–1875) — поэт, прозаик, драматург, оказавший значительное влияние на Бунина-стихотворца.

Галлен-Калела Аксель (1865–1931) — финский художник, сочетавший в своем творчестве принципы реализма и модерна.

Полифем — одноглазый великан, которого ослепил Одиссей, едва не став его жертвой (древнегреческий эпос Гомера «Одиссея»).

Дыбенко П. Е. (1889–1938) — матрос Балтийского флота; в 1918 — нарком по морским делам; в гражданскую войну — командующий группой войск. Крымской армией, начдив.

Коллонтай А. М. (урожд. Домантович; 1872–1952) — советский партийный деятель, дипломат, публицист. В 1917–1918 гг. — нарком государственного призрения.

Михаил Архангел — вестник пришествия Господа в Иудею, ангел-хранитель, вождь множества ангелов в войне с драконом и его ангелами.

Булгаков В. Ф. (1886–1966) — секретарь Льва Толстого в 1910 г., автор книги воспоминаний «Л. Н. Толстой в последний год жизни».

«Блажен, кто посетил сей мир…» — Бунин цитирует стихотворение Ф. И. Тютчева «Цицерон».

Иванников И. И. (1884–1912) — русский либеральный историк, автор трудов по истории крестьянской реформы.

Юшкевич С. С. (1868–1927) — прозаик, драматург, Бунин высоко ценил Юшкевича-писателя и его отношения с ним. Откликаясь на его кончину, он писал: «… навсегда уходит из нашего мира человек большого таланта и сердца, которого я знал

чуть не тридцать лет, с которым мы почти в одно время начали, а потом рука об руку — и так дружески за последние годы — делили наш писательский путь» (Памяти Юшкевича).

Ренан Жозеф Эрнст (1823–1892) — французский писатель. В «Истории происхождения христианства» изобразил Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником, устранив из Евангелия все сверхъестественное. Автор трудов по востоковедению и философских драм.

Антонов-Овсеенко В. А. (1883–1939) — советский государственный деятель. В 1917–1919 гг. один из организаторов Красной армии; командовал войсками Юга России.

Подвойский Н. И. (1880–1948) — советский партийный, военный деятель. С 1918 г. участвовал в создании Красной армии, член РВС Республики, нарком по военно-морским делам УССР.

Аксаков И. С. (1823–1886) — русский публицист и общественный деятель; один из идеологов славянофильства.

Ключевский В. О. (1841–1911) — русский историк, крупнейший представитель либеральной историографии. Автор трудов по истории крепостного права, сословий, финансов.

Соловьев С. М. (1820–1879) — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен», трудов по истории Новгорода, эпохи Петра I и Александра I, внешней политики России, историографии.

…Стеньке Разине — Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) — донской казак, предводитель крестьянской войны 1670–1671 гг.

Вильсон Томас Вудро (1856–1924) — 28-й президент США. Инициатор вступления США в 1-ю мировую войну; участвовал в организации антисоветской интервенции.

Осипович Н. М. (1870–1937) — либеральный литературный деятель, прозаик.

…едет Михаил Романов… — Михаил Александрович (1878–1918), великий князь, брат Николая II. Убит большевиками в Перми.

Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из организаторов антисоветской интервенции.

…даже шейдемановцы заявляют… — Шейдеман Филипп (1865–1939) — один из правых лидеров социал-демократической партии Германии. В феврале — июне 1919 г. глава немецкого правительства.

Ленотр Жорж (настоящее имя и фамилия Теодор, в некоторых источниках — Луи Леон) Гослен, 1857–1935) — французский историк, книги которого не раз издавались в

русском переводе. Внимание Бунина могла привлечь книга «Париж в дни революции» (М., 1913), которую перевела Н. А. Тэффи со своей младшей сестрой Е. А. Лохвицкой.

Сен-Жюст Луи (1767–1794) — один из вождей французской революции в период якобинской диктатуры, член Комитета общественного спасения. Казнен термидорианцами.

Робеспьер Максимильен (1758–1794) — деятель французской революции, один из руководителей якобинцев, проводивший террор в отношении зажиточных слоев населения и организовавший отпор внешним контрреволюционным силам. Казнен термидорианцами.

Кутон Жорж (1755–1794) — один из руководителей якобинцев, член Комитета общественного спасения, жестоко подавивший восстание в Лионе. Казнен вместе с Робеспьером.

Аттила (?–453) — предводитель гуннов с 434 г. Возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию. При Аттиле гуннский союз племен достиг наивысшего могущества.

…по Блокам, народ объят музыкой революции — Бунин неточно цитирует статью 1918 г. «Интеллигенция и революция» А. Блока.

…речь идет о «бабушке русской революции» — «Бабушкой русском революции» именовали в печати Брешко-Брешковскую Е. К. (1844–1934) — одного из организаторов и лидера партии эсеров. Провела более 20 лет в тюрьме, на каторге и в ссылке; эмигрировала в 1919 г.

Гучков А. И. (1862–1936) — русский капиталист, лидер партии октябристов. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов мятежа генерала Л. Г. Корнилова.

«Пир Платона» — Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. Оставил сочинения в форме диалогов, где идеи (высшая среди них — идея блага) — вечные и неизменные прообразы преходящего бытия.

Костюшко Тадеуш (1746–1817) — вождь польского повстанчества; участник войн за независимость в Северной Америке в 1775–1783 гг. Руководитель польского восстания 1794 г.; ранен в бою и взят в плен русскими войсками. Освобожден из Петропавловской крепости Павлом I в 1796 г. Умер в Швейцарии.

Полежаев А. И. (1804–1834) — русский поэт. В 1826 г. за сатирическую поэму «Сашка», содержавшую выпады против самодержавия, был отдан в солдаты.

Усмирение мюридов, Кази-Муллы… — мюридизм («послушничество») — религиозно-фанатическое движение, которое охватило значительную часть Кавказа и обострило войну против русских. Кази-Мулла (Газы-Мохаммед, 1795–1832) — в 1829 г. объявил против русских и их союзников священную войну («газават»). 7 октября 1832 г. во время штурма русскими войсками селения Гимры был убит. Последователем Кази-Муллы (с 1834 г.) стал Шамиль, поднявший кавказское мюридство на долгую войну с Россией.

Иоффе А. А. (1883–1927) — советский государственный, партийный деятель. В 1918 г. председатель советской делегации на переговорах о Брестском мире, полпред в Берлине.

Богданов (наст. фамилия Малиновский) А. А. (1873–1941) — российский революционный деятель, публицист. В 1917 г. член Исполкома Петроградского совета.

Гржебин З. И. (1877–1989) — издатель, художник-график. В 1919–1923 гг. возглавлял «Издательство З. И. Гржебина» (Петроград — Берлин). В 1920 г. уехал в Германию.

Кокошкин Ф. Ф. (1871–1918) — русский юрист, публицист, лидер партии кадетов. В 1917 г. контролер Временного правительства. Убит революционными матросами.

Яблоновский (Сказский) А. А. (1870–1934) — журналист, прозаик, литературный критик, мемуарист. Эмигрировал в 1919 г. С 1928 г. председатель совета объединенного Зарубежного союза русских писателей и журналистов.

Бубнов А. С. (1884–1938) — советский государственный, партийный деятель. В октябре 1917 г. — член Политбюро ЦК партии, Петроградского ВРК.

Автобиографические заметки

Газ. «Новое русское олово», Нью-Йорк, 1948, № 13393, 26 декабря; № 13394, 27 декабря; № 13394, 28 декабря.

Терпигорев С. Н. (псевдоним — Атава, 1841–1895).

«Дома косые двухэтажные…» — Бунин цитирует стихотворение Н. С. Гумилева «Старые усадьбы» …*один из видных советских поэтов*… — Бунин имеет в виду советского поэта Кедрина Д. Б. (1907–1945) и его стихотворение «Подмосковная осень» (1937).

«Ненавижу дыхание Китежа!..» — Бунин с тенденциозной неточностью цитирует стихи Есенина «Инония» (1918).

Дон-Аминадо (псевдоним А. М. Шполянского; 1888–1957) — поэт, фельетонист, прозаик, мемуарист.

Дункан Айседора (1877–1927) — американская танцовщица, одна из основоположниц танца модерн. Была гражданской женой Есенина.

Мариенгоф А. Б. (1897–1962) — поэт-имажинист, драматург, прозаик. Бунин имеет в виду следующие строки о Богоматери:

Мария, Мария, кого вынашивала!

Пыль бы у ног твоих целовал за аборт…

Клюев Н. А. (1884–1937) — поэт, старший друг Есенина.

Старик ловко притворился… — Бунин неточно приводит фразу из воспоминаний К. Д. Бальмонта о Д. Н. Толстом (Апостолов Н. Н. Живой Толстой. М., 1928. С. 421).

«Бальмонт — один из вождей русского символизма…» — Бунин цитирует с мелкими неточностями статью Г. Лелевича о Бальмонте («Литературная энциклопедия», т. 1, 1930).

Хлебников Велемир (настоящее имя — Виктор Владимирович, 1885–4922) — поэт, прозаик, драматург, лидер литературной группы футуристов.

Рахманинов

Воспоминания о Рахманинове впервые напечатаны как часть текста «Автобиографических заметок» — Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1948, № 13393, 26 декабря.

Об отношении С. В. Рахманинова к Бунину рассказала в беседе с Л. Зуровым дочь композитора Татьяна Сергеевна: «Он, по-моему, прекрасно относился, очень любил Ивана Алексеевича… любил его стихотворения, рассказы, говорил, что Иван Алексеевич все по-особенному слышит, рассказал даже, как он поправил какое-то слово, когда отец читал, и научил его, как его произносить нужно, — и о внутренней музыкальности стихов его говорил, и о том, как Иван Алексеевич читал вслух… Не было большего удовольствия для отца, как подарить ему хорошую книгу. А Ивана Алексеевича он читал часто, написал два романса на его стихотворения[76], жаль, что так редко их исполняют» (Зуров Л. Воспоминания. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1962, кн. 69). В предреволюционные годы Бунин и Рахманинов встречались и переписывались мало. В 1912 году, в бунинский юбилей, Рахманинов прислал телеграмму: «Примите душевный привет от суходольского музыканта. Рахманинов». После того, как Бунин послал в 1915 году книгу рассказов и стихов «Чаша жизни» Рахманинову, тот отвечал: «Дорогой Иван Алексеевич! И я Вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с Вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются. Очень благодарю Вас за присылку Вашей последней книги. Был тронут. 27 апреля 1915 года. С. Рахманинов» (Бабореко А. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., 1967. С. 201).

Бунин цитирует стихи А. Н. Майкова (1821–1897) «Я в гроте ждал тебя…» Известен также романс Н. Римского-Корсакова на эти стихи.

Репин

Эти воспоминания составляют часть «Автобиографических заметок» — Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1948, № 13393, 26 декабря.

Джером Джером

Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2916, 17 марта, вместе с рассказом «Бернар», под общим заглавием «Записная книжка».

Толстой

Газ. «Последние новости», Париж, 1929, 9 сентября, под заглавием «Заметки о Толстом»; там же, 1931, 9 августа, под заглавием «Еще о Толстом»; перепечатывались в других периодических изданиях.

Можно сказать, что Толстой был «темой жизни» Бунина — к его имени, авторитету, оценкам Бунин обращается непосредственно, от юношеской поры до конца дней. Итогом явился философско-религиозный трактат, куда вошли и воспоминания о великом писателе — «Освобождение Толстого» (1937).

Данный очерк с небольшими стилистическими поправками вошел в эту книгу (глава VI).

«самого Черткова…» — Чертков В. Г. (1854–1936) — один из ближайших друзей-сподвижников в «учении» Толстого и издатель его сочинений.

…сказала про какого-то революционера… — Речь идет о бывшем революционере, а затем толстовце А. С. Буткевиче, неоднократно бывавшем в Ясной Поляне.

Клопский (Клобский) И. М. (1852–1898) — окончил Ярославскую духовную семинарию, жил в толстовских земельных общинах. В 1892 г. был арестован. Эмигрировал в Америку. *Волкенштейн* А. А. (1852–1925) — земский врач, жил в Полтаве и помогал Толстому в закупке продовольствия для голодающих.

Братья Д. — Дудченко М. С. (1867–1946), разделял взгляды Толстого. С 1887 г. занимался земледельческим трудом сперва в Харьковской, а с 1891 г. — в Полтавской губернии; Дудченко Т. О. (1853–1920), бывший студент юридического факультета петербургского университета, занимался земледельческим трудом; в 1892 г. административно выслан из Полтавской губернии. Леонтьев Б. Н. (1866–1909) — в 1891 г. работал в Полтаве в столярной мастерской; затем отошел от толстовства в сторону революционного народничества. Хилков Д. А., князь (1857–1914) — друг и единомышленник Толстого.

Газ. «Последние новости», Париж, 1928, № 2633, 7 июня, там же, 1929, № 3035, 14 июля «О Чехове». Оба очерка вошли в неоконченную книгу «О Чехове», Нью-Йорк, 1955 г.

Я познакомился с ним в Москве… Бунин познакомился с Чеховым 12 декабря 1895 года. Встреча с Чеховым в Ялте произошла в начале апреля 1899 года.

Мне один критик пророчил… Чехов имеет в виду рецензию А. М. Скабичевского на его книгу «Пестрые рассказы», напечатанную в журнале «Северный вестник» (СПб., 1886, кн. VI).

Южин (Сумбатов) А. И. (1857–1927) — артист и драматург, народный артист РСФСР. Режиссер и управляющий труппой, а после Октябрьской революции — директор Малого театра.

Савина М. Г. (1854–1915) — русская актриса. С 1869 года в провинции, с 1874 в Александрийском театре. Одна из лучших исполнительниц в пьесах Гоголя, Тургенева, Островского. Крылов В. А. (1838–1906) — второстепенный драматург.

Шаляпин

Бунин познакомился с Федором Ивановичем Шаляпиным в ноябре 1901 года, в Подольске, куда выехала группа литераторов и деятелей искусства, чтобы встретить Горького, отправившегося из Нижнего Новгорода в Крым и не получившего разрешения властей заехать в Москву. 13/26 ноября 1901 года Бунин пригласил Шаляпина на вечер литературного кружка «Среда»:

«Дорогой Федор Иванович, позволь тебе напомнить, по общей просьбе моих товарищей, к которой, конечно, от всей души присоединяюсь и я, — о твоем обещании посетить наш завтрашний вечер. Мы, то есть небольшая компания пишущих, собираемся так еженедельно (по средам) на квартире Ник[олая] Дмитр[иевича] Телешова (Чистые пруды, дом Терехова) для небольших чтений, разговоров и скромной выпивки и все будем чрезвычайно рады тебе. Если ты свободен весь вечер, поедем часу в 9-м. Могу заехать за тобой, или заезжай ты ко мне в Большую Московскую гостиницу (№ 177). Если не свободен, — приезжай хоть попозднее, хоть на часок. Искренне уважающий тебя Ив. Бунин» («Федор Шаляпин» — ЛН, Т. 1, 1957. С. 711–712). В дальнейшем Ф. И. Шаляпин стал частым гостем «Среды» (см. также: Телешов Н. Д. Записки писателя, М., 1966. С. 306–307).

…*Шаляпин стал на колени перед царем!* — 6 января 1911 года на премьере «Бориса Годунова» в Мариинском театре растерявшийся Шаляпин невольно принял участие в манифестации хора, просившего увеличения жалованья. Весной того же года М. Горький писал Бунину с Капри: «Милый мой, славный мой друг, — поистине надо иметь душу каменную, чтобы жить в эти проклятые черные дни, когда торгуют Толстым и Федор Шаляпин, гений народный, становится на колени перед Николаем Романовым, бездарнейшим из людей» («Горьковские чтения 1958–1959», М., 1961. С. 58). Инцидент с Шаляпиным получил широкую огласку и вызвал осуждение в либеральных кругах. …*на торжественном сборище в Михайловском театре*… — Бунин имеет в виду учреждение под председательством Стеклова «Свободной ассоциации для развития и распространения свободных наук». Горький, будучи членом Совета ассоциации, выступил с речами 9 и 16 апреля 1917 года.

…*«бранил Шекспира, Бетховена»* — Отрицательное отношение Л. Н. Толстого ко многим выдающимся деятелям искусства, в том числе к Шекспиру и Бетховену, было связано с его позднейшими воззрениями на задачи и сущность искусства. В своих работах

«Что такое искусство?» (1897), «О Шекспире и драме» (1904) и др. он упрекал «господское» искусство в том, что оно непонятно народу. Особенно непримиримо Л. Н. Толстой относился к творчеству Шекспира, считая его пьесы безнравственными и художественно неправдоподобными.

Баттистини Маттиа (1857–1928) — итальянский певец, баритон. С 1893 года неоднократно гастролировал в России. Бунин ошибается, говоря, что Баттистини пел в Одессе, когда ему было 74 года.

Горький

«Записная книжка» — Журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1930, № 23, 31 мая.

…артистке Книппер… — Книппер-Чехова О. Л. (1868–1959) — актриса, народная артистка СССР. Жена А. П. Чехова. Первая исполнительница ролей в пьесах Чехова «Три сестры», «Вишневый сад».

Скиталец (настоящее имя Петров С. Г.; 1869–1941) — прозаик, один из ближайших сподвижников Горького, активный участник издательства «Знание».

Бенуа А. Н. (1870–1960) — живописец, график, художник театра, теоретик и историк искусства, художественный критик. После командировки в Париж в 1926 году остался во Франции.

Его Высочество

Газ. «Последние новости», Париж, 1931, № 3812, 30 августа.

Ольденбургский П. А. (1868–1923) — принц, принадлежал к младшей ветви Гольштейн-Готторнской линии Ольденбургского дома, ведущей начало от двоюродного дяди Петра III Георга-Людвига.

…*один из Ольденбургских, Эгильмар*… — Эгильмар правил в XII веке, документ 1108 называет его «могущественным графом земель, пограничных между Саксонией и Фризией». *Родзянко* М. В. (1859–1924) — один из лидеров партии октябристов, крупный помещик, в 1911–1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственной Думы, а в 1917 — Временного комитета Государственной Думы.

…*Филиппа Эгалите*. — Филипп, герцог Шартрский (1747–1793), во время французской революции перешел на сторону третьего сословия, голосовал в Конвенте за смертную казнь короля Людовика XVI и был назван парижской коммуной «Эгалите» — «Равенство». Казнен по приговору революционного суда.

…*по соседству со своим отцом*… — отец П. А. Ольденбургского А. П. Ольденбургский (1844–1926) — боевой генерал, отличившийся в кампании 1877–1878 гг., с 1896 — член Государственного совета.

Куприн

Эта глава, в переработанном виде, объединила две статьи о Куприне — «А. И. Куприн» (Газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 5915, 5 июня) и «Перечитывая Куприна» (Журн. «Современные записки», Париж, 1938, кн. 67).

Отец А.И. Куприна — Куприн И. И. (1834–1871) происходил из «детей лекарских учеников», служил в Наровчате письмоводителем у мирового посредника Фалина. Отмечая бунинскую тягу подчеркивать свое дворянское происхождение, М. К. Куприна-Иорданская вспоминает: «Однажды у нас за столом, когда разговор шел о родовитости, Александр Иванович сказал, что и у него мать княжна Куланчакова. На это Бунин ответил остротой:

— Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке. — Куприн побледнел, взял со стола чайную серебряную ложку и молча сжимал ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок, который он бросил в противоположный угол комнаты. Забыть это Бунину Александр Иванович не мог» (Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М., 1966. С. 223). Мать Куприна Любовь Алексеевна (урожденная княжна Куланчакова; ок. 1840–1910) происходила из древнего рода татарских князей, игравших видную роль в жизни так называемого Касимского царства, основанного Василием III для борьбы против Казанского ханства.

Киплинг Редиард (1865–1936) — английский писатель, которому Куприн посвятил статью (1908).

…приехал писатель Куприн… — Бунин гостил у Федорова в Люстдорфе, в мае 1897 года, где и познакомился с Куприным. Рассказ «Ночная смена» был напечатан в журнале «Мир Божий» (СПб., 1899, № 2).

…его второй женой… Вторая жена Куприна — свояченица Мамина-Сибиряка Е. М. Гейнрих (1882–1942).

…опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах»… — В автобиографическом романе «Юнкера» (1933) рассказано, в частности, о пробуждении в главном герое тяги к «писательству»: «Это была очень давнишняя мечта Александрова — сделаться поэтом или романистом».

Пильский П. М. (1876–1942) — литературный критик и журналист.

Маяковский

Опубликовано в книге «Воспоминания», Париж, 1950.

Пастернак В. Л. (1890–1960) — поэт, прозаик, переводчик.

Твой выстрел был подобен Этне… — Бунин цитирует стихотворение Б. Пастернака «Смерть поэта» (1930).

Поэзия, я буду клясться… — Бунин приводит отроки стихотворения Б. Пастернака «Поэзия» (1922).

Бурлюк Д. Д. (1882–1967) — поэт-футурист, оказавший сильное воздействие на Маяковского. Крученых А. Е. (1886–1968) — поэт-футурист, критик, издатель.

какого-то Атарова… — Атаров Н. С. (1907–1965) — прозаик, очеркист, переводчик.

Якобсон Р. О. (1896–1982) — языковед, литературовед.

Гегель, фрак, метель

Опубликовано в книге «Воспоминания», Париж, 1950.

Писатель Малашкин — Малашкин С. И. (1888–1988) — советский писатель, поэт, прозаик. *Писатель Романов* — Романов П. С. (1884–1938) — прозаик. *Писатель Леонов* — Леонов Л. М. (1899–1994) — русский советский писатель.

Суворин А. С. (1834–1912) — русский публицист, литератор, издатель. Издатель-редактор газеты «Новое время».

Нобелевские дни

Напечатано под заглавием «Записи» в журн. «Иллюстрированная Россия», 1936, № 11, 7 марта; № 15, 4 апреля (речь Бунина дана по-французски и по-русски).

Воспоминания посвящены обстоятельствам, связанным с присуждением Бунину премии Нобеля в области литературы за 1933 год. В официальном решении о присуждении Бунину премии говорилось: «Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия за этот год присуждается Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер» (цит. по кн.: Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии (С 1870 по 1917), М., 1967. С. 218).

Из своей премии значительную часть (120 000 франков) Бунин выделил в пользу нуждающихся литераторов, но распределение этих сумм вызвало в эмигрантских кругах обиды. В ту пору, кстати, резко ухудшились — и без того неважные — отношения Бунина с Гиппиус и Мережковским (чья кандидатура также рассматривалась в 1933 году в Стокгольме, так что он даже предлагал Бунину «поделить» будущую премию, на что тот ответил решительным отказом).

Очень значительная сумма Нобелевской премии (почти 800 тысяч франков) в результате непрактичности, щедрости и доверчивости Бунина быстро стала таять. 10 мая 1936 года он заносил в дневник: «Да, что я наделал за эти 2 года <…> агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно (речь идет о Собрании сочинений, выходившем в 1934–1936 г. в Берлине, в издательстве «Петрополис». — *О. М.*) — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу… И впереди старость, выход в тираж» (см. настоящий том). Уже к началу войны существование Бунина; и его домочадцев поддерживалось во многом усилиями благотворительности (ср. в письме Н. Д. Телешову от 8 мая 1941 года: «Был я «богат», а теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов». — Литературное наследство, Т. 84, кн. 1-я. Иван Бунин. М., 1973. С. 623).

Киса Куприна — К. А. Куприна (1908–1980), дочь А. И. Куприна от второго брака, киноактриса и драматическая артистка, автор книги «Куприн — мой отец». *Телефон из Стокгольма…* — В отсутствие Бунина, смотревшего фильм вместе с Г. Н. Кузнецовой, известие о присуждении ему премии получила его жена — В. Н. Муромцева, пославшая за Буниным жившего с

ними в Грассе писателя Л. Ф. Зурова. Она вспоминала: «… я даю впервые по телефону в Данию интервью на французском языке — это волнует меня больше, чем сама премия. Спрашивают, давно ли во Франции? Когда покинули Россию? Приедем ли в Стокгольм, и поеду ли я?

Слышу голоса внизу… и бросаюсь к лестнице, по которой поднимается Ян.

— Поздравляю тебя, — говорю я, целуя, — иди к телефону.

— Я еще не верю…

Он вернулся с Леней, Галя пошла к сапожнику, вспомнив, что я без башмаков, не могу выйти. Леня мне рассказал: «Вошел в зрительный зал, пропустили даром. Галя обернулась и замерла. И[ван] А[лексеевич] смотрел на сцену. Я подошел. Наклонился, поцеловал и сказал: «Поздравляю. Нобелевская премия ваша!» Дорогой я ему все рассказал. Он был спокоен» (Муромцева-Бунина В. Н. То, что я запомнила о Нобелевской премии. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1962, № 67).

…*когда-то предлагали Льву Толстому*… — Бунин ошибается, отрицая этот факт. Выходец из России, шведский инженер и изобретатель динамита, пацифист Альфред Нобель (1833–1896), как известно, оставил завещание, согласно которому проценты с его капитала должны были составить денежные премии: за труды, направленные к осуществлению мира и сближению народов; за лучшие труды в области точных наук; за лучшие произведения искусства, посвященные идее мира. Первая же премия (1897 год) должна была быть присуждена Л. Н. Толстому. Узнав об этом. Толстой обратился с открытым письмом в газету «Стокгольм Тагеблат», отказываясь от премии, предлагая присудить ее не ему, а преследуемым царским правительством духоборам. В 1902 году, в связи с присуждением Нобелевской премии французскому поэту Сюлли-Прюдому, группа шведских писателей, художников и ученых (в том числе Август Стринберг, Сельма Лагерлёф и др.) прислали Толстому адрес, выражая протест по поводу неприсуждения этой премии Толстому. Наконец, в 1906 году, в Стокгольме снова рассматривалась его кандидатура. Получив об этом известие, Толстой обратился к одному из своих шведских знакомых — А. А. Ернефельту: «… по словам Кони, может случиться, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, и поэтому я очень прошу вас, если у вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы не делали» (Толстой Л. Н. Полное

собрание сочинений и писем, т. 76. С. 201–202). Ернефельд выполнил просьбу Толстого, переслав в Швецию дословный перевод его письма.

…лишь один раз ездил в Англию. — Бунин ездил в Англию по приглашению известной писательской организации — Пенклуба в 1925 г. (см. в наст. томе очерк «Джером Джером»).

Гальстрем (Хальстрем) Пер (1866–1960) — шведский писатель, с 1908 года член Шведской королевской академии.

notes

Примечания

1

Зайцев К.И. А. Бунин: Жизнь и творчество. Берлин, 1935. С. 76.

2

Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон, 1967. С. 254.

3

Бахрах А. Бунин в халате: По памяти, по записям. Нью-Йорк, 1979. С. 27.

4

Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 95.

5

Устами Буниных. Т. 111. С. 17.

Новый мир. 1969. № 3. С. 211.

Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 31.

Там же. С. 33.

Там же. С. 41–42.

10

Хвостов А. Н. (1872–1918) — министр внутренних дел России (1915–1916). Председатель фракции правых в 4-й Государственной думе. Расстрелян органами ВЧК. Горемыкин И. Л. (1839–1917) — министр внутренних дел (1895–1899), председатель совета министров (1906 и 1914–1916).

11

Устами Буниных… Т. III. С. 170–171.

«очень приятен» *(англ.)*.

13

Как ни прекрасна юность,
Все же она убегает;
Кто хочет радоваться, пусть радуется,
В завтрашнем дне нет уверенности *(ит.)*.

(Перевод С. Ошерова.)

14

Во время записи в дневнике Бунин слышит орудийную стрельбу.

15

«Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни» *(ит.)*.

16

День поминовения *(фр.)*.

17

Жизнь нельзя описать *(лат.)*

18

«Мечтой» *(фр.)*.

19

Хижины *(фр.)*.

20

La alerte — воздушная тревога *(фр.)*.

21

Le armistice — перемирие *(фр.)*.

масла *(фр.)*.

с великолепной точностью! *(фр.)*

24

Германия хочет добиться полной блокады британских островов… надо кончать эту войну *(фр.)*.

25

Немецкая армия превратит в пепел Англию! *(фр.)*

публично *(фр.)*.

тревогу в Японии *(фр.)*.

вид на жительство *(фр.)*.

без перерыва *(фр.)*.

в парламенте *(фр.)*.

ударить с тыла *(фр.)*.

32

в 1941 году история обрела новый порядок — никаких преимуществ, никакой тирании — это последнее слово миру *(фр)*.

«Все хорошо» *(фр.)*.

ни генерал «зима», ни генерал «голод» *(фр.)*.

«с госпожой Лупеску» *(фр.)*.

«безоговорочно» *(фр.)*.

37

Марсель Прево «Женские письма» *(фр.)*.

38

«Ни новостей, ни денег» *(фр.)*.

39

«святая война во имя спасения мировой цивилизации от смертельной угрозы большевизма» *(фр.)*.

40

Политика Болгарии. Лозунг: бороться против большевизма! *(фр.)*

41

«За закрытой дверью» Жида *(фр.)*.

«разум» *(фр.)*.

Женскую школу» Жида *(фр.)*.

мой друг *(фр.)*.

45

«Нечего есть! Совсем нечего!» *(фр.)*

в Европе ради потомков… *(фр.)*

47

«Япония стремится к уничтожению Англии и США» *(фр.)*.

«Записки с острова Святой Елены» (графа де ля Каза) *(фр.)*.

«Призрак Востока» *(фр.)*.

«комендантский час» *(фр.)*.

51

«Поцелуй, дарованный прокаженному», Мориак *(фр.)*.

любовную записку *(фр.)*.

«Друзья советского отечества» *(фр.)*.

Что вы хотите? *(фр.)*

Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1972. С. 546.

56

Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В трех томах. Т. III. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 181. Запись от 27 мая 1946 г.

57

Письмо А. Т. Твардовского Н. Н. Акоповой от 10 марта 1967 года. В кн.: Твардовский А. Письма о литературе. 1930–1970. М., 1985. С. 314.

58

Скончался писатель Максим Горький… Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье… *(фр.)*

Илья Исидорович Фондаминский.

Подстрочные примечания — Г.Н. Кузнецовой; переводы слов и фраз на иностранных языках выполнены редакцией.

И.А. Бунин.

В.Н. Бунина.

Писатель Иван Шмелев.

63

Илья Исидорович Фондаминский.

Н.Я. Рощин.

65

Поэт и редактор стихотворного отдела журнала «Современные записки».

Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская.

И.П. Демидов, помощник редактора парижской газеты «Последние Новости».

Так называли у Буниных Н.Я. Рощина.

Поэт В. Злобин.

В. Злобин.

В.М. Зензинов.

А.О. Фондаминская.

Проф. Н.К. Кульман.

См.: Н. Иванова-Гладильщикова. Детективная история с открытым финалом. Как вернуть в Россию архив Ивана Бунина. — «Известия». 11 января 2001 г. См. также: «Советская хроника» Ивана Бунина. Публикация Дм. Черниговского. В кн.: Михаил Рошин. Иван Бунин. М., 2000.

См.: Козьменко М. Каталог грядущих открытий. — Книжное обозрение, 22.01.2001.

«Я опять одинок…» и «Ночь печальна…»